



МИТИНЖУРНАЛ

*Серия «VASA INIQUITATIS» («СОСУД БЕЗЗАКОНИЙ»)
является совместным проектом издательства
KOLONNA Publications и МИТИН ЖУРНАЛ*

ББК 84.4 Юл

Gerard Reve
DE TAAL DER LIEFDE
LIEVE JONGENS

*В оформлении обложки использован кадр
из фильма Пауля де Люссанета «Милые мальчики».*

ISBN 5-98144-082-1

Редактор: Дмитрий Волчек
Дизайн обложки: Виктория Горбунова
Верстка: Елена Антонова
Руководитель издания: Дмитрий Боченков

©Gerard Reve, 1972, 1973
©Ольга Гришина, 2006
©Митин Журнал, 2006

Герард Реве

МИЛЫЕ МАЛЬЧИКИ

*Перевод с нидерландского
Ольги Гришиной*



ЯЗЫК ЛЮБВИ

Посвящается М.

Глава первая Здоровый образ жизни

I

12 августа 1969 года, ровно в двенадцать часов полудни, в прожаренном солнцем чистом поле заключил я сделку с г-жой Жерменой Х. тэ Ф., проживающей в квартале де ля Пэн, владелицей неполных пяти гектаров земли, именуемых хутором Овернье; согласно договору я сделался обладателем обширного участка площадью в 14 980 квадратных метров, состоявшего из раскинувшегося на высоте 742 м над уровнем моря горного плато, развалин заброшенного около сотни лет назад дома и поросшего лесом косогора; участок этот врезался клином между дорогой и речным руслом. По окончании сделки я обнял Жермену, смахнул слезу и отправился в путь пешком, невзирая на душную жару. Примерно в километре от хутора, на вилле голландского издателя Ван О., в свое время представившего меня Жермене, а также послужившего посредником в упомянутой сделке, меня ждал Тигра¹. Сам Ван О. пребывал в то время на родине, но дом его находился в нашем распоряжении, и мы на время приютили у себя Петера З. – немецкого юношу, родом из Польши, и Джованни Л., швейцарца итальянского происхождения. (И с именами этих двоих на страницы сего повествования вступают Одиночество и Смерть.)

Я добежал до развилки трех дорог, где путь пересекало иссушенное зноем речное русло, проломился сквозь букую рощу, немного освежившую меня своей прохладой,

¹ Тигр, или Тигра – Виллем Бруно ван Альбада, возлюбленный Реве в 60 – 70 гг. (*здесь и далее – прим. перев.*)

выскочил из нее на другом краю, рысцей пронесся вдоль усадьбы Роже Х., племянника Жермены; вдали, справа от дороги, на лавандовом поле, приметил и его самое в обществе четырнадцатилетнего сына Жана-Луи, чье худощавое, загорелое юношеское тело, облаченное, по обыкновению, в мешковатые, вечно распахнутые и зияющие дырами одеяния, при всяком визите или случайной встрече пробуждало во мне безграничное вожделение; помахав на бегу им обоим, обогнул трансформаторную будку и здоровенный стальной фонарный столб, с которого два года назад упал и насмерть разбился монтер из ведомства энергосбыта; пробежал мимо огромной, уже лет так тринадцать пустующей фермы, последний обитатель которой, сорокасемилетний холостяк Жан О., по трагической случайности – или же неслучайности – разнес себе голову из собственного охотничьего ружья; и, язык на плече, добрался до дома Ван О., где около машины Петера стояли Тигра, сам Петер З. и Джованни Л., готовые к немедленному отбытию на экскурсию в Вэссон ля Ромэн¹. Все еще задыхаясь, я выпалил главное: «Купил. Подписал. Жермену облобызал. Это – для всех нас».

Усевшись на камне, я потребовал чего-нибудь выпить и приступил к изложению событий. По ходу рассказа, который я из уважения к нашим гостям время от времени прерывал комментариями на немецком, я пожирал глазами Джованни и, несмотря на его чудовищную, по нынешней весенней моде, цветастую куртку из искусственного шелка и синие шерстяные, ребячески короткие брючки, был обуреваем столь же бурной плотской нежностью, как и за два дня до этого, когда они оба только-только явились к нам и он впервые предстал моему взору.

¹ Город в Провансе.

Я не собирался ехать с ними на эту экскурсию – я был «слишком стар и устал, слишком болен душой». Мне хотелось остаться одному, чтобы побродить в окрестностях виллы, поразмышлять и, возможно, немного поработать.

Когда вся троица уехала и шум мотора замер за ближайшим склоном, я уселся за письменный стол в большой гостиной и попытался хоть что-нибудь накропать. Я никак не мог решить, взяться ли мне за письмо к Ван О., к нотариусу Б. тэ Д., к сестрам М. тэ Г. или же за первое предложение, первый абзац, первую четверть страницы моей новой книги.

Я вновь наполнил стакан, который захватил в дом, хотя вначале намеревался отнести его на кухню вместе с только что откупоренной, специально для меня, бутылкой плохонького красного вина. Я рассеянно осушил его, наполнил снова, вышел из дома, прихватив бутылку, которую оставил в холодильнике на террасе, и отшагал дюжину-другую шагов вниз по тропинке, ведущей к постройке, которая ныне служила хлевом, а некогда принадлежала мсье Гутье, который не стрелял себе в голову, не слетал кувырком с электростолба, а попросту допился до доньшка.

Было тихо. Стоявшее почти в зените раскаленное солнце, как ни странно, не утомляло меня, несмотря на то, что у меня не было никакой защиты от его лучей. Я уселся на большую каменную глыбу, бывшую прежде частью горной стены, осушил стакан и поежился. Во Фрисландии у меня был дом без усадьбы – разве что так можно было назвать те несчастные 150 кв. метров, собственно, и занятых домом; здесь же я сделался владельцем земельного надела в 15 000 кв. метров – но без дома... Я поставил стакан на землю возле камня, доплелся до террасы, забрал бутылку и налил себе еще. А было бы славно, кабы та самая эскадрилья бравых ангелов, что древле исхитрилась из-под самого носа подступающих турок выхватить хибарку Девы Марии

и по воздуху оттранспортировать ее из Назарета в землю италийскую с промежуточной посадкой на острове Сицилия¹, могло оказать мне такую же услугу с моим фрисландским домом «Трава»!

Вчера, в полдень, я и Джованни Л. стали одной плотью², и сейчас я в который раз терзался вопросом: было ли это дурно и грешно с моей стороны – но, впрочем, спрашивать себя об этом не имело никакого смысла, ибо я прекрасно знал, что это было именно так.

В том году мне исполнилось сорок шесть. Кому же мне все-таки писать? Я не верил в Бога, Которого тем не менее искал неустанно, но Который еще ни разу за всю мою жизнь не позволил мне ни увидеть, ни услышать себя и Который, несомненно, допустит, чтобы я оставил сей мир, так и не познав его и не сделавшись частицей его. Из-за нашего же соития с Джованни этой вновь приобретенной земле на три, по меньшей мере, года, а то и на все семь лет суждено было сделаться обителью злосчастья.

Бутылка была пуста. Отнеся ее на виллу, я откупорил на кухне еще одну, вернулся под палящим солнцем на то же место, снова наполнил стакан, поставил вторую по счету бутылку на землю, на всякий случай укрепил ее тремя камнями, и вновь причастился крови Господней, которая в новой бутылке, невзирая на мое несколько притупившееся осязание, была точно такой же терпкой, мерзкой кислотинной, что и в предыдущей. На что же еще человеку жаловаться? Я опрокидывал стакан за стаканом. Когда должны вернуться мальчишки? Мне было страшно. Я так ничего и никому не написал.

1 Согласно легенде, домик Марии был перенесен ангелами по воздуху из Назарета в 1295 г. Домик находится в Лорето (Италия), на территории быв. Галилеи.

2 «...и будут два одной плотью...» (*Быт.* 2:24)

II

(Порой мне случается беседовать с людьми в кошмарнейших интерьерах, под самую крышу забытых бесчисленными подушками, думочками, витражами, *bibelots*¹, *étagères*², книгами на фризском языке, поддельным антиквариатом, поддельным фарфором, поддельными монастырскими столиками и поддельными ковриками; при этом мне постоянно приходится извлекать из себя некие звуки, долженствующие означать мое участие в разговоре, дабы не повисло молчание, воспользовавшись которым собеседник заявит мне: «Вы должны остаться здесь навсегда». Напряжение достигает невиданной силы, и тогда я несу что попало: клекочу, точно какой-нибудь страус или птица киви. Жить – означает давать и брать.

И в конторах тоже довольно часто ведутся оживленные беседы, во время которых чего только не наслушаешься. Так, в офисе поэтессы Х. М³. работала некая госпожа Пасма, которая поведала, что ее муж «занимался этим сам с собой», а домашний врач, у которого она консультировалась, заявил, что «ни с чем подобным в своей практике не сталкивался». (Но это еще мелочи по сравнению с тем, о чем мне предстоит здесь написать.)

История нашего знакомства с Петером З. – благодаря которому примерно год спустя мне суждено было встретить Джованни Л. – одна из тех, что ни в какой конторе не услышишь; история, которую, в сущности, и рассказать-то никому нельзя & которой тебе непременно начнут колоть глаза, если ты поместишь ее в книжку. Но я знаю только одно: я должен записать эту историю

1 безделушками (*фр.*)

2 этажерками (*фр.*)

3 Ханни Михаэлис, бывшая жена Реве.

одинокости, иначе мне вообще больше не стоит заниматься моим ремеслом.

Она, эта незначительная история, началась летом 1968 года, когда мы – Тигра & я – жили на Плантаж Керклаан, где целых несколько месяцев я совершенно искренне полагал себя счастливым. Напротив нашего многоэтажного дома был вход в Зоопарк – я состоял членом общества его «друзей», а Тигр, как студент, пользовался правом бесплатного входа. Как-то в августе, в пятницу днем, завершив покупки на рынке, что на Дапперстраат, мы решили вернуться домой через Зоопарк – южный вход его вел также и к зданию Аквариума; главный же, западный вход располагался практически напротив нашего дома. Стояла солнечная, теплая погода и, войдя в южные ворота, мы, вопреки первоначальному намерению, не отправились сразу же в сам Зоопарк, а тени и прохлады ради завернули сперва в здание Аквариума. Там оказалось ненамного свежее, чем снаружи, и было довольно-такилюдно: школьники бродили там целыми классами; в бесчисленных группах подростков попадалось очень много красивых Мальчиков, и волшебное мерцание невидимых подводных ламп омывало их ясным, не оставляющим теней светом, очерчивая лица, волосы и рисунок бедер так четко и тревожаще, как никогда не бывает при дневном освещении. Один юноша, с белокурыми короткими волосами, лет примерно двадцати, в легком шерстяном свитере навывпуск и в сероватых, спущенных на бедра тесных брюках несколько мгновений пристально смотрел на нас, но потом пошел дальше, не проявляя больше никакого видимого внимания.

Я пытался смотреть на все что угодно и думать о чем угодно, кроме Мальчиков, но вдруг совсем рядом, перед одним из аквариумов поменьше – в котором, по всей видимости, никогда не водилось ничего живого – я заметил мальчугана лет тринадцати-четырнадцати, с длинноватыми,

закрывающими ушки русыми волосами, – низко склонившись над стеклянным ящиком, он, казалось, изучал повадки каких-то морских рачков, обитавших в самом дальнем его углу. Он стоял, скрестив ноги, отчего его брюки – без всяких сомнений бархатные, – сильно натянувшись в паху, врезались в неопишемую тайную ложбинку, обозначившуюся меж его крутых, округлых мальчишеских ягодиц. Я попытался направить свои мысли на что-нибудь, имеющее большее отношение к Аквариуму или Зоопарку, но, пока мальчик продолжал стоять вот так, наклонившись перед маленьким аквариумом, не мог думать ни о чем другом, кроме того, как схватил бы его и, заставив затянуть брючный ремень на две-три дырочки, нагнуть еще сильнее вперед, а потом – столько, сколько Тигр этого возжелает – стегать его темно-красным хлыстом через туго натянутые брюки – так, чтобы они клочками полетели с его бедер, со светлых его, бархатистых юношеских холмиков... Страшная усталость вдруг охватила меня.

Мальчик выпрямился и пошел прочь; когда он проходил мимо меня, я отчетливо и ясно увидел его горло и этот рот, из которого во время бичевания неслись бы звуки хриплого, перепуганного юношеского голоса, – но через мгновение он исчез в темном углу зала, слившись с толпой посетителей.

Мне подумалось, что Зоопарк набит различными совершенно бесполезными сооружениями, примечательными своей откровенной никчемностью, но Аквариум – это другое дело. В Зоопарке, например, имелись какие-то мелкие постройки в виде минаретов, определенно необитаемых; огромная бронзовая скульптурная композиция, изображающая свору собак, задуманная уж явно не для привлечения посетителей; а над задумчивым прудом возвышался внушительных размеров бронзовый Будда, хотя какой там из Будды зверь. И я подумал: понастроить бы побольше

подобного вздора, чтобы упрятать туда всю скорбь человеческую. А вот во всем зале Аквариума не было ничего, что можно было бы назвать неуместным.

Я не знал, как объяснить все это Тигру. «Устал я что-то, – сказал я ему. – Хочешь еще побродить? Тогда давай мне покупки, и я пойду». Так мы и сделали. Увешанный пакетами, я уже дошел было до стеклянных дверей Зоопарка, как вдруг повернул назад. «Запомни: ни с кем, ни куда, ясно? – прошипел я. – Домой приводи кого угодно, но по чужим хатам – ни-ни! Я-то сам раньше не особо задумывался, когда херогузничал, да кабы знал тогда, на *что* мог нарваться! А за тебя вот боюсь теперь, слышишь? – мой голос сорвался на крик. – Приводи с собой кого угодно, только домой, домой!» Теперь я говорил в полный голос, и Тигр смущенно оглянулся. «Это важно во всех отношениях, – то, что я тебе сейчас сказал, – продолжал я шепотом. – Что-то мне страшно. Страшно мне!»

Выйдя из Аквариума я, нога за ногу, потащился с полными сумками через зоосад домой. Далеко впереди, по правую руку, заметил я громадного бронзового Будду, восседающего у своего пруда, и ясно различимое сквозь просветы в листве большое плоское бронзовое кольцо вокруг его головы. Эта статуя, неопишимо несуразная, могла бы, пожалуй, вместить столько горя, что раскалилась бы и, в конце концов, расплавилась. Но еще несколько таких готовых к восприятию мировой скорби архитектурных недоумков в Зоопарке и окрестностях – и этой опасности, хотя бы на время, можно было бы избежать.

Через главный, западный вход я покинул Зоопарк, пересек улицу и поднялся в нашу квартиру на третьем этаже, которая, как и все наши бывшие пристанища в Амстердаме, была просто-напросто дырой. Вначале она являла собой разгороженную клеть, но мы сломали перегородки, и все жилое пространство превратилось в одну большую

комнату, простиравшуюся от двух громадных окон, выходящих на улицу, до единственного окна во двор, зажатого между двумя флигельками – туалетом и кухней соответственно. Приблизительно посередине комнаты был сужавший ее на несколько метров выступ – за стеной была лестничная площадка. Вдоль этой стены, в пространстве между выступом и противоположной стеной, в направлении кухни, за высоким стальным книжным шкафом со сплошной задней стенкой я устроил себе нечто вроде берлоги, достаточно просторной, чтобы вместить сколоченные моими собственными руками узкие деревянные нары.

В стальном шкафу, развернутом открытыми полками к стене, помещался телефон & все мои остальные принадлежности. Высокий шкаф, выступ лестничной площадки у изголовья и внешняя стена дома с трех сторон надежно ограждали мой закуток. (При желании можно было и совсем отгородиться: для этого надо было бы всего-навсего укрепить в изножье кровати занавеску и протянуть ее между стеной и шкафом.)

Я забрался в свой уголок, улегся на бок в узкой дощатой кровати и призвал к оружию свой Сокровенный Отросток, возвращаясь мыслями к образу того тринадцати-четырнадцатилетнего Мальчика в лиловых – точно, лиловых – брюках, которого я видел в волшебном свете ламп склонившимся над маленьким пустым аквариумом; и я воображал, как, завлекши его к нам – для Тигра, – быстрым, неожиданным движением заверну ему руки за спину, на шейку – ошейник, запястья – веревкой к ошейнику, веревку затяну туго-натуго, так, чтобы руки его болезненно вздернулись вдоль спины и он не смог бы прикрывать ими во время истязания свою – о, такую дерзкую – попку...

Я задыхался тяжелее, но между моими грезами – в которых светлая шейка и влажный, еще детский рот Мальчика

виделись мне даже яснее, чем недавно в Аквариуме, – и моим разумом было нечто, что смущало меня, и прежде всего это были колебания: я не знал, оставить ли на гибком юношеском теле лиловые брюки или спустить их; я пребывал в нерешительности по поводу наиболее подходящего орудия наказания; и внезапно мной овладело самое тяжелое из сомнений: только ли ради Тигра хотелось мне терзать мальчугана, или же, в действительности, еще и – в основном? – совершенно? – ради моего собственного сладострастия? Я должен преодолеть эту нерешительность. «Я его пальцем не трону, – прошептал я. – Только чтобы покрепче его держать. Зажму его шею между ног, а хлыст отдам Тигру. Пускай сам насчет штанов решает».

Содрогнувшись, я выпалил в стену божественной влагой – там она засохнет, скроется в свое время под новым слоем побелки, сделается из почти незаметной совсем незаметной и тем самым либо принесет этому дому благословение, либо навлечет на него погибель.

Мне не удавалось избавиться от сомнений, и, хотя я ощущал смертельную усталость, душа моя продолжала метаться. (Ведь надо же будет ему что-нибудь купить? Придется мальчишке, после того как с него снимут веревки и ошейник и оботрут ему слезы, пройти со мной в город, где я куплю ему палатку – не какую-нибудь дорожную, конечно, но все-таки новенькую – не синюю или оранжевую, какие, сдастся, нынче в моде, а палатку для настоящего мужчины – парусиновую, грязновато-белую или цвета выгоревшего хаки, и он, судорожно дергая пушистым кадыком, еще пару раз легонько всхлипнет в магазине, и продавец бросит недоуменный взгляд на его вытянутую, зарванную физиономию, но Мальчик, в конце концов, с трудом изогнет губы в улыбке при виде подарка – палатки, достаточно большой, чтобы спать в ней вдвоем, и все-таки вполне подъемной для одного.)

Надо бы, – размышлял я, все еще лежа и приводя в порядок одежду, – где-нибудь в квартире отчистить от грунтовки кусок стены, обколоть штукатурку и выложить из кирпичей потайную раку, в которой можно будет поставить статуэтку Богородицы и зажечь перед ней свечи. Многия печали, а может быть, и вся скорбь мира сможет вместиться в эту раку, и она не раскалится, а лишь едва заметно потеплеет. Нужно будет посоветоваться с Тигром насчет подходящего местечка для ниши.

На лестнице раздалися шаги по меньшей мере двух человек; они поднимались наверх и уже миновали второй этаж. Я торопливо задернул старую зеленую штору, которой – если ее одним уголком зацепить за книжный шкаф, а другим – за гвоздь посредством большого медного гардинного кольца, – можно было прикрыть проем в изножье моего лежбища, и, затаив дыхание, вытянулся на своих нарах.

В замке повернулся ключ, и только что поднимавшиеся по лестнице вошли в квартиру, приглушенно, неразборчиво переговариваясь. «Вот тут мы и живем», – услышал я голос Тигра; он говорил по-немецки. Хотя ключи были только у нас двоих, и было весьма маловероятно, что дверь мог открыть кто-то чужой, звук голоса Тигра немного успокоил бешеное биение моего сердца. Другой голос, неуверенный и даже слегка испуганный, отвечал неразборчивым шепотом. По остальным звукам я заключил, что Тигр привел только одного посетителя. После того как ключ вновь повернулся в замке, я услышал, как оба они направились в правую переднюю половину нашего жилища, к окруженному стульями низкому столику. Тигр, все так же по-немецки, предложил гостю присесть. Незнакомец, видимо, не знал никаких других языков, иначе Тигр не выбрал бы для общения немецкий, которым, по сравнению с двумя другими иностранными языками, на школьной скамье не блистал. Теперь он спрашивал,

что предложить гостю, и обстоятельно перечислил все имеющиеся в доме напитки, причем, насколько я мог судить, не сделал ни единой ошибки в падежах.

Посетитель к тому времени немного освоился и заговорил чуть громче. Его немецкий звучал по-юношески ясно, и на какой-то миг, как в затмении, я вообразил себе, что это мог быть тот самый мальчик, стоявший перед аквариумом с рачками, но его выбор – джин с вермутом – делал это предположение сомнительным. Должно быть, он был гораздо старше, и я попытался представить себе его наружность. После того, как Тигр принес ему его напиток с кубиками льда из морозилки, посетитель заговорил чуть менее приглушенно, но в голосе его, кроме юношеской ясности, оставалась, как мне показалось, еще некая настороженность, почти испуг, словно он любой ценой старался избегать слов, способных вызвать хоть какое-то недовольство.

Наступило непродолжительное молчание. Я услышал, как посетитель все тем же нерешительным, колеблющимся тоном заметил, что, дескать, наше жилище расположено весьма удачно, поскольку из окон открывался вид на Зоопарк. Бокалы были допиты, и, судя по звукам, Тигр и его гость встали – вероятно, для того, чтобы вместе полюбоваться панорамой из одного из больших фасадных окон. Раздались какие-то слабые, глухие звуки. Кто-то отодвинул стул, однако легкого скрипа садящегося на него тела не последовало. Отдаленный уличный шум постоянно заглушал происходящее в комнате. Я изо всех сил напрягал слух, дабы по-прежнему пребывать в уверенности, что в комнате не происходит ничего опасного или угрожающего, и в то же время не мог отделаться от размышлений о своей жизни. Любил ли я Тигра? Способен ли я вообще кого-нибудь любить? Чего я, собственно, искал? Очевидно было только одно: никто не мог помочь мне, скорчившемуся сейчас в слаженном собственными руками уголке,

покорному некой воле, что была могущественней и величественней, чем я когда-либо смогу осознать, и внимающему звукам, которых я ожидал и надеялся услышать и отсутствие которых сделало бы мою жизнь бессмысленной. «Ладно, задерну», – услышал я голос Тигра, и в следующее мгновение фиолетовые полупрозрачные шторы из искусственного шелка закрыли окна, выходящие на улицу. Нежный, просеянный сквозь ткань полуденный свет окрасил потолок надо мной в удивительный оттенок, в котором было, как ни странно, больше охры, нежели сирени.

Я отчетливо слышал, как снимают одежду. Звуки переместились в сторону широкой, массивной кровати, собственноручно сколоченной мною из досок от стекольных ящиков: я узнал шорох стягиваемого покрывала. Хлопнула дверца настенной аптечки над кроватью.

Постель приняла тяжесть тел, и я попытался внимать энергичному скрипу и вздохам – сначала при этих звуках меня окатила волна необъяснимого страха, но затем он отступил, сменившись ощущением наиострейшего, наипронзительнейшего счастья. Я бы с наслаждением вновь расстегнулся и потискал бы себя кое-где, однако остался лежать недвижим, застегнутый на все пуговицы, бесшумно втягивая воздух широко раскрытым ртом, стараясь не пыхтеть, и вслушивался, чтобы не упустить ни звука.

Скрипы и вздохи на какое-то время смолкли, уступив место тихому разговору. Внезапно из слов посетителя я разобрал нечто вроде того, что Тигр желает проделать с ним такое, чего еще «никто с ним не делал». Я расстегнул брюки, вновь выудил свою Штуковину и осторожно принялся за дело, стараясь не выдать себя скрипом или другим случайным звуком. Еще несколько мгновений в постели явно, однако неразборчиво препирались, затем внезапно все стихло. Огромная кровать заскрипела еще сильнее, и вот вновь наступила полная тишина. Я дал руке отдохнуть и

вслушался, широко раскрыв глаза. Было все так же тихо. Медленно, очень осторожно, чтобы не звякнуть пряжкой, я вытащил из брюк кожаный ремень и прикусил, посасывая, его сужающийся, истрепанный кончик. Все так же прислушиваясь, я застегнул брюки и уселся, настороженный, с ремнем в руке на краю лежанки. Посмей только незнакомец так или иначе пригрозить Тигру, нахамить, сказать какую-нибудь гнусность – мне понадобится доля секунды для того, чтобы, не дав ему времени опомниться и прикрыться, подскочить к нему и хорошенечко огладить ремнем. Я судорожно глотнул. «Тебе, видно, еще ни разу твою блядскую задницу не драли, – беззвучно прошептал я. – Ну так я тебе покажу кузькину мать».

В широкой кровати кто-то тяжело перевалился всем телом. Вновь наступила кратковременная тишина. Затем слышались отрывистые, хриплые выдохи и болезненные стоны на немецком. Я понял, что посетитель решил подвергнуться наивысшему испытанию, и что Тигр тешит с ним свое ретивое. Я расслабился, откинулся навзничь и вновь задумался о своей жизни. (Я написал книги, которые одни считали грязными, другие же, напротив – прекрасными. Дети в школах изучали мою жизнь и творчество. И ни то, ни другое, казалось, не противоречило тому, что я лежал сейчас в укрытии за шкафом, с ремнем наготове, тайно охраняя то, что было мило моему сердцу. Человек не может постичь всего, и не стоило повторять эти попытки до бесконечности. Наверно, нужно просто положиться на Господа, который и сам предавался глубоким сомнениям и которому, когда он утопал в пучине отчаяния, был ниспослан Ангел, дабы укрепить дух его.)

С просторного ложа теперь доносились скрипучие, слегка постукивающие звуки этого диковинного на-месте-шагом-марш, этого нелепого биения крыл в попугайчьей клетке или обувной коробке, этой любовной прогулки по

хлопающему луку на покалеченной машине без мотора – всего того, над чем можно глумиться бесконечно и что все же есть благо, любезное Господу.

Я встал, сжимая ремень в руке, пролез под натянутой шторой и, ни малейшим движением не производя шума, проскользнул мимо моего спального закутка к входной двери, открыл ее, беззвучно закрыл за собой и спустился, затратив на это немало минут, на второй этаж, после чего уже позволил себе более беспечную походку. На улице я поразился тому, что царившая там неслыханная какофония на этот раз совершенно не раздражала меня. Я снова продел ремень в петли брюк и принялся прохаживаться перед дверью, убивая время. В лавке, которую мы всегда считали чрезмерно дорогой и поэтому никогда в нее не заходили, я купил пачку кофе и коробку сахара: кто знает, а вдруг мы уже все извели. Я попросил какой-нибудь пакет для покупок, на что в другой раз нипочем не решился бы, – получил и пакет.

Минут через двадцать пять я вновь поднялся наверх, шумно потоптался в дверях на лестнице и, наконец, открыл дверь. Тигр и его гость, полностью одетые, сидели за низким столиком и пили чай. Постель была заправлена.

Гость оказался молодым человеком с коротко стриженными светлыми волосами, в дорогом грубом белом свитере и серовато-коричневых брюках в обтяжку с низким поясом. Когда он собрался привстать и подать мне руку, я быстрым, коротким взглядом окинул его ягодицы, двумя пухлыми сдобами уложенные на деревянном сиденье стула и дерзко, высоко выпячивавшиеся под его сутуловатой спиной. Он был сравнительно невысок, и наружность его была бы совершенно мальчишеской и даже трогательной, если бы не глаза, неуместные на этом лице: чересчур маленькие, чересчур светлые, с нескрываемым выражением жесткости. Мы уселись, и я попытался завести беседу.

«Он из Германии», сказал Тигр, когда я заговорил по-нидерландски. Я перешел на немецкий.

Звали его, как выяснилось, Петер; работал он в Цюрихе, жил в Саарбрюкене, а родом был из ныне потерянной немцами части Западной Польши. Началась бессмысленная болтовня обо всем и ни о чем, не затрагивавшая лишь темы профессии, о которой пока что, как обычно, умалчивалось. Я непрерывно издавал какие-то звуки, производившие видимость разговора, а сам смотрел на его рот, изрекающий слова, и ненавидел его, и нащупывал рукой ремень, но если Тигр все еще заводится от него, прекрасно; на что-нибудь да стодится. Кто знает, доведется ли мне его когда-нибудь высечь, но уж палатки-то ему от меня в любом случае не видать.

Между тем я следил за гладким течением беседы. То, о чем я размышлял и рассказывал, всегда было достаточно интересно. Языками я владел вполне прилично. Жить – это давать и брать. И я клекотал, как какой-нибудь страус. Как птица киви.

Глава вторая

Язык любви

1

В общих словах Петер Э. поведал нам, что «занимается бизнесом». Лишь потом, при более детальном разборе сего заявления выяснилось, что он – кто бы сомневался! – представлял некую текстильную компанию. В Амстердаме он проводил отпуск, который заканчивался через несколько дней; уже завтра в полдень ему предстояло покинуть гостиницу и двинуться на машине в обратный путь, в Цюрих. Расставаясь с ним, мы договорились, что завтра утром он забежит к нам попрощаться.

После отбытия Петера в гостиницу мне показалось, что Тигр, по обыкновению, терзается вопросом: как я отнесусь «ко всему этому» и «не расстроил ли» меня кто-нибудь из них, и все такое; я же тем временем устроил ему краткий допрос, нетерпеливо втискивая его ответы в соответствующие формулировки, – послужил ли ему Петер безропотнейшим, всепокорнейшим и усладительнейшим инструментом? Внимая Тигру – который, отвечая, в силу своей неиспорченности время от времени прикрывал глаза, – я, затаив дыхание, тормошил свою Плоть и то и дело, задыхаясь, прерывал его заверениями в том, что обожаю его, что буду приискивать для него Мальчиков, варить колдовские зелья, которые навеки бросят Их, влюбленных, к его ногам, и, разумеется, в том, что за малейшее Их неповиновение они будут подвергаться в высшей степени утонченному наказанию. Достигнув насыщения, я – стоя посреди комнаты со сбившимся дыханием, пристыженный собственной наготой – дрожащим голосом спросил его, любит ли он меня. Любит. Он поцеловал меня с каким-то особым значением. Как тебе, у меня изо рта не пахнет? Нет, все в порядке.

Я отправился приготовить что-нибудь поесть, мы слушали музыку, и я раздумывал о Любви: смогу ли я, шаря вслепую в поисках сокровенной истины, когда-либо постичь ее? Я не знал, был ли Тигр осведомлен о моем присутствии в спальном закутке, и теперь, в свою очередь, мучался сомнением, сказать ли мне ему об этом или нет. Я решил, что это можно отложить на потом. Что-то подсказывало мне, что я должен сохранить это в тайне, и это будет еще более глубоким и сокровенным доказательством моей любви к Тигру.

Мы рано легли, условившись, что, когда Петер З. зайдет к нам утром – если зайдет вообще – я сразу же на какое-то время оставлю их одних: скажем, выйду за покупками.

Утром следующего дня Петер явился что-то слишком рано – еще не было десяти. Пока он поднимался наверх, я укрылся на чердаке, а как только Тигр захлопнул за ним дверь – тихонько проскользнул вниз, прихватив большой пластиковый пакет для покупок. В центре города я набрал всяких непривычно дорогих вещей, что обычно казалось мне дурацким и предосудительным расточительством: две банки спаржи и равиоли в пирамидальной картонке; Тигр, как я знал, находил их вкусными, а упаковку – праздничной. Совсем как вчера, когда я во время первого любовного свидания Тигра и Петера З. вышел на улицу, городской гул – несмотря на оглушительный дорожный шум, необычный для такого раннего субботнего утра – показался мне сущей ерундой и совершенно не раздражал меня.

Домой я вернулся примерно час спустя. Тигр с Петером З. сидели у низкого круглого столика, за которым они – судя по аромату, поднимавшемуся из пустых чашек, – только что пили какао и на котором, кроме того, стояли недопитые стаканы портвейна. Эта картина привела меня в недоумение. Это еще что такое? Тигр никогда не пил ни шоколада, ни алкоголя до обеда, не говоря

уж с утра. Я встревожился. Большая кровать была аккуратно застелена – точно так же, как до моего ухода и, похоже, за это время к ней даже не подходили.

Я вызвался сварить кофе. Идея была одобрена. Удалившись на кухню, я под каким-то предлогом вызвал туда Тигра. То есть это что же выходит: он не потерял голову от Петера, и я у него – один в окошке свет? Да, тут все в порядке. Ну так в чем же дело? Неужто Петер не устроил его, как вчера, в наинижайшей всепокорности? Он, может быть, выказал норов, и посему просторное ложе не понадобилось? Я задавал вопросы мягким, но обеспокоенным тоном. Горло мое, казалось, вот-вот пересохнет. «Он должен принадлежать тебе. Он должен стать твоим беззаветным рабом. Я люблю тебя, зверь».

Наконец Тигр сдался и в свойственной ему утомительной, чинно-благородной манере, в неловких выражениях признался мне в том, что я из него выпытывал. Кровать действительно осталась нетронутой, поскольку Петер на этот раз ублажил его иначе, хотя все в той же нижайшей всепокорности – стоя перед ним на коленях и уткнувшись лицом в межножье. Несколько раз я облегченно переводил дух. Кофе был готов, и мы с Тигром вернулись в комнату – налить себе по чашечке. Всякий раз, когда он этого не замечал, я пристально разглядывал Петера З. и старался как можно ближе рассмотреть его сочный, влажный и тем не менее маленький капризный рот, который, однако – какую бы соблазнительную привлекательность не хотелось бы ему приписать – только что потрудился для вящего убоготворения Тигра. У меня вновь развязался язык, и я предложил Петеру до отъезда прогуляться со мной по центру города – я накуплю ему всяческих безделок, которые он увезет с собой. Не мешало бы немного размять ноги, ведь впереди – сутки в машине, практически взаперти и т. д.

Петер согласился. На нем были не те брюки, что вчера, а шерстяные, в черно-белую клетку, которые – принимая во внимание его принадлежность к текстильному бизнесу – по всей видимости, являли собой крик моды; мне они, однако, показались просто шутовскими, хотя их непотребно-узкий покрой откровенно подчеркивал его аккуратные упругие ягодицы; сверху на нем была кожаная куртка, которая – не будь у нее вязаных манжет, воротника и пояса из желтой шерсти, как у детских варежек, – торчала бы на нем колом. Наряд довершали мягкие, смахивающие на домашние тапочки кожаные туфли, которые становились все более популярными среди автомобилистов, – сказать против них было нечего, кроме того, что меня они раздражали. Такую изящную обувь грех по мостовым трепать, сказал я. Какой у него размер? Я дал ему примерить свои черные солдатские полуботинки и, глядя, как он натягивает их на вторую пару носков – иначе они бы с него свалились, – подбадривал его радостными взглядами о том, что у него теперь «такой исключительно мужественный вид», хотя на деле с трудом подавлял отвращение, особенно усилившееся после того, как я, на мгновение неприметно подавшись к нему лицом, уловил отчетливый запах его тела, не заглушаемый даже духом дешевого лосьона для бритья, – дух лжи и трусости.

По дороге в город я легко и сердечно болтал, развлекая его всяческими забавными байками о прошлом этого проклятого, обреченного города, в котором невозможно жить, но который, по совершенно необъяснимым причинам, видится многим в некоем романтическом ореоле и куда из года в год, любыми средствами – словно без этого жизнь их потеряет всякий смысл – стекаются тысячи и тысячи так называемых деятелей искусства.

Движение пойдет ему на пользу, – заявил я, – перед такой-то поездкой; однако нам не следует разгуливать слишком

долго и забредать слишком далеко, так как устать ему вовсе ни к чему. Мы дошли лишь до первых домов центра. Там, в большом книжном магазине, где можно было за гроши закупить всяческих пластинок, я приобрел для него пару увесистых фолиантов с репродукциями старого Амстердама, которые обошлись мне в тридцать пять – сорок гульденов. Он рассыпался в благодарностях, но на самом деле явно не оценил подарка: главное для него было – деньги и беспросветный херовод, а по-настоящему, как я понял, он не привязывался ни к кому. И если бы он еще когда-нибудь возник в нашей жизни, то лишь ради недорогой крыши над головой, какого-никакого общества и возможности потешить похоть с как можно более широким кругом единомышленников. Но пока он еще продолжал надлежащим образом служить Тигру, покорствуя его похотению и ублажая его по первому требованию и в наипокорнейшем раболепии, – все прочие аргументы веса не имели.

По дороге домой я вновь, исключительно добросовестно и без умолку, занимал его рассказами о прошлом Амстердама, о былом предназначении попадавшихся нам по пути исторических зданий, оговорившись, что мне все это было и есть глубоко безразлично.

Все еще довольно теплая, ветреная погода в пыльном городе пробудила во мне какую-то вялую, томную похоть. На ходу я все время искоса обстреливал Петера прицельными взглядами и порой пропускал его чуть вперед, чтобы составить как можно более точное представление о его шее, спине, ягодицах и бедрах. В то же время я не прекращал беседы, задавая заинтересованные вопросы о его жизни и прикладывая неимоверные усилия к тому, чтобы сосредоточиться на его ответах. Думал же я, собственно, только о двух вещах: насколько сильна моя телесная тяга к нему и что будет представлять из себя его лицо, когда он умрет и от него останутся только череп да кости. Голова у него была

довольно небольшая. Меня в нем возбуждали только его ягодицы и изгибы над и под ними. Теперь я разглядел его шею – ничего трогательного или мальчишеского в ней не было. Даже если бы мне удалось осуществить с ним свое желание, то и в момент обладания им я с трудом смог бы скрыть презрение и ненависть, не в силах заставить себя поглаживать его по шее, успокаивая нас обоих. И вновь Смерть, и никто иной, бродила со мной по городу, хотя временами не следует подходить к этому столь серьезно; в сущности, ничего такого не случилось, кроме того, что Тигр привел с собой из Аквариума парня-иностранца и обладал им, а я вот теперь в городе разорился для этого парня на пару альбомов с репродукциями Амстердама, и что скоро этот самый парень возвращается в Цюрих и опять примется батрачить на хозяина, разъезжать на машине и втюхивать безобразным людям безобразную одежду в безобразных магазинах, для того, чтобы вечерами, после трудового дня шляться по многочисленным цюрихским кафе, «специально обустроенным для нашего брата», как он выражался, блядя напропалую, до тех пор, пока тело его не превратится в скелет, а голова – в жалкий черепок, и не ляжет на него покров вечного Забвения. Вот и все, что случилось.

Как там ему мои сапоги, не слишком тяжелые, ноги не потеют? Нет, в самый раз. Как долго на машине до Цюриха? Примерно столько-то часов. Не ближний свет, конечно, ну да ничего, терпимо. Он с удовольствием как-нибудь еще приехал бы в Амстердам, потому что это «такой классный город».

Я спросил, не хочет ли он оставить себе мои сапоги. Он в них просто «настоящий мужчина», вновь заявил я. Нет-нет, зачем же. Может, как-нибудь потом? Да, как-нибудь потом. Я и сам не очень-то понимал, с чего вдруг решил всучить ему эти ботинки. Расписывая их достоинства, я глядел на его ягодицы, прикидывая, сколько времени понадобилось бы

оаживать их кнутом, чтобы он сознался во всех своих непотребных похождениях в Цюрихе, Амстердаме и бог знает где еще и выложил их до последней подробности. По возвращении домой мы все втроем пили крепкий чай. Петер снял мои сапоги и вновь влез в свои автомобильные тапки. Полученные в подарок книги он переложил одеждой в новеньком саквояже из мягкой кожи, который еще до своей прогулки в город принес из машины, поскольку там была очередная перемена туалета – более легкая и просторная и, соответственно, более удобная для машины, чем та, в которой он явился к нам этим утром. Пока он торопливо переодевался в углу комнаты и какое-то время стоял в одном нижнем белье, я вдруг почувствовал, что сквозь мое презрение и жестокую похоть пробивается какое-то умиление, вызванное, возможно, беззащитностью его полуобнаженной склоненной фигуры. Завершив туалет, он предстал перед нами в коротких белых брюках, белой же футболке и надетой поверх нее светло-коричневой шерстяной тонкой безрукавке. Всякий раз, когда он этого не замечал, я задумчиво рассматривал его, скользя взглядом снизу вверх – от сравнительно маленьких ступней в автомобильных тапках до коротко стриженной макушки, и вдруг обнаружил, что желание мое исчезло: возможно, оттого что в его обнаженных, торчащих из-под коротких брюк, хотя и хорошей формы ногах, то ли из-за цвета, то ли из-за рисунка растущих на них волосков при ближайшем рассмотрении было, скорее, нечто ледяное, нежели трогательное. Отведя взгляд, я вдруг заметил в уголке его раскрытого кожаного саквояжа короткую, изогнутую деревянную трубку и круглую жестянку с табаком, и уставился на них, время от времени возвращаясь взглядом к его голоногой фигуре; внезапно я осознал, до чего же он, в сущности, смертен.

Он был готов к отъезду, и мы обняли его на прощание. Он был бы счастлив приехать еще, он очень скоро нам

напишет. Он оставил нам свой адрес в Цюрихе. Я снес его саквояж по лестнице и дотащил до машины. Мы помахали ему вслед и в молчании вернулись наверх. Усевшись за низкий столик, мы выпили по бокалу вина. Погода была все еще хороша, но уже не такая теплая, как накануне; небо затянуло облаками, и поднявшийся ветер раскачивал верхушки деревьев в Зоопарке через дорогу. Я не знал, все ли у нас по-прежнему так же хорошо, как прежде. Докопаться до сути хоть в чем-нибудь казалось невероятно трудно. Я задумчиво смотрел на мятущиеся вдалеке ветви деревьев, среди которых была громадная плакучая ива.

(Много лет спустя, в такую же погоду, увижу я снова, как медленно, неустанно раскачиваются такие же деревья – было это во время нашей поездки с Мышонком¹ – которому еще предстояло войти в нашу жизнь, – и Тигром на могилу отца Мышонка в Феенендале; там мы вместе посадим фиалки, и Мышонок будет недоволен и расстроен результатом, а я стану уверять его, что у могилы теперь, вне всяких сомнений, весьма благопристойный и ухоженный вид, просто не к чему придрагаться, чистая иллюстрация к моим словам: «пристало сыну украшать цветами отчую могилу» – что, не исключено, по случайности было каким-нибудь китайским изречением или просто какой-то чепуховиной; я же продекламирую это сам не зная почему, глядя через кладбище на такие же непрестанно качающиеся деревья, как те, что теперь за моим окном.)

Я снова принялся расспрашивать Тигра о Петере З. В самом ли деле тот сегодня утром, как и вчера, полностью предался на волю Тигра? Да, абсолютно. Тигру показалось, что Петер даже вроде как воспылал к нему. Дыхание мое участилось: «Я люблю тебя, Тигр. Я все сделаю для того,

¹ Хенк Ван Манен – возлюбленный Реве в 60–70 гг.

чтобы он оставался твоим рабом. Я буду отдавать тебе молодых матросов и солдат. – Голос мой сделался напряженным и резким. – Выпьем еще, или хватит?» Мне хотелось пить и пить, хотя я знал, что это не принесет ничего, кроме лишней головной боли. Нет, он предпочел бы на этом остановиться. «Воля твоя, милый», – сказал я и, скрепя сердце, заткнул бутылку пробкой. Осушив бокал, я снова уставился вдаль, где кроны деревьев все так же качались на ветру, навевая смертельную усталость. «Ты любишь меня, Тигр?» – «Да, зверь». Стало быть, все действительно было в порядке, но я забрасывал его вопросами о том и об этом. И всякий раз, когда я замолкал, в памяти моей всплывали картины детства. Я увидел – мне было тогда лет семь-восемь – мальчишку-соседа в матроске и коротеньких черных бархатных штанишках: в садике, граничившем с нашим и открытым взорам всех соседей, его за какую-то провинность долго, крепко и обстоятельно лупил отец, и бедняга трепыхался и громко выл, а из застланного облаками неба на бесчисленные сараи-развалюхи, полусгнившие кроличьи клетки, песочницы, велосипедные чуланы, облезлые дешевенькие садовые статуи и затхлые прудики с гиблой водой – словом, на все эти воплощения замыслов рабочего люда, втиснутые в кварталы-тюрьмы под открытым небом – сеялся почти неприметный мелкий дождь. Мы играли с ним, с этим самым соседским мальчишкой, что сейчас кричал, заливаясь слезами, и корчился под яростными ударами по натянутым, лоснящимся на заду штанишкам, а я стоял в нашем саду, всего в нескольких метрах оттуда – с перехваченным горлом, гулко бьющимся сердцем, изнемогая от жалости, горя и ужаса, и в то же время ощущая прилив чудовищного, рокового счастья; я не умел понять причины его, пугавшего меня до глубины души и, полагаю, уже тогда предчувствовал, что избавиться от него никогда больше не смогу.

– Ты о чем там задумался, зверь?

– Да так, ерунда всякая. О прошлом. Пойдем полежим?

Я задернул фиолетовые шторы на окнах, выходящих на улицу. Да, если я когда-нибудь сумею все это записать – может, и заживу, как нормальные люди. После той моей белой горячки в шестьдесят шестом я стал избегать крепких напитков, переключившись на вино, с которым мне более-менее удавалось не перебарщивать. Я любил Тигра – полагаю, больше, чем кого-либо прежде, – но никогда – ни словом, ни жестом – не выказывал ему достаточно нежности. Да, я сходил с ума при мысли о том, что с ним может что-нибудь случиться, но и что с того? Тем временем я примкнул к римско-католической церкви, что значило еще меньше, хотя и вреда от этого тоже не было, однако я чувствовал себя преступником, предателем, дешевым паяцем, ибо редко – или вовсе не – посещал Службу. Во что же я, в сущности, верил?

– Пойдем в постель или так, просто приляжем?

– Давай уж в постель, – решил Тигр.

Сначала мы довольно долго лежали под простынями неподвижно.

– Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, Тигр?

– Конечно же, знаю, зверь.

– Расскажи мне, как он вчера перед тобой раздевался.

Или это ты его раздел?

– Нет, Петер разделся сам.

– А когда он стоял перед тобой в комнате, голый, как все это было, зверь мой? Какая у него была попка – милая, застенчивая мальчишеская или блядская такая задница? Такая перепуганная, трусливая?

– Да, зверь, трусливая и перепуганная.

– Можно, я его нашлапаю, прежде чем тебе отдать?

Я привяжу его к скамье для мальчиков, милый зверь. Можно, я его погоняю у тебя на глазах – хлыстом для мальчиков?

Или длинным ротангом? Ему придется натянуть тоненькое трико для наказаний. Отхожу его кнутом прямо у тебя на глазах, если заартачится. Прикую запястьями к стене и пододвину стол под задницу, чтобы побольше оттопырилась. И передам тебе хлыст, любовь моя. Уж ты позаботишься о том, чтобы он плясал да песни орал?

– Да, зверь, он нам и споеет, и спляшет.

– Под хлыстом?

– Да, под хлыстом!

– А по каким местам, по каким? Сначала пройдешься сзади по ляжкам, правда? Ты же ведь под коленками начнешь, или где? А потом – не торопясь, все выше, выше и выше... Долго будешь, да?

– Конечно, зверь, мне не к спеху.

– Конечно, не к спеху, он ведь твой. Сначала – по ногам, потом доберешься до задницы. А примешься за его половинки, вот тогда-то хлыст и запоет, верно?

– Да, зверь. Изю всех сил, зверь.

– Он твой, он твой раб. Дай ему почувствовать, что он твой. Пусть вопит и корчится перед тобой. Любишь меня Тигр, любишь меня? Ты никогда от меня не уйдешь? Я...

– Я люблю тебя, зверь. Я никогда тебя не брошу.

Я оставил в покое свою взорвавшуюся Плоть и замер в неподвижности. Как всегда по свершении чуда, на душе у меня сделалось еще смутнее, чем только что. Я встал. Тигр остался в постели.

Я оделся и раздвинул шторы. Все небо было теперь в облаках. Наверно, скоро начнет моросить. Я подошел к окну во двор и глянул на улицу. На подоконниках донельзя запущенного старого дома, над верандой, по неизвестным причинам заваленной останками всяческого домашнего скарба, примостилась пара-тройка голубей. Внизу, во всем пространстве, втиснутом в рамки четырех улиц этого квартала, не видно было никакого подобия садика – все

было застроено сараями и мастерскими, над которыми, несмотря на теплую погоду, усердно курились вонючим дымом асбоцементные трубы. Щебень плоских крыш¹ был усеян останками пластиковых футбольных мячей, тут и там свисали – выброшенные, очевидно, из окружающих домов – скрученные велосипедные камеры. А дальше, насколько хватало глаз, тянулись только серые, почерневшие кровли, кое-где просевшие и залитые водой. Я спросил себя, что хуже: быть рабочим или скромным коммерсантом, но ответа так и не нашел.

2

У виллы Ван О., немного в стороне от тропинки, что вела к дому, превращенному ныне в козий загон, – а некогда владению давным-давно спившегося мсье Гютье – сидел я все с той же бутылкой вина, и ждал. Я все думал и думал о том, смогу ли осознать, оправдать и в конечном итоге даже – хотя это уже относилось к области невозможного и несбыточного – растолковать кому-либо другому все совершенное мною в жизни. Самыми непостижимыми казались мне раздробленность, разобщенность и безграничная нехватка единства в любви. Вот повстречались двое и ложатся рядом, или один поверх другого, и начинают воображать, что это и есть любовь, – явствовало ли из этого когда-либо что-либо иное, нежели то, что они завладели половиной мира другого человека, состоящего из мест его работы и жительства? Мне припомнилось вдруг, как в год 1952-й от Рождества Христова я познакомился в Вене с одним молодым американцем, носившим, если я правильно помню, некое знаменательное, если не попросту

¹ Типичные для нидерландских хозяйственных построек крыши с гравийной засышкой.

нелепое имя Кеннет Рис-Паркин; баснословный богач, он был женат, но как раз в то время разводился с женой – по взаимному согласию, – а также когда-то чему-то учился, но чему именно – в памяти моей не отложилось; мне смутно помнилось, что это было нечто совершенно не житейское, – и который через два дня после первой нашей встречи вернулся к себе в Буэнос-Айрес или Монтевидео, где обитал в громадной вилле – насколько я мог понять по цветным фотографиям – и, стало быть, оставил в сердце моем трещину. Таилась ли за такого рода вещами какая-либо закономерность? Я знал, что это своего рода недуг, который приключается весьма нередко, и, прежде всего, судя по слышанным мною рассказам, – с танцовщиками во время зарубежных гастролей.

В дальних поездках, разумеется, не очень удивляешься, когда оказывается, что волею благоприятного случая тот юноша, за которым ты, затаив дыхание, бродил по пятам в сумеречных улицах какого-нибудь иностранного города, в этом самом городе и живет. Но и в родном городе скорее правилом, нежели исключением, бывало то, что юноша, которого ты наметил себе в возлюбленные и которого, изрядно за ним поволочившись, ухитрился-таки затащить к себе и уложить в постель, и вид чьих бархатных половинок в любое мгновение мог растрогать тебя до слез, живет – ну надо же! – в Бесте (что в Северном Брабанте), Хеерлене или – в самом благоприятном случае – в западной части Роттердама, где у него – ну конечно же! – есть адрес, по которому ни при каких обстоятельствах нельзя ни писать, ни звонить. Ну почему сложилось так, что сексуальным рабом Тигра стал немец польского происхождения, работающий в Швейцарии, а не обыкновенный амстердамский парень с соседней улицы, одних с нами корней, которому – стоило Тигру возжаждать – было бы достаточно повелительной записки или звонка и которого можно было бы

немедленно и безжалостно предать наказанию, если бы вдруг выяснилось, что он крутит задом направо и налево и осмелился подставить его кому-то еще, кроме Тигра?

А лучше всего стоило бы мальчишка, все еще школьник, что живет у мамы с папой; мы могли бы подкарауливать его у школьных ворот, а он, трусишка, заячья душа, дрожал бы: а вдруг да прознают дома.

«Я бы его для тебя наказывал, сколько бы ты ни пожелал, Тигр, – прошептал я. – Мы сдавали бы его напрокат солдатам и матросам – за деньги. Или за так, зверь мой, если какой-нибудь горячий красавчик тебе приглянется».

Оглядываясь по сторонам, я расстегнул брюки и улегся на боку, под палящим солнцем, на иссушенной, плотно утопанной тропинке – хотя, бог мой, кого могло бы сюда занести? Тем не менее я продолжал беспокойно озираться, вновь занявшись излюбленным рукоделем, которое, невзирая на винный хмель, а может быть, именно благодаря навеянной им знойной похоти, сумел довольно быстро довести до победного конца. Завершив посевные работы, я заметил на песчаной, испещренной почти микроскопическими кусочками веток и листьев почве огромного муравья, мечущегося взад-вперед перед тем, что я исторг из себя и что мягкой белесоватой пластиковой подушечкой покоилось теперь на тверди земной: очевидно, вид столь необычных осадков поверг божью тварь в изумление и, быть может, даже ужас, что было бы совсем не удивительно, ибо как давно случалось человеческому существу упокоить на этих самых полутора квадратных сантиметрах свою текучую пластиковую карамельку? Муравей определенно принадлежал к породе страдальцев, не умеющих принимать решения в отсутствие четких инструкций, и посему продолжал, не переходя ни к каким конкретным действиям и не прибегая к более детальному исследованию, вплотную подбираться к загадочному веществу, чтобы

снова молниеносно отпрянуть в сторону; эта кадриль, наконец, надоела мне и, придавив букашку к земле большим пальцем, я растер ее в порошок. Возможно, что этим я окончил его терзания, положив тем самым начало моим собственным: ведь никто и никогда не станет заводить следствие по делу убиенного мной муравья – никто об этом даже и не прознает, если я лично об этом не позабочусь. Никакое официальное лицо или группа лиц не нагрянут в это место с тем, чтобы произвести изыскания на предмет благоденствия муравьиного люда и торжественно собрать растертые в кашу останки покойного, дабы возложить их на дроги похоронные, из пустотелого мышьего зуба слаженные, серебристо-зеленым мхом выстланные, на колесиках крошечных, – только от меня зависело, выплывет ли когда-либо мое преступление на свет божий. Конечно, можно было бы задаться вопросом, для чего мне желать, чтобы кто-то провел подобное расследование и пришел собирать по кусочку расплющенные останки покойного, дабы возложить их на дроги похоронные, из пустотелого мышьего зуба слаженные, серебристо-зеленым мхом выстланные, на колесиках крошечных: вероятно, в моих интересах было бы, чтобы такого расследования не проводилось. Что же привлекало меня в этой возможности? Это было связано с некоей частью моей жизни, а точнее, со всей моей жизнью, исполненной тягот и не знающей покоя. Это было связано и с прорисованной на фоне послеполуденного неба сосновой веткой, на кончике которой болтались давным-давно иссохшие, мертвые, но все еще крепкие шишки; ветка эта – более чем живописная для того, чтобы стать украшением календаря, в который записывают дни рождения, или послужить иллюстрацией к газетной статье в защиту природы – для меня никогда не могла означать ничего другого, кроме чего-то бесконечно ужасного, о чем не говорят – лишь молчат, содрогаясь в душе. Это было связано и

с выводком пестрых курочек, на которых мне как-то на одном португальском базаре умиленно указал Тигр: казалось, они сидели тесным, мирным рядком, хотя я давно уже разглядел их связанные крест-накрест лапки и пересчитал все разбросанные среди окровавленных перьев головы. Возможно, дело было во мне самом, но все, все в моей жизни всегда указывало в одну сторону. Ничего хорошего ждать уже не приходилось.

И чего можно было ожидать от любви здесь, на чужой земле, где все мы были вдали от родины, в чужом доме, не принадлежавшем ни одному из нас? Страх надвигался, страх, и Петеру З. и Джованни Л. предстояло возвращение в страну, которая была их домом, но не родиной, потому что Петер был немец, а Джованни – итальянец, хоть его немецкий был безупречен. Любая попытка, любое слово, будь это жест или акт любви, – оставалось обреченным, разъятым, чуждым самому себе, сколь бы ни были благородны мои намерения управлять ходом событий.

3

А устроил я все сам, на свой собственный незатейливый манер. Примерно через неделю после отбытия Петера З. из Амстердама мы получили от него открытку с изображением какой-то древней, однако весьма неприглядной деревянной церкви, напомнившей мне громадные часы с кукушкой, которые не втиснешь ни в одну комнату. Блеклые светло-голубые строчки извещали, что добрался он благополучно, сохранил «приятные» воспоминания о своем пребывании в Амстердаме и надеется когда-нибудь принять нас у себя в Цюрихе.

Тигр хотел было ответить немедленно; он даже подписал конверт и наклеил марку, но до самого письма так и не дошло; он несколько раз принимался за него, но застревал

на первой строчке. В конце концов, я сказал, что напишу письмо сам – по крайней мере, основную его часть, а Тигр добавит пару фраз в конце и распишется: наши почерки были практически неразличимы. Тигр не возражал.

В жизни моей, по большей части растроченной на ерунду, я написал письма бесчисленным мальчикам-иностранцам – в основном по-английски, и очень многие из этих писем так и остались без ответа; один-единственный раз на два мои длинейшие послания пришел ответ, столь лаконичный, что едва заполнил маленькую, украшенную стилизованной цветочной рамкой не то открытку, не то первую страничку сложенного вчетверо листа светло-розовой роскошной почтовой бумаги, втиснутой в четырехугольный конверт. Бывало, что письма возвращались ко мне, не найдя адресата, поскольку адрес, или имя, или и то и другое, оказывались вымышленными. А какова же судьба остальных моих писем? Вряд ли кто-нибудь из тех, для кого они предназначались, сохранил хотя бы одно из них. Это было все равно что чертить дымом в воздухе, как раньше это часто делали самолеты – для рекламы. И вот теперь, принимаясь за очередное бессчетное, бессмысленное письмо, я спросил себя: что, собственно, заставляло меня вновь и вновь упрямо рассылать эти сколь напрасные, столь и пространные излияния по сомнительным зарубежным адресам, где они могли посеять лишь недоумение и отвращение, поскольку понять их обычному человеку было весьма непросто.

И все же в этом письме Петеру З. я вновь, разрезвившись, тряхнул стариной, на сей раз присовокупив еще и кое-что из разряда: «так скучно стало, так тихо, когда ты от нас уехал». Теперь я уверился в том, что отступать не нужно никогда; видимо, в этом и таится секрет, и не исключено, что вероятность получить ответ прямо пропорциональна количеству банальностей и клише, которыми набиваешь

свое письмо: расписывать же свои собственные чувства и переживания – тактика заведомо неверная. Я бойко строил, придерживаясь, однако, искусственной системы, согласно которой лишённые какой-либо глубины пассажи не должны занимать более чем полстраницы. После такого я уже не мог писать о подходящем к концу лете, о приближающейся осени, о Тоске, о моих сомнениях касаясь смысла жизни и любви Господней, и о массе дел по дому – «все надо приводить в порядок, красить, и конца краю этому не видно, просто беда».

Я осознал, что чересчур отвлекся, и попробовал вернуться к спасительным банальностям, но ничего мне на ум не приходило. Я исписал уже полторы страницы на довольно сносном немецком – оставалось еще четверть листа, но вместо законченных предложений всплывали только бесполезные воспоминания о прежних визитах различных юных чужестранцев. Припомнилась мне четырехлетней давности встреча с одним мальчиком, тоже немцем, – пылкий красавчик, он притворялся без памяти влюбленным в Тигра, но имел обыкновение писать нам исключительно к Пасхе, к Троице и к Рождеству и рассматривал наш дом как своего рода бесплатную гостиницу, куда я, наконец, не вышвырнул его из квартиры на Эрсте Розендварсстраат, сопроводив его полет с лестницы прицельной бомбардировкой полными пивными бутылками – все мимо, кроме одной, расколотившей ему стеклышко в наручных часах. Вспомнил я и одну ерундовину, случившуюся многими годами раньше, – уж ее-то, даю голову на отсечение, никто не горел энтузиазмом выслушивать в деталях – из тех времен, когда я еще был с Вими¹: был там один водитель-дальнобойщик из Дюссельдорфа, со стеклянным глазом, которого,

1 Вим Шумахер, первый возлюбленный Реве, роман с которым продолжался с 1956 по 1963 год.

как мне помнится, звали Отто Тумес (для друзей, как он общил – просто Оттилия), в сущности, неплохой, где-то даже симпатичный мальчик; подумаешь, всего-то дел, что триппером меня наградил. Я счел, что информировать Петра З. о столь достопамятных фактах своей жизни было бы не вполне уместно.

Правая моя рука водила пером по бумаге, а левая в это время прилежно тискала под столом мою Штуковину, причем я, чтобы без нужды не усложнять дело, воображал себе Петра З., голого, со стянутыми за спиной локтями: я крепко держу его за ошейник и выверенными ударами по ногам и ягодицам заставляю его скулить и приплясывать. «Учимся танцевать данс-макабр», – пробормотал я. Эта картинка еще меньше подходила для письма Петру З. – вряд ли она поощрила бы его на дальнейшие отношения с Тигром. Однако и на банальностях далеко не уедешь – мне вдруг вспомнилось, как некогда я, пожалуй, в порядке эксперимента, схватил в объятия вышеупомянутую «Оттилию» Тумес и, вздохнув, изрек: «И зачем только я повстречал тебя!» – на что мое одноглазое сокровище фыркнуло: «И где только вычитал». Нет уж, пожалуй, лучше держать свои благоглупости при себе.

В сущности, письмо вышло уже достаточно длинным. Я протянул Тигру вставочку с пером – он едва умел с ней обращаться, но так было нужно, поскольку мы хотели выдать наши почерки за один – и продиктовал: «Напиши мне скорее. Я безумно тоскую по тебе. Знаешь ли ты, что запах твоего тела и дурманит меня, и возбуждает?» – за последнюю строку я был совершенно спокоен, поскольку позаимствовал ее у одного из наших величайших поэтов. «Обнимаю тебя бессчетно». И так далее и тому подобное. Язык любви интернационален.

Глава третья

Безымянная любовь

– Ну, что там дальше? – осведомился Мышонок. Я начал рассказывать ему эту историю с самого начала, но по привычке то и дело отвлекался на отступления, уклонялся в историю предыстории и, таким образом, не слишком продвинулся в повествовании. Мышонок, как обычно, нетерпеливо подгонял меня; вообще говоря, надо признаться, что такой он мне нравился больше всего: подхлестываемый ненавистью, подозрительностью и ревностью по отношению к любому, с кем у меня что-то было или могло быть. Я боготворил его – это было некое почти беспомощное, сковывающее грудь обожание, желание вечно лежать у его ног, одаривать его всем, что только было в моих силах, но в то же время в приступе какой-то наигреховнейшей жестокости меня тянуло рассказывать ему о том, что я проделывал с Мальчиками и мужчинами, представляя их многожды красивее и желаннее, чем они были в жизни; и порой я, вздыхая, добавлял что-то вроде: «Такой чудный мальчик. Я просто рехнулся из-за него. Нет, не какой-нибудь там дурашка. Было в нем нечто трогательное, располагающее, настоящее». *Старый и вечно под мухой*, но я не мог удержаться, чтобы не подразнить Мышонка. На нем были брюки в тоненькую зеленую и бежевую полоску; под левым коленом зияла прореха, возвещавшая мне о чем-то несказанном; светло-розовая рубашка и дорогие туфли, с которыми он, на мой взгляд, обращался с возмутительной небрежностью, – таким он расхаживал по комнате, время от времени стискивая кулаки. Похоже, что никогда ни одного сына человеческого не любил я так, как его.

По мере течения моего рассказа я все более и более сомневался в том, что смогу когда-нибудь записать его. В сущности, это нельзя было назвать происшествием, поскольку

в нем едва ли что-то происходило и в конце концов так ничего и не случилось. Действующие лица преодолевали громадные расстояния, что правда, то правда, но в целом – к чему все это сводилось? Главный герой сидел и напивался, вот и все. Собери все клочки воедино – и получишь лишь горстку сухого праха, комок пыли. В действительности я бы очень хотел писать совершенно иначе: скажем, рассказы, которые слушатель будет вымаливать у меня, устроившись у пылающего камина, – детям позволят посидеть еще немного – умытым, в пижамках, с мокрыми волосенками, и все потом будут вне себя от восторга, потому что вот приходил дядя Герард и читал вслух, и все было перед тобой ну просто как живое¹; уж до того он умеет красиво рассказывать, что «характеры вышли совершенно как в жизни». «Прирожденный рассказчик», «маститый писатель».

– Какая чушь, – пробормотал я.

– Но на письмо-то, – поинтересовался Мышонок, – на письмо-то ответ, небось, пришел?

– Да с чего ты это взял? – ответил я. – Кто тебе сплел, что на письма положено отвечать? Жизнь – это борьба. Начнем с того, что никакого ответа на письмо нет. Исходи из этого. Терпение, юноша.

Он расхаживал по комнате, а я, ни на миг не отводя от него глаз, терзался вопросом, к чему я все это наговорил. (Дело происходило в огромной задней комнате наверху, в доме на N-лаан.) Я знал только одно: еще секунду – и я схвачу его в объятия и, не разжимая их, пробормочу, вытalkingивая из себя спотыкающиеся слова:

«Послушай, Мышонок. Зверь мой чудный, зверь мой лютый. Бриллиантовые шпоры куплю я тебе, острые, как бритва – ты нацепишь их, когда оседлаешь какого-нибудь мальчишку. Плевать мне на этого Джованни. Я хочу только,

¹ В 1969 г. Реве выпустил пластинку с детскими сказками.

чтобы ты все-все про него знал – какой он из себя, во что одет. Можем вместе поехать и отыскать его. Не такой уж Цюрих большой. Найдем его в два счета. Заманим в наш замок. Там ты заставишь его разговориться. На скамью допросов его!».

Мышонок по-прежнему расхаживал взад-вперед, до окна и обратно. Я преградил ему путь, чтобы обнять. Объятые перешло в борцовскую хватку. Мышонок попробовал высвободиться, но я держал крепко. Все произошло так, как я и представлял, предчувствовал, предвидел; отрывисто, толчками, короткими фразами я выдохнул: «Я все тебе расскажу. Все. Мой белокурый красавец, мой распутный зверь. Я просто хочу расшевелить тебя. Хочу, чтобы ты был жестоким. Я расскажу тебе, что ты сделаешь с Джованни. Проследуем же на наше ложе».

Улегшись в постель и, как в ознобе, прижав Мышонка к себе, я вообразил, какое дивное вышло бы из этого описание, если, например, сравнить ложе любви с кораблем: отчалив от пристани, с медленно наливающимися ветром парусами устремляется он навстречу бесконечной зыби необозримого океанского простора. Жизнь – это чудо.

Когда закрываешь глаза, наступает ночь. Я зажмурился на мгновение, и тотчас мне явилось беспричинное, но навязчивое воспоминание о том, как несколько недель назад мы ездили на могилу отца Мышонка. Теперь о таком не говорят и не пишут. Зачем никто не сложит песнь о позаброшенной могилке, чей холм цветами упестрен?..

– Грустишь, Серый Волк? Смотри, совсем-то уж не раскисай!

– Да нет, Мышонок. Я еще в жизни так не веселился. Душа ликует и поет. К тому же отродясь не болел. Что ж, начинать?

– Начнем, пожалуй.

Я хотел заговорить, но промолчал. В то время как руки мои механически совершали ласкательные движения,

ставшие для меня чем-то столь же естественным и бессознательным, как дыхание, я вдруг почувствовал, как это нередко случалось в час заката, что во мне пробуждается первобытный, всепожирающий, раздирающий душу страх. Мне было страшно. Страх с ревом захлестнул меня, словно ледяная черная, громадная – высотой с башню – волна: страх Судного дня, ведь он наступит когда-нибудь, и тогда велика вероятность того – ах, тогда совершенно точно: навсегда отвержен буду я от очей Его, поскольку в жизни своей совершал я ужасные вещи, хотя ни одна книга, ни один рассказ, вышедшие из-под моего пера, об этом не упоминали. Но не всегда можно было сказать: мне страшно, невыносимо страшно. Нельзя этим беспрестанно, и всякий раз заново, досаждать людям. К тому же помочь все равно никто не сможет.

– Тебе что-то вспомнилось?

– Да, – сказал я тихо. – Тут уж ничего не поделаешь, вечно что-то на ум приходит. Ты ведь тоже о чем-то думаешь?

Нужно же мне было что-то сказать.

– Да, кое о чем, – сказал Мышонок; он лежал на спине и широко раскрытыми глазами глядел в потолок; голос у него был жалкий, чуть ли не плачущий. – Я Ринуса вспомнил. Ему было двенадцать. Ровно двенадцать лет тому назад это и случилось.

– А что именно? – В сущности, я был задет тем, что кто-то, кроме меня, осмеливался возвращаться мыслями к былым печалям.

– Ринус. Он ехал на велосипеде, а сзади – грузовик, сбоку выскочил, и Ринус упал. Ах, господи Иисусе, Ринус. Он был католик. Ринус.

«В той песне краткой столько слез»¹. Смерть собрала немалый урожай среди молодежи простонародья. Был ли

¹ Искаженная строка из стихотворения Герарда ден Брабандера:
«В той песне краткой столько было слез...»

Мышонок влюблен в Ринуса, воцелел ли к нему, когда подкарауливал его у чердачного окна, мечтая, томясь и тревожа свою одинокую плоть? Тот, в соседском заднем дворике, которого пороли – его ведь тоже звали Ринусом, вспомнил я вдруг.

Может быть, тот – в столь юном возрасте волею роковой случайности вырванный из жизни столь любезный Мышонку Ринус, как и мой выпоротый сосед – в день своей гибели тоже был одет в короткие бархатные черные брючки, лоснящиеся на заду и туго натянувшиеся над потертым кожаным велосипедным седлом, рассчитанным на взрослого. Колеса грузовика, несомненно, сплющили его белокурую мальчишескую голову, раздробили плечи, смяли грудную клетку – но ноги, бедра и бархатистые мальчишеские холмики остались невредимыми, неоскверненными, так что его придавленная этой трагедией семья уложила его в Гробу на живот, прикрыв лишь голову и верхнюю часть тела, но бедра и юношеские ягодичцы – еще один рассвет и еще один закат будут они все так же прекрасны – остались, облаченные в глубокий траур, доступны взорам через оконце, прорезанное вдоль нижней части крышки гроба.

Но, возможно, ни одно похоронное бюро не располагало подобной крышкой с окошком посередине, а время поджимало: этакое приспособление так сразу не отыщешь, когда все столь подавлены и охвачены скорбью.

На глаза мои навернулись слезы.

– На нем были такие короткие бархатные черные брючки, Мышонок? Я имею в виду, как у Юных мореходов¹, да?

– Что? Я не помню... Как? Да. Да!

Я вздрогнул и больше ни о чем не спрашивал. Наступило короткое молчание. Я притянул к себе лежавшего на

¹ Название скаутской организации.

боку Мышонка, коснулся губами волос на его груди и, не выпуская его из объятий, провел рукой по изгибу его спины, исполнявшемуся все большей тайны по мере продвижения книзу.

– Послушай, Мышонок! Сначала мы вместе едем в Кевелар¹. О чем бы мне попросить Святую Деву? Не люблю я этого, но так уж заведено – о чем-нибудь просить.

Я встал, подошел к столу и зажег свечу в стеклянном подсвечнике перед маленькой статуэткой Notre Dame de Lourdes² («размер ноги номер 38», – написал на ней подаривший ее Хюйс ван Б³.)

– Нравится тебе то, что я делаю?

– Ну да.

Я вернулся в постель к Мышонку.

– Я вот думаю, можно ведь о разных вещах просить, – произнес я, переполненный смешанным чувством стыда, возбуждения и смутного страха, тем временем вновь, очень осторожно, принимаясь ласкать тело Мышонка; я боялся, что он вдруг в отвращении отпрянет от меня. – Я попрошу о вере. Вот о чем. А еще могу попросить ее – тут мой голос сбился на сиплую, напряженную скороговорку, – пусть она даст тебе побольше Мальчиков, чтобы ты укрощал их, топтал. Пусть она дюжинами посылает тебе юношей – ты будешь подходить к ним на улицах и приводить сюда, домой, по вечерам. И по ночам. Обладать ими, объезжать их. Задницам их трепку задавать, это тоже. Мы возведем в саду уголок скорби из бетонных блоков. Что скажешь, милый? Она ведь и наша покровительница, а не только тех, кто в море. Что скажешь?

1 Кевелар (Кевлар) – город в северной Рейн-Вестфалии, недалеко от нидерландской границы. Популярное место паломничества.

2 Лурдская Богоматерь (*фр*).

3 Приятель Реве и ценитель его творчества.

– О вере попросить, это хорошо, – сказал Мышонок задумчиво.

– Ну конечно, – поддакнул я, – да ведь это все жеманство одно. Лучше уж о чем-нибудь обычном.

– Вера – это хорошо, – тихо, но решительно повторил Мышонок.

– А еще я могу ее попросить сделать так, чтобы ты больше никогда никому нервы не мотал, хочешь? Это тоже можно. – Мышонок молчал. – И чтобы она напустила на тебя такую старую гнусную кикимору с вислыми плоскими титьками, усыпанными – вообрази себе – здоровенными веснушками, а вокруг сосков – желтая, изъеденная потом срамная волосня. Только ты собрался в постельку – а она уже там!

Мышонок чертыхнулся. Господи, да что это на меня нашло?

– А еще нам надо бы в Лурд, – быстро сказал я. – Направим наши челобитные, как говорится, по двум инстанциями.

Меня охватило странное, опустошающее чувство почти полного изнеможения. Пламя свечи в стеклянном подсвечнике вдруг замерло, затем опять коротко и сильно заметалось перед маленьким, невыразительным конфетным личиком кинозвезды десятых годов. Несколько мгновений я крепко держал Мышонка за шею, затем кончиками пальцев выдал барабанную дробь по его груди и принялся нашептывать ему на ушко. Я вернулся к рассказу о том, чему однажды суждено было воплотиться в жизнь: это был план великого вождения, с помощью которого я раздую звериную похоть Мышонка в небывалый пожар. План состоял в том, чтобы вместе с Мышонком нанести ряд визитов в стольном городе А., где я вновь вступлю в контакт с некоторыми прежними своими любовниками и попробую их заново «воодушевить» – желание можно

называть и так, – однако вовсе не в угоду собственному отдохновению или чувственному наслаждению, а токмо ради того, чтобы Мышонок смог потом излить на них свое беспощадное любострастие и жестокость. «Не ради выгоды одной, а для семьи своей родной», – вдруг пришел мне на ум лозунг одного крупного человеколюбивого бакалейного предприятия¹.

– Послушай, Мышонок. А хотел бы ты, чтобы у тебя было что-то с каким-нибудь мальчиком или парнем, который прежде был моим? Я имею в виду, мы поедем туда вместе, отыщем его, и ты...

– Да, но... – начал Мышонок.

– Скажи «Волк».

– Да, Волк.

– Тут есть некоторые закавыки, – пребанальнейшим образом начал я. Дохнув Мышонку в спину, между лопатками, я втянул носом запах его кожи. – Мы говорим о том, что было давным-давно. – Я немного помолчал. – Ты любишь меня?

– Конечно же, Волк. Волк.

– Прокрутим кино на несколько лет назад, – продолжил я, пытаюсь говорить спокойно. – Мальчики эти, или молодые люди, все они были моложе меня. Как правило, десятью, двенадцатью, пятнадцатью годами моложе. Им сейчас столько же, сколько мне было тогда – если живы еще, конечно. Но время не стоит на месте. Никогда не стояло. Я хочу сказать, сейчас старые девы перевелись. Им уже не по семнадцать-восемнадцать.

– Это ничего, – пробормотал Мышонок. Я задумчиво пригладил прядь у него за ухом. – Добавим в пьеску блеску, – пробормотал я.

– Что-что? Ты знаешь таких мальчиков?

¹ Имеется в виду нидерландская сеть бакалейных магазинов *Соёр*.

– А то как же, высокочтимый и обожаемый Мышонок. Предостаточно. Однако хватит ли у тебя терпения подождать пару недель, ну, может, месяц?

Мышонок кивнул.

– Это займет какое-то время. Мне сперва нужно будет поехать на разведку, потом придется писать письма со всяческими благородными красотостями: что он мол-де все так же мил, соблазнителен, нежен и совсем как мальчик; что я мечтаю о нем денно и ночью – ну, по меньшей мере в этом роде. – Я приподнялся на локте. – Имею честь и привилегию уведомить тебя о том, Мышонок, что ты совершенно свел меня с ума. Мне покоя не будет до тех пор, пока твой могучий, бесстыдный светлый Кинжал и шпицрутен...

– Пстой-ка, мне срочно нужно отлить.

Мышонок удалился по коридору в ванную. Полусидя в постели и не сводя глаз с зыбкого пламени стоявшей на столе свечи, я думал о том, что мой благородный план, несомненно, придется по душе Матери Божьей, и что Она определенно возликует, когда Мышонок, достигнув глубочайшего удовлетворения своего желания с сопричастным к тому лицом, будет затем – спокойный, почти апатичный в жестоких своих действиях – часами подвергать его допросу с пристрастием. Так было раньше, так будет и впредь. Не просто так я свечу запалил. Я выбрался из постели и взял со стола легонькую, почти невесомую статуэтку, сжал ее в кулаке и несколько секунд боролся с соблазном откусить или отбить блеклую, в каком-то роде ненормальную головку. «Пизда троянская¹», – пробормотал я. В следующий миг я снова был в постели, потому что Мышонок вернулся и вновь улегся рядом со мной. Я попытался привести свои мысли в порядок, но мне это не удалось. Мышонок заметил, что я задыхал сильнее и глубже.

¹ Излюбленное ругательство Реве, изобретенное им самим.

– Ты опять о чем-то думаешь.

– Да, опять думаю кое о чем. – Бурный поток потихоньку успокоился и чуть заметно просветлел. – Видишь ли, я хочу, чтобы ты мог обладать любым мальчиком, какого только захочешь, милый мой. – И опять в этом не было ничего нового, но, разумеется, лишний раз сделать на этом упор тоже не грех. – Но чего бы мне очень хотелось, прекрасный, распутный зверь мой, это... –

– Да?

– Зови меня «Волк».

– Да, Волк?

– Покажется ли тебе утонченным и соблазнительным, если это будет мальчик, с которым я раньше кое-что... вытворял? – Едва закончив предложение, я осознал, что последнее слово было до отвращения банальным, и что выбрал я его для того, чтобы поддеть Мышонка, обострить его ревность.

– Разумеется. – Голос Мышонка звучал спокойно, но, слава Богу, уже выдавал его восхитительное желание жестоко отомстить за себя.

– Рассказать тебе о мальчике, который в самом деле существует, которого я очень хорошо знаю, или о том, кого я выдумал; он – всего лишь вымысел, от которого практически невозможно возбудиться?

– Давай про настоящего, которого ты знаешь, – прошептал Мышонок.

– Про мальчика, с которым я был очень мил, к которому я был очень привязан? Или про того, которого я раз за разом с грязью смешивал и по заднице будь здоров как лупил? Или про того мальчика, с которым я сперва был очень мил, к которому был очень привязан, а уж потом отлупил его за милую душу?

– Да... Потом... ты его отлупил. Ты побил его!

– Давай еще полежим, Мышонок? Ты куда не торопишься? Я имею в виду, похоже, я почти счастлив. Ну как, полежим?

– Ну конечно, Волк. Я не спешу.

– И никогда не будешь торопиться, когда какой-нибудь мальчишка стонет под тобой и молит о пощаде?

– Нет, Волк, никогда. Обещаю тебе, слышишь? Но ты должен рассказать мне о том парне, который был твоим... твоим...

– Был моим рабом...

– Да, да. Твоим безоговорочным рабом.

– Я объехал много стран и народов, Мышонок. И на море настрадался. Чего только я не перепробовал, но счастья нигде не нашел. – Я изо всех сил пытался что-то выразить, но и сам толком не знал, что именно. Я принял торжественный тон, как и подобает, когда зубоскалишь, хотя в тот момент в мои намерения это не входило. – Все случалось во временных альковах, Мышонок. Все это было сплошное непотребство. В сущности, я даже не знаю, было ли во всем этом что-нибудь, кроме беспутства. Понимаешь, о чем я? Понимаешь ты это?

– Понимаю. Думаю, что понимаю, Волк.

– Ты... ты любишь меня?

– Ну, конечно.

В сущности, не надо бы мне было все время об этом спрашивать, но я не мог удержаться.

– Любишь ли ты меня за то, например, что я так чудесно пишу и так замечательно рассказываю, и за то, что даю тебе столько денег, сколько твоя тороватая юношеская душенька пожелает?

– Да, и за это тоже.

Я стиснул Мышонка в объятиях и попробовал слегка покачать его, не разжимая рук. «О утешительница, Мать Вечная, я не премину посетить Твое святилище», –

бормотал я. Покачивания моего тела постепенно пробудили во мне некое воспоминание, воспоминание о корабле – много лет прошло с тех пор. Да, мы и впрямь были сейчас на корабле.

– Опять тебя что-то гложет? О чем ты задумался?

– Много лет тому назад, Мышонок, – начал я, – много лет тому назад шел я как-то на одном корабле. А случилось так, что занесло меня на корабль, шедший из Роттердама в Лиссабон, который еще называют принцессой Океанов. Это было маленькое каботажное суденышко. Плавание было долгим. На борту постоянно творилось черт-те что. У хозяйина была, как я думаю, желтуха, но он махнул на нее рукой. Капитан все время буянил. У него были больные почки и печень, да и от тех уже мало что осталось, а выпивка и всякие капли с микстурами у него просто из ушей текли. Но я не о том. Я ведь, собственно, хотел рассказать о том мальчишке... ты слушаешь, Мышонок?

– Да, да!

– Я тебе все в мельчайших подробностях буду рассказывать. Был, значит, на этом корабле один юноша.

Я мучительно пытался вспомнить, как же звали этого Юношу на корабле. Скользнув взглядом по потолку, я глянул в окно и засмотрелся на небо, которое быстро затягивалось какими-то невероятными облаками – такие кажутся более уместными на рисунке или цветной открытке; они пронеслись слева направо, а на их фоне береза, пять лет назад посаженная Мышонком у нас в садике, беззвучно трепетала бесчисленными листьями. Поздно. Все это уже слишком поздно. Теперь уже было безразлично, отправлюсь я в паломничество или нет. Даже если я проведу в скитаньях все то время, что мне еще осталось, неустанно бродя от одного святого места к другому, даже тогда ничто уже не поможет. Слишком поздно для того, чтобы я смог чего-то добиться: все было теперь в руке Божьей.

– Расскажи мне об этом юноше. Какой он был из себя?

– Я вот как раз и собирался. Тот парень изображал из себя второго штурмана. А на самом деле он был простой матрос. С освобождением от обязательств – так это называется. В наше время все плавают с освобождением от обязательств. Когда-то нас уважали и боялись во всех четырех океанах, когда мы...

– Этот парень. Не тяни резину, зануда!

– Этот парень стоял у штурвала в рубке, в драной красной рабочей рубашке нараспашку. Майки на нем не было. Брюки из фланели, серовато-голубые. Не глубокого синего цвета, а такие блеклые... Он стоял у штурвала, выгнув спину, выпятив высоко подобранный наглуго задницу. Он сразу понял, что я смотрю на него. Понимаешь, о чем я?

– Ну да.

– Капитан в той рубке часами костерил его почему зря, потому что парень, по его мнению, ничего не знал и ничего не умел. Даже курс проложить не мог. Вообрази, Мышонок! Уж конечно, не очень-то он в школе старался. Что было бы для него лучше: дополнительные задания после уроков или регулярная порка?

– Давай-ка дальше рассказывай. Он, стало быть, заметил, что ты на него смотришь?

– Да, заметил. Постоянно оборачивался – хотел убедиться, что я еще там – я стоял в рубке у него за спиной. Он все время менял позу. Переминался с ноги на ногу. То и дело слегка расставлял ноги и слегка наклонялся вперед, самую малость, но достаточно для того, Мышонок, чтобы вид его натянувшихся штанов на несколько секунд увел у меня почву из-под ног. Это словно отрывок из книги, Мышонок, словно кто-то это все описывает. До чего же все красиво в природе устроено.

– Да-да. Охотно верю. Давай дальше.

Я слышал в голосе Мышонка легкое раздражение и чувствовал его неуловимые колебания – он словно бы хотел уклониться от моих убаюкивающих покачиваний.

– Я все расскажу тебе, Мышонок, – суетливо залепетал я. – Я тебе все в точности расскажу, что я тогда сделал. Я люблю тебя. – Я сглотнул. – У него были красивые гладкие темно-русые волосы: спереди довольно короткие, они закрывали половину лба. На шейке и за ушками – чуть подлиннее. Они красиво завивались у шеи, на кончиках. Это был настоящий мальчик, настоящий мужчина, и все-таки чуть-чуть слишком хорош собой. Просто красна девица. Длинные ресницы над серо-голубыми глазами. И этот рот, крупный, почти детский, красивый, дерзкий, как и его шея. Видно было, что его задик, шея и рот сотворены в полной гармонии друг с другом.

– Ты разговаривал с ним?

– У него был очень распутный, дерзкий голос. Я остался в рубке, даже после того, как капитан ушел. Я сказал ему: «Отстоишь вахту, пойдешь к себе – загляни в мою каюту. Поболтаем». И все. Я произнес это совершенно спокойно.

– Да... и что? Что он ответил?

– Он сказал: «Ладно». Быстро так сказал, тихо, но ясно и очень отчетливо. Я знал – он понял, что я имею в виду. Я знал это, Мышонок. Его вахта в тот вечер заканчивалась в одиннадцать. Я был у себя в каюте. Она располагалась отдельно от других. Сначала спускаешься по трапу, потом – узенький переход, но мимо других кают проходить было не нужно. Я ждал, усевшись на койке. Это была такая серая каюта. Все в ней было жутко серым. Железные стены и потолок – прежде, вероятно, кремовые – теперь потемнели и покрылись многочисленными пятнами ржавчины. Иллюминатор был проделан прямо над койкой. Ее прикрывала занавеска из плотной серой хлопковой ткани, петли которой крепились на тусклом медном пруте. Точно такая же

занавеска из той же серой ткани, только двойная, раздвигающаяся в стороны, висела в ногах койки, прямо у входа. Когда корабль качало, занавески мотались над койкой туда-сюда. Тоска зеленая... Это была самая тоскливая корабельная каюта всех океанов. Я ждал, Мышонок. Я сидел посредине койки, едва касаясь ногами пола, и ждал. В каюте было тепло. На мне была только тонкая сиреневая рубаша и белые полотняные трусы, вроде теннисных. Всякий раз, когда я думал о нем, об этом беспутном нахальном матросе, которого я ожидал, мой причиндал задирает голову и высовывался из этих белых теннисных трусов.

– Ты, видно, здорово распалился. Так он что же, пришел в одиннадцать? Точка в точку явился?

– Знаешь, Мышонок, уму непостижимо, до чего я распалился и ожесточился. Тебя я тогда еще не знал, а то прихватил бы с собой в рейс. Спали бы вместе в той койке с серыми занавесками, со стенами в ржавых пятнах; лежали бы в постели обнявшись и ждали; а около одиннадцати ты уселся бы на краешке койки, поджидая его, а я бы все так же, замерев, лежал у тебя за спиной, и шепотом переговаривался бы с тобой, и ласкал бы тебя – все то время, что ты сидел бы и ждал своего рулевого. Он был бы твой. Я отдал бы его тебе.

– Да, Волк. Как его звали?

– У него было очень дерзкое имя. Такое же дерзкое, как его шея и рот. Такое же дерзкое, как его штаны и дерзкая задница... Он... Вальтером его звали. Вальтер...

– Да, Волк. Вальтер! Вальтер... а дальше?

Я перестал покачивать Мышонка, выпустил его из объятий и принялся осторожно ласкать укромные уголки его тела.

– Вальтер... Задельман¹, – прошептал я. Мышонок тихонько застонал и на несколько мгновений прикрыл глаза.

¹ Zadel – седло (зд.: зад, круп), man – человек, мужчина (*нидерл.*)

– Так пришел он к тебе в каюту? Тогда, в одиннадцать, пришел он или нет?

– Да, наездник юношей. Да, Принц Мышонок. Через пару минут после того, как пробило одиннадцать, я услышал приближающиеся по коридору трусливые, вкрадчивые шаги. Мышонок, послушай же.

– Да?

– Ты слушаешь?

– Да, конечно.

– Ты будешь со мной, Мышонок? Я хочу сказать... ты не уйдешь...

– Нет, с чего бы?

– Послушай, а представь, что я состарился, превратился в жирный дряблый мешок, и вот сижу я как-нибудь вечером, по пояс голый, шкура вся в складках, а в них повсюду такие вроде безобидные, но премерзкие пятна экземы – розовые мокрые островки... Ну, Мышонок, слушай же... Позволишь ли ты мне и тогда смотреть на тебя, на то, как ты раздеваешься и стоишь передо мной обнаженный, являя мне свою великолепную задницу, и тискать мою заветную штучку во время беседы с тобой? Как тебе мое дыхание, ничего?

– В порядке, только говори чуть в сторонку.

– Ты меня правда любишь? Правда же?

– Да люблю, люблю.

– Ну когда же ты снова станешь попирать меня, простертого на земле – встанешь прямо мне на грудь?

– Да не решаюсь я. Вечно боюсь тебе ребра поломать.

– Да ты что, у меня ребра просто железные.

– Ты сидел и ждал его в каюте. И вот он входит. И что?

Дальше!

– Да. Так вот, я услышал его шаги в узком железном коридоре. Он крался очень осторожно. Трусил. Наглый он был, но и трус порядочный. Трясся, как бы не заметили,

что он в мою каюту входит. Вальтер, знаешь ли, трусливое такое имечко, заячье.

– Знаю, Волк.

– И вот я вижу, как медная дверная ручка медленно поворачивается вниз и дверь тихо-тихо, почти беззвучно, мало-помалу открывается вовнутрь. Сперва я различил только его волосы, поблескивавшие в дверном проеме. Он смочил их водой и пригладил, представляешь?

– Ага....

– И вот он стоит в сумеречном свете каюты и поворачивается, чтобы осторожно прикрыть дверь. Какое-то мгновение он стоял ко мне спиной в точности так же, как тогда, в рубке. Свет, Мышонок, был очень слабый. Посреди потолка в каюте была такая квадратная коробка из белой пластмассы, и работала она в двух режимах. Свет от нее был голубоватый, очень тусклый. А повернешь выключатель вниз, все равно лампочка горит, еле-еле светится сквозь пластмассу. У меня над койкой был еще один маленький круглый ночничок – «розеточка¹» называется. С выключателем в изголовье койки. Но он был выключен. Я прекрасно видел Вальтера. В жидком свете единственной крошечной лампочки в большом плафоне на потолке я отлично видел его. Нежное сияние позволяло мне очень хорошо различать его шею и плечи. Нижняя половина спины была в тени. Потом опять была полоса света, обливавшая серебром его выступавший из тени зад. словно это его юношеские холмики мерцали сквозь бархатные брюки. Он был все в той же одежде, все в тех же тесных брюках. Между его холмиков брюки тесно врезались в юношескую лощину. Совершенно блядские это были штаны, Мышонок, а сверху к тому же и подтяжки с защелками, чтобы портки еще теснее облегли, когда их поддернешь...

¹ Rozetje по-нидерландски означает также и «анус».

он до упора подтянул ляжки, так что штаны под ягодичками и в межножье натянулись до невозможности. Знаешь, что это за брюки такие были, Мышонок? Я углядел это в серебристом мерцании. Это были брюки для порки, милый мой Мышкин-мишкин.

– Да, Волк. Прелесть что за байки ты сочиняешь.

– Я хоть ничего такого недозволенного не рассказываю?

– Да что ты, нет, нет!

– Знаешь, Мышонок, мы втайне хранили изображение Пресвятой Девы, о котором, кроме нас, никто не знал. Позади нее мы натянули большое полотнище из темно-синего бархата. Нет, из черного. Черный бархат, точно. И было этого черного бархата так много, что весь мы его не извели. Остался еще приличный отрез. Ты знаешь, что мы с ним сделали? С тем оставшимся куском бархата? Догадываешься?

– Нет, Волк.

– Мы сшили из него три пары брюк для наказания. Нет – четыре. Четыре пары, да. Разных размеров. Коротенькие такие штанишки. Практически без брючин. Коротенькие и очень тесные. Одни – на тринадцатилетнего мальчика, другие – на мальчика четырнадцати-пятнадцати лет, еще одни – для шестнадцатилетнего, и последние – для юноши лет восемнадцати-девятнадцати. Все – в обтяжку, потому что вообще-то они получились гораздо теснее, чем нужно. Ты понимаешь, Мышонок, о чем я?

– Да! Да! Ну давай же!

– Как бы я желал, Мышонок, чтобы ты хотел долго-долго. Как можно дольше. И все потому, что я совершенно помешался на тебе, братишка. Одобряешь?

– Да, Волчище-зверь. Хочу, чтобы долго, очень долго. Похотливый зверь мой.

– А посему возведем в лесу часовню, в укромном местечке, которое никто не сможет отыскать. Перед алтарем с изображением Девы сладим каменный стол. Совсем как

в Банно¹, помнишь? Чтобы прикручивать к нему мальчишек и не торопясь мучить их. Тебе бы тоже этого хотелось, звереньш?

– О да, Волк. Разумеется, мне бы тоже хотелось.

– Всякий раз мы приводим мальчика к часовне со статуей Девы, Мышонок. Закрываем за собой тяжелую дверь, и становится тихо, тихо... Огромный тяжелый ключ со скрипом поворачивается в замке. Он уже больше не удерет, мальчишка. Часовню в этой чащобе не отыскать. И вот мы крепко-накрепко привязываем его наискось к этому каменному столу... Поперек стола, я хочу сказать. От плеч до паха – как раз ширина стола. На шею – ошейник, как скотине. Колени стягиваем цепью, цепь – к ошейнику, да еще и под каменной столешницей пропустим. Зад повернут к изображению Богородицы, штанишки натянулись меж бархатных юношеских холмиков. Сначала ты задашь ему порку, пока он еще в этих своих – ну, ты знаешь – штанишках. Потом, после первой порции плетки – а он уже корчится и воет – ты эти штанишки расстегнешь и стянешь их с его смуглой попки – просто-таки до колен, и опять возьмешься за хлыст, да, Мышонок? И задашь ему жару. По ногам – от коленок, кверху, сильнее, сильнее, бархатная шкурка его юношеских ножек – в клочья, – кровь, кровь... на что брызнет она, на что она брызнет, его кровушка?.. А, на что, Мышонок?..

– Да!.. Да!.. О-о... но я хочу еще... нет, пока нет...

– Подождать?

– Да, подожди... а то... не так скоро...

– Не отсырел еще твой порох?

Я слегка вздрогнул от банальности собственных слов, но все же не удержался и прибавил:

¹ Ваппеух, деревушка в Арденнах (Бельгия), неподалеку от Льежа. Популярное место паломничества.

- Будь начеку, приятель.
- Ладно. Отбрось-ка малость одеяло.
- Тебе понравилось то, что я тебе рассказал?
- О Господи, дай дух перевести.

Мышонок отбросил в сторону простыни и одеяла и лежал, ничем не прикрытый. Сам не зная отчего, я созерцал его блистательную наготу украдкой. Он лежал на спине, и я видел, как пульсирует кровь в его несказанно восхитительном, бесстыдном и совокупностью всех своих Заветных Частей невероятно высоко воспрявшем «светлом юношеском кинжале», как мне благоугодно было именовать его беспощаднейшую Розгу.

- Волк, подожди немного.
- Ты вкусно пахнешь, Мышонок. В прихожей всегда так тепло, не правда ли? Принести из буфета апельсинового сока?

Мы молча, разнеженно улыбались друг другу. Действие приостановилось, и мне нужно было вновь как можно скорее настроиться на мысленное исполнение своего ариозо. Я снова обвел взглядом обнаженный силуэт Мышонка – казалось, он был окутан дремой. Как много зависит от верного выбора слов, подумал я. Мы так охотно говорим о «кружащей голову белизне», однако примечательнейшим образом склонны называть ее «отвратительной бледностью», как только предмету обсуждения стукнет за тридцать. «И увидел я мертвых, великих и малых, стоящих перед троном Господа и Агнца его. И море отдавало мертвых, бывших в нем»,¹ – припомнилось мне. – «Неизбежность и необходимость власти, законов и правосудия». Опершись на локоть, я застывшим взглядом смотрел

¹ Искаженная цитата из Отк., 20:12,13: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом...» «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем...»

перед собой, и на меня вдруг нахлынуло неосознанное воспоминание о том, как однажды в полдень я сидел в пустом автобусе, справа у окна, и наблюдал за всем тем, что проплывало мимо меня. Когда это было и что означало это глупое воспоминание? В воде мелькавших за окном каналов – ничего, кроме каналов на этой пустынной земле – плавали старые пластиковые мешки из-под удобрений, изъеденные ржавчиной керосиновые канистры, виднелся остов автомобиля и даже перевернутая детская коляска. И тогда я увидел бутылку – обыкновенную зеленую бутылку на три четверти литра, каким-то чудом не ушедшую на дно, – горлышко ее все еще чуть выдавалось над поверхностью воды. Один легкий толчок – и она скроется под водой навсегда, и ни единая душа, которая будет сидеть справа у окна в последующих многочисленных автобусах, больше никогда ее не увидит – вопрос был лишь в том, кто подтолкнет бутылку? Я вдруг припомнил, что много лет назад у меня было нечто вроде Стеклянного Периода, когда я буквально помешался на пробках, бутылках цветного стекла и, позже, на стеклянных графинах. Индию к тому времени мы уже давным-давно потеряли¹, но такой безумной дороговизны, как сейчас, тогда еще не было: графины на площади Ватерлоо я покупал за примерно двадцать пять – семьдесят пять центов или за гульден². Разумеется, все это был не настоящий антиквариат, но некоторые из них отсвечивали таким заветренным глянцем, напоминавшим поблекший перламутр или след, оставленный нефтью на воде фарватера. Вскоре в моем владении были уже восемь

1 Здесь и далее имеется в виду Индонезия, получившая независимость от Нидерландов в 1949 г.

2 «Блошинный рынок» на Waterlooplein в Амстердаме, излюбленный коллекционерами за богатый выбор и относительно дешевизну.

графинов, и я бесконечно гордился приобретением одного из них – он обошелся мне всего в 35 центов из-за слегка поцарапанного горлышка; мне, впрочем, удалось зачистить изъям наждачной бумагой. Пробок у этих графинов, к сожалению, не было, но как-то раз на рынке в велосипедной корзине какого-то торговца я углядел россыпь разноцветных стеклянных затычек по десяти – пятнадцати центов за штуку и прекрасно помню, что купил их на всякий случай штук десять, а потом, дома, мокрый от пота, перепробовал все графины в попытке заткнуть хоть один из них, и ни одна пробка не подошла, сколько я ни бился – сперва по какой-то системе, затем просто так, точно ошарашенная обезьяна в комическом фильме. Очевидно, мне должно сильно везти в любви. Одним в ней везет меньше, другим больше. Мне припомнился поэт Коос С. Где же он тогда жил, восемнадцать-девятнадцать лет тому назад? На Виллемспарквех, в роскоши убожества, с кучей ребятишек и женой по имени не то Баук, не то Паук, которая во время нашей беседы в гостиной примерно раз в три четверти часа появлялась в дверях и отчетливо произносила: «Коос, на минутку», и уводила его в спальню этажом выше, откуда он минут через десять возвращался утомленный и несколько раздурманившийся – и так раз пять-шесть в течение этого достопримечательного дня, который, помнится, выдался хмурым и очень ветреным; я ничего из этого тогда не понял. Издательство, печатавшее поэзию Кооса, устроило ему большой праздник на прощание – он с этой своей Баук-Паук и детьми ввиду угрозы третьей мировой войны эмигрировал в Австралию, где Баук-Паук уже через две недели бросила его и детей и сбежала с каким-то пекарем. Правда, нидерландское правительство почтило Кооса заказом за полторы-две тысячи гульденов: ему предложили написать художественный отчет, предметом которого являлась проблематика голландца или голландцев в чужой стране – отчет этот был

написан и вышел в свет под названием «Пересмешиник смеется». Сперва – густо, потом – пусто; в сущности, по-другому и не бывает. Любовь приходила то слишком рано, то чересчур поздно, но не бывало такого, чтобы она являлась постоянно – это было невозможно. Профессия возлюбленного Баук, или Паук, вновь навеяла мне воспоминания о весьма запоздалой идиллии моей тетушки Янс, которая, будучи годами ближе к семидесяти, нежели к шестидесяти, завела внебрачный роман с неким булочником, который – согласно весьма надменному комментарию моей семьи, был вовсе не булочником, а всего лишь каким-то «хлеборезом». Но что во всем том было проку – пустой автобус, мчащийся по пустынной земле, бутылка в канаве, которую, вообще говоря, следовало утопить, восемь графинов без пробок, муж без жены и жена с булочником, который вовсе не булочник?

– Ах, Мышонок, Брат мой возлюбленный, сдается мне, что я опять в печали.

– Да нет, ты вовсе не в печали.

– Нет?

– Да нет, конечно, и речи быть не может.

– Ну, слава тебе, Господи. Я так и думал. Как я рад, что я так счастлив. Во мне нарастает непрерывный ликующий гул.

– Давай-ка дальше рассказывай.

– О мальчике, которого мы притащили в уединенную часовню в лесу и привязали к столу перед статуей? Мы допросили его с пристрастием.

– Нет, лучше о том парне на корабле. Который пришел к тебе в каюту.

– Об этом рулевом, таком наглом трусливом зайце? Он медленно-медленно отворил дверь, вошел в мою каюту, вновь прикрыв дверь за собой и застыл в мягком голубом свете, повернувшись ко мне спиной и задиком... –

– Да. Дальше.

Мышонок пошарил в поисках сброшенного одеяла, оставил его валяться на полу возле кровати, однако натянул на нас обоих простыню, прежде чем снова ухватиться за свою штуковину.

– А ты, похоже, тоже по-своему целомудрен, а?

– Что, неужели такое возможно? – огрызнулся Мышонок. В голосе его слышалось раздражение.

– Но это меня в тебе тоже невероятно трогает, – поспешно ответил я. – Вот поэтому я перед тобой так преклоняюсь. Ты объезжаешь и мучаешь мальчиков, но никогда до конца не раздеваешься. Никто не должен видеть твою наготу. Потому что ты – принц. Как бы это сказать... Порой ты терзаешь обнаженного мальчика, но сам при этом не раздеваешься. Ни тесных кожаных брюк, на сапог не снимаешь. Только чуть расстегиваешь их и приспускаешь, когда собираешься устроить мальчишке допрос с пристрастием при помощи своей могучей розги.

– Да, отлично. Но этот твой рулевой. Ведь он, черт подери, плоскостопие себе заработает, пока там в дверях мнетя.

– Я рассказываю так медленно, потому что он – твой, Мышонок, он принадлежит тебе. Если бы ты был в том рейсе со мной, я бы отдал его тебе, только тебе. Я расскажу сейчас, что я сделал с ним, но мне хотелось бы, чтобы он был только твоим. Ведь тогда я тебя еще не знал. Я еще не мог отдать его тебе. А сейчас хочу. Я имею в виду – я хотел бы, чтобы мог тогда отдать его тебе. Теперь ты должен быть при этом, теперь я это рассказываю. Ты ведь сейчас со мной, там, в каюте?

«Боже всеблагий и милосердный», – подумал я, тряхнув головой.

Мышонок испустил вздох, в котором сквозило явное нетерпение. Нет, это было невозможно: о таком никогда не говорят. То, что хочешь сказать, произносишь порой в

опаляющем, всепожирающем пылу – но слова, способного это выразить, у сынов человеческих нет.

– Он обернулся, золотко, – поспешил продолжить я. – Обернулся и прошел в каюту. Помялся в нерешительности. На лоб его падала тень от челки. В голубоватом свете я очень хорошо видел его пах, Мышонок. Он стоял неподвижно и смотрел на меня. Одно судно приветствует другое, проходящее мимо в ночи. – Я вытянул губы трубочкой.

– Ууу... разнеслось над морскими глубинами, Мышонок. Ууу... Можно тебя тут поддержать?

– Ну, поддержи.

– Он подошел еще ближе, Мышонок, там, в каюте.. Тут я ему и говорю: «Подойди-ка. Иди сюда, Вальгер».

– Да!.. Вальгер! Ты окликнул его по имени, чтобы он подошел к тебе.

– Как собаку, Мышонок.

– Да... Да, зверь мой. И он подошел?

– Да.

– И тогда?..

От нетерпеливого ощупывания и потискивания там и сям своей Заветной Штуковины Мышонок перешел теперь к размеренным действиям, и вызванный ими трепет отчетливо передался моему телу, жаждущему его. Я подумал, что мне опять придется выступить с заявлением.

– Тебе ведь нравится то, что я рассказываю в постели, всегда нравится, а, зверь? Можно я всегда все буду тебе рассказывать, чтобы распалить тебя, – всегда?

– Кончай пиздеть. Он подошел к тебе. Давай дальше.

– Да, он медленно приблизился ко мне. В этом мягком таинственном свете его гибкое юношеское тело двигалось так изящно, так грациозно, но в то же время очень дерзко и распутно, немного пружиня и вихляя похотливой задницей; я бы даже сказал, просто как девка.

Дыхание Мышонка участилось, и мне не хотелось расхолаживать его нежелательными паузами.

– Он вдруг очутился рядом. Он стоял передо мной. Я все еще сидел на краю койки. Я притянул его к себе. Зажал его между колен. Руки мои скользнули вниз по его спине. Я стиснул его юношеские холмики. Я жаждал этого дни напролет, я грезил об этом, Мышонок. Он тоже. Он буквально сотрясался от похоти, представляешь, мой милый жестокий топтыжка? Самый воздух вокруг него был исполнен похоти, его теплое красивое тело дышало ею. Темно-русые волосы его пахли морем, штормом и ветром, от этого кружилась голова. Я уткнулся лицом ему грудь, в распах красной рабочей рубахи, и вдохнул запах его молодого пота, такой мужественный, возбуждающий и жестокий... Но какая же он был блядь, Мышонок. Слишком уж красив для парня. Да, в нем было что-то очень мальчишеское, но он вел себя как последняя шлюха – так уж он ластился ко мне... Стискивая ладонями его крутые, крепкие юношеские холмики, его теплое бархатистое седло, я тут же подумал...

– Что ты с ним сделал? Что ты сделал?

– Я изображал любовь и нежность, Мышонок. Я был сама кротость. Я зацеловал его красивую юношескую рожицу, но очень робко, словно благоговей перед ним. Я вел себя, как влюбленный. Я люблю тебя, Мышонок. Наездник мой! Укротитель Мальчиков! Мы разыщем его. Он живет в Роттердаме. Мы обязательно его разыщем. И уж тогда он станет твоим, как тогда моим... –

– Что ты делал с ним? Давай!

– Мне что, быстрее рассказывать? У меня изо рта...

– Попахивает, но терпимо. Не рассусоливай.

– Я соскользнул с койки и встал перед ним. Он прильнул ко мне. Я сунул руку ему между ног – он аж застонал. «Сними ботинки», – шепнул я. Он наклонился, чтобы

развязать шнурки. Я подошел к двери. Изнутри торчал ключ. Я повернул его и незаметно сунул под циновку. Он все еще стоял нагнувшись, возясь со шнурками. Я подошел сзади. Боже, Мышонок, его брюки, натянутые до того, что глубоко впились в его расщелину... Может, еще подождешь?

– Не хочу. Что было потом? Говори дальше!

– Он снова обернулся и прижался ко мне. Совершенно уперся в меня своей юношеской штуковиной. Я схватил ее, крепко сжал сквозь брюки – она была твердая, как камень. Ты знаешь, какая она у него была? Такая же здоровенная, твердая и бесстыжая, как у того парня, что с компанией приятелей приставал в пустом вагоне к девчонке, а потом не хочет в этом сознаться, и тогда его петуху задают трепку... и так до тех пор, пока он не сознается... Когда я в Индии служил в полиции¹, к нам частенько приводили арестантов, очень красивых похотливых мальчиков лет девятнадцати-двадцати. И вот, когда налагаешь на такого штраф или допрашиваешь, наказанию следует подвергать ту часть тела, которой он согрешил. Это мы усвоили: так было положено по инструкции.

– Что, правда?

– Точно. Если парень украл и не сознавался... тогда мы защелкивали его запястья в такие дужки, а потом сдавливали в тисках его ручонки шаловливые и закручивали гайки, пока он не начинал выть и орать. А если этот тип докучал девчонке своим... своим... В общем, если он к ней приставал и не хотел сознаться, если продолжал упираться – мы его раздевали, укладывали на спину и привязывали к скамье допросов, с подушкой под поясницей, и предлагали познакомиться с... кожаной кисточкой дня бритья...

– Кисточкой для бритья?

¹ Реве ни разу не был в Индонезии и никогда не служил в полиции.

– Да, так мы называли... допросную плеть. А изобрел ее один молодой гуляка, красавчик-полицейский – я считал, что он просто прелесть, и совершенно на нем помешался. Он был весьма изобретателен в смысле всяких садистских штук.

– Давай чуть побыстрее.

– Да, мой юный король, да, мой похотливый принц. Но ведь все, что я рассказываю, связано между собой. Я имею в виду: связано с тем, о чем я думал тогда, нащупывая и тиская его штуковину.

– Да уж, одному господу Богу известно, о чем ты там думал... Ну, что ты с ним сделал? Расскажешь ты или нет, черт бы тебя подрал.

– Я раздел его.

– Да кого раздел-то? Кого ты раздел, наконец? Этого...

– Этого рулевого.

– Хорошо. Давай дальше.

– Я раздел его, этого рулевого. Он стоял передо мной – совершенно голый, совершенно бесстыжий. И все же ему было стыдно, Мышонок. И страшно. Я скинул рубашку и белые теннисные трусы. Смущенный, он скорехонько проскользнул мимо меня в койку. Я торопливо выключил верхний свет и зажег вместо него ночник над постелью, откинул одеяло, и он забрался под него, чтобы прикрыть наготу. Но в следующее мгновение я плюхнулся рядом с ним и откинул одеяло. Он лежал рядом со мной обнаженный, Мышонок. Я гладил его повсюду. Он перевернулся, может быть, оттого, что стеснялся, а может, просто по блядской своей натуре, и улегся на живот. Мышонок, Мышонок! В мягком, голубоватом нежном свете он лежал на животе. Я видел изгиб его спины, которой часами любовался там, в рулевой рубке, и вот теперь я видел ее обнаженную. Такую же наготу и беззащитную, как и его крупный, бархатистый мужской зад. Такие они были

бархатистые, покрытые снизу темно-русый пушком, эти его округлые холмики, его тугие полушария: два мира – и вся Вселенная меж ними...

– Ну, дальше...

– Да, ничего не поделаешь, Мышонок. Я знаю, есть во мне поэтическая жилка. Но если бы в той койке тогда лежал ты – ты бы тоже свихнулся от желания... Я быстренько проделал все необходимое, Мышонок, а потом... потом я раздвинул ему ягодицы. Я открыл вход в его тайную долину... Точно так же, как для тебя открою я юношескую лошину любого мальчика и любого мужчины, которым ты возжелаешь обладать, зверь: солдатскую, матросскую... Для тебя... послушай. Ты же веришь в... в... Я не кажусь тебе ненормальным оттого, что... несу такое?

Голос мой дрогнул.

– Да, о да, Волк. Нет, я вовсе не считаю это ненормальным.

Мышонок прекратил возбуждать себя, но в голосе его не было ни раздражения, ни нетерпения.

– Я завалю тебя сокровищами, Мышонок, я осыплю тебя самоцветами. Одарю тебя россыпями баснословно дорогих украшений. И половиной своего королевства. Мы стоим с тобой перед алтарем, темным, как ночь, но в глубине его мерцает огонь, а на тебе – все эти драгоценности. Ты понимаешь, понимаешь?

– Да, да, милый зверь, мой Волчище. Я понимаю.

– Позволь мне оседлать твое золотистое тело? Ты не сердись? Я так сразу и слов-то верных не найду, чтобы сказать это иначе. Мышонок... как ты думаешь... возможно ли всеобщее примирение?..

– Да, всеобщее примирение возможно...

– И... все слезы будут осушены? Я... Мне все равно. Я хочу сказать... Мышонок... Ты спешишь?

– Рехнулся. Да нет, конечно.

– Потом, позже... Это тайна... Когда последние звезды погаснут и отгоревший шлак их осыплется с тверди небесной, будет ли тогда... Ну да.

Я встал, чтобы сходить по малой нужде, но быстро вернулся в постель, как будто ей – словно брошенному гнезду – грозила опасность, замешкайся я чуть подольше. Пламя свечи перед статуэткой металось на легком сквозняке, возникшем то ли из-за моих хождений туда-сюда, то ли из-за слабого шептуна-ветерка, который, едва слышный, с шелестом струился в приоткрытое окно. Она стала чуть короче, свеча, с тех пор как я зажег ее, – ненамного, но все же короче; а иначе и быть не могло.

Глава четвертая

Кто любит друга своего...

Я прижался к Мышонок так, что ребра мои затрещали.

– Протяни мне ногу, – шепнул я.

– Которую?

– Неважно.

Мышонок приподнял левую ногу. Я схватил ее за щиколотку, прижал стопу к лицу, покрыл подъем бесчисленными крепкими, но бесшумными поцелуями и, продолжая поглаживать ее, осторожно уложил на место, прикрыв простыней и вновь нежно охватил ладонью то же самое потаенное местечко его тела, которое только что ласкал.

– Я не остановлюсь, любовь моя, до тех пор, пока ты... пока ты не содрогнешься и не извергнешься, зверь... Я хочу жить лишь для того, чтобы распалить тебя – а больше и незачем. А теперь я расскажу тебе все, медвежонок, все... Я больше не выпущу тебя, пока ты... пока... («Пока ты не благословишь меня», – внезапно промелькнула у меня мысль, словно неким воображаемым громовым голосом подсказанная из глубины моего сердца.) Я, дубина этакий, опять с головой ушел в какую-то замысловатую книгу, и это в то время, когда вокруг меня кипел водоворот жизни и мешкать было нельзя.

– Слушай же. До смерти перепуганный, преисполненный покорности лежал он в сумеречном свете, темно-русой своей попкой кверху. Он то и дело поглядывал на дверь каюты – но, Мышонок, она была заперта.

Мышонок кивнул, задышал быстрее и вновь принялся за дело, поначалу несколько неловкими, неупорядоченными движениями – кого-нибудь другого они сделали бы смешным, но его превращали одновременно в жестокое, восхитительное и беззащитное существо, оснащенное шуршащими крыльями.

– Я лег на него, Мышонок. Сначала я взобрался на его светлое бархатистое седло. Я видел под собой верх его попки, то место, где начиналась покрытая пушком юношеская долина – и там я его пощекотал. Прямо в том месте, где кончалась спина, в точности там, где начиналась ложбинка. Мальчики этого не выносят. Он хихикнул, как девчонка, и дернулся подо мной.

– Да-да, он дернулся под тобой. Да! А ты что?

– Я раздвинул ему ноги коленями, развел в стороны его покрытые темно-русый пушком юношеские бедра, а потом... потом я вошел в его расселину своей могучей, твердой, как камень, многоопытной мужской дубиной. Я объездил бесчисленное количество мальчиков, но отныне я стану объезжать их, только если этого пожелаеть ты, Мышонок, если это пощекочет твою чувственность. Я буду... объезжать мальчиков для тебя, Мышонок, для тебя... Я стану...

Я потряс головой. Нет, довольно этих лирических отступлений.

– Я стиснул его своими крепчайшими, волосатыми мужскими ногами. Я зажал его между колен, медвежонок. Ему было не вырваться.

– Нет... – сглотнул Мышонок.

– Он сжал свою юношескую расселину; крепко-накрепко стиснул свои бархатистые ягодички, но я ворвался меж них. Я ощущал их бархатистые, теплые стенки. Концом своего мощного члена я добрался до его потаенного юношеского входа – такого светлого, крепко-накрепко запертого. Я чувствовал, что он отлично знает, чего мне хочется. И еще я чувствовал, что был не первым, кто собирался... собирался... Я догадывался, что вовсе не целомудрие заставляет его так сжимать свой теплый похотливый задок... поскольку зад у него был совершенно блядский, да и сам он был продажной задницей... Он и раньше еще, очень часто, за деньги...

Мышонок засопел и издал короткий, ворчливый возглас нетерпения.

– Сперва я проталкивался потихоньку, братишка... А потом... я внезапно ворвался в него, в его похотливую задницу, зверь мой, так что он взвыл и заскулил. Кричать он не смел – боялся, что кто-нибудь услышит, но при каждом моем толчке он извивался от боли, Мышонок. Я входил в него все глубже и глубже. С каждым толчком он пытался вскочить. С каждым рывком скулил. Он непрерывно корчился от боли, зверь мой, а я входил в него все глубже и глубже, пока он, наконец, не взвыл. Плакал он просто дивно, меня это еще больше распаляло, Мышонок. Всякий раз, когда он всхлипывал, я чувствовал, как содрогаются его ножны, воспрियाвшие мой раскаленный кинжал. Я протискивался все дальше, покуда не дошел до предела. Тогда я немного утихомирился, но продолжать крепко сжимать его в тисках своих ног. Я не выпускал его, – я принялся его возбуждать. Честное слово, Мышонок.

– А, здорово. А как?

– Перекатил его набок и легонько, кончиками пальцев, пощупал ему член. Он тут же запыхтел. Штуковина его уже стояла вовсю, чуть ли не прижимаясь к животу. Я хотел, чтобы он опять завопил, завыл от боли, принялся молить о пощаде, как маленький трусливый мальчишка, но сперва я собирался как следует его подзавести. Я гладил и ощупывал его, как я всегда это делаю с тобой... так, как если бы... я его любил, Мышонок. Я видел в сумеречном свете его штукловину, его здоровенную русоволосую мошну, и ямочку, светлую юношескую впадинку. На той половинке, что была сверху. Лобок его был опушен совершенно бесстыжим срамным волосом. Я погладил эту светлую поросль на его мошонке, а затем неторопливо скользнул пальцами вверх по канату. Я почти не касался его – так, едва-едва. И всякий раз, доходя до кончика его члена – такого напряженного,

великолепного, разгоряченного и влажного, – я чуть было не стискивал его в ладони, но все же удерживался и лишь кончиками пальцев трепетно касался его, легонько водя пальцем по краешку... Тогда он стонал и совсем сжимал ягодицы. Он пытался следовать телом за движениями моей руки, но я крепко удерживал его ногами. Я заставлял его ждать. Он хотел, чтобы я поработал рукой, – я чувствовал это, но продолжал томить его ожиданием. Я ласкал его, заставляя его изнемогать от желания, Мышонок; вылизывал ему ушки; я, как братишку, целовал его в крупный, влажный мальчишеский рот, а сам тем временем изобретал для него наказание, бичевание, истязание, пытку, что длилась бы дни напролет, в склепах темницы для юношей...

Движения Мышонка участились, исполнились пыла, и я, лежа на боку, еще крепче прижался к нему. Деревянный каркас кровати со стоном завибрировал, едва слышно поскрипывая, словно что-то в ней распаталось и грозило вот-вот вывалиться. И все-таки, как ни банально, кровать – это корабль: корабль, колеблемый приливом, пытался, жалобно сетуя, отдать швартовы. «Поэтическая жилка...» Да, может, и так, но сейчас была война, и не время сочинять стишки, если только для запевал боевых песен в траншеях, набитых юными светловолосыми, дивной красоты героями, каждому из которых приходится обслуживать два орудия одновременно... «Пиф-паф! В атаку!»

– Что, что такое?

Мышонок слегка привстал, но, слава богу, занятия своего не бросил.

– Нет, ничего; действуй дальше, Мышонок. Лучше не отвлекайся от своего великолепного золотисто-русого тромбона...

– Ты чего тут наплел?

– Я просто подумал о войне, Мышонок: как хорошеют и ожесточаются мальчишки, когда разражается война...

Помню то времечко, в Индии – я тогда был в чине лейтенанта; как мы издевались над парнями, сидевшими у нас за решеткой. Нет-нет, теперь уж точно – никаких лирических отступлений... Хотя, возможно, я бы мог соединить приятное с полезным: рассказ в рассказе, как водилось у истинных художников, так что одно дополняло другое... Да, слава тебе, Господи, и такое я видывал...

– Я лежал, засадив этому рулевому в задницу... Я задвинул ему, Мышонок, – там, в койке корабельной каюты, & продолжал все больше возбуждать его – так, что он урчал от вожделения, и извивался, и корчился всем своим темно-русым гибким телом; и я подумал, Мышонок, что, пожалуй, стоило бы помучить его так же, как мы мучили и допрашивали мальчишек там, в нашей Индии, когда я был лейтенантом военной полиции...

– А мне как-то всегда казалось, что в морской пехоте ты служил, Волчонок – уж извините, конечно.

– Правильно казалось, о божественный наездник юношей. Но из-за этого развороченного колена...

– Все еще дает о себе знать?

– Нет, слава Богу, никогда потом не ныло, ничего такого. Но именно из-за этого раздумдумленного¹ колена меня уволили со строевой службы. Я, понимаешь ли, всю кампанию прошел до самого последнего дня, когда мы вошли в Джокью². И вот в этот последний день мне лапу и разнесло; меня и раньше, случалось, задевало, но я оставался на поле боя, только соглашался на перевязку – руку там или

1 Дум-дум: разрывные пули с крестообразным надрезом или полостью в головной части. Причиняли тяжелые ранения: в ранах выходное отверстие было значительно больше входного. Названы по наименованию предместья Калькутты, где была расположена патронная фабрика, изготавливавшая пули по заказу англичан.

2 Джокьякарта, Джокья – город в Индонезии, на юге центральной части острова Ява.

запастье; а вот из-за колена меня отозвали с передовой. Перевели на службу в военную тюрьму.

– Ну, наконец-то. В тыл.

– Ну да. Вот об этом я и думал тогда, на море, лежа в койке с рулевым, которому только что задвинул в зад, ощупывая и поглаживая его здорового темного петуха, лаская и возбуждая его... И при этом вспоминал, как мы обычно допрашивали в тюрьме парней, аборигенов, как правило, ворюшек-полукровок – стащит такой что-нибудь из армейской амуниции, а потом, разумеется, совершенно не помнит, куда запрятал. Ну забыл он, и все тут. Запомнил ненароком, надо же такому случиться. «Ну ладно, сейчас мы тебе память освежим».

Мышонок задышал чаще.

– И вот привели как-то парня лет семнадцати-восемнадцати – стройный, прямые темные волосы. Вполне даже смахивает на белого, только трусливее, и вороватый такой, блудливый. Трясется от страха. На нем всего лишь золотисто-коричневые бархатные брюки.

– Долго еще? Послушай. По части рассказов, Волк, тебе равных нет, правда. И все-таки хотелось бы знать, когда, ну хоть примерно...

– Скоро, скоро, зверь. Двое молодых солдат стянули с него золотисто-коричневые бархатные штаны, толкнули его бронзовое юношеское тело навзничь на деревянный стол, на спину, и связали ему руки и ноги под столешницей. И тогда я взял кожаную кисточку для бритвы... Знаешь, что это такое?

– Нет. Расскажи.

– Как это – не знаешь? И даже приблизительно не представляешь? Да нет же, знаешь ты...

– Это такая плетка? Плеть для мальчиков?

– Ну да, Мышонок, только короткая. Очень, очень короткая и весьма безжалостная плеточка. Представь:

рукоятка, а к ней прикреплено семь-восемь тонких, гибких кожаных полосок длиной даже не в две, а в полторы ладони. И вот этой кисточкой можно было гладить привязанного к столу, лежащего на спине юношу, долго-долго ласкать его наготу, его тайну, его юношественность; часами лелеять его вожделение; но можно было... в любой момент можно было обратить его похоть и наслаждение в обжигающую, пронзительную боль...

– И ты сделал это? Или сначала немножко погладил его?

– Да, сначала я только поглаживал его.

– Да, правильно.

– Он был довольно похож на этого рулевого. Потому я о нем и вспомнил. Тот же тип, только чуть моложе и, возможно, стройнее и гибче. С такой же внушительной штурковинной, разве что волосы потемнее.

«Ну и кому же ты этот мотоцикл загнал?» – спросил я, начиная поглаживать его; кончиками семи-восьми кожаных язычков ласкающей этой плети я провел вверх по его ногам; лишь самым кончикам плетки позволял я касаться его кожи, поднимаясь все выше и выше; приласкал его мошонку, его юношеский живот, пощекотал в пупке и вновь спустился вниз. Я словно очень осторожно раскрашивал или расписывал что-то: это называлось у нас «красить синим». Сперва я оглаживал плоть вокруг его штуковины, а потом... и ее саму. Всеми семью-восемью кожаными язычками я водил по его члену, так нежно, так тихонько... пока он не задрал голову, его петух, пусть даже сам парень этого не хотел – этого желали мы, солдаты и я: нам хотелось распалить его до крайности, перед тем, как дать ему почувствовать, что за пальчики в самом деле его ласкали...

– О... да... но теперь чуть помедленнее. Можно, я чуть подожду?

– А кто говорит, что нельзя? Для кого я тут болтаю? Можно быстрее, можно медленнее, как тебе захочется. Хорошо я рассказываю?

– В общем, да. Правда... ээ... когда...

– Ты хочешь только... когда бьют, или еще чего-нибудь? Кроме этого, я хочу сказать. Медку ложечку-другую?

– Да, еще чего-нибудь. Всего понемножку. Ну, ты знаешь. А теперь не тяни, Волк.

– Нет, больше тянуть не будем, Мышонок. Пока он все еще постанывал от вождения, я занес над ним плеть-любохлестку, но не стал ее опускать. В комнату ввели здорового, распаленного похотью светловолосого парня, белого, он тоже у нас сидел – единственный белый во всей тюрюге. Он прирезал какого-то местного, который пытался наложить свои обезьяньи лапы на его девчонку. Этот был наш всеобщий любимчик. Я ему как-то сказал: «Небось несладко тут, за решеткой, совсем без... А почему бы тебе не попробовать что-нибудь другое? Выбор тут хоть куда. Осмотришься». И мы стали подсовывать ему парней на пробу, и здорово ему это понравилось. Он и не думал, что это может быть так здорово, сказал он нам потом. После этого мы, само собой, отдавали нашему милому белокурому красавцу-громиле любого, кого он хотел. Приводили их в камеру, как две капли воды похожую на мою корабельную каюту, и он заваливал их на нары – в точности такие же, как на корабле, – любого мальчишку, на которого он только укажет. Он и на допросах нам нередко помогал – мы тогда частенько позволяли его пыточной дубинке пошуровать в арестантских задницах. Это ему нравилось больше всего: именно во время допроса, когда мы с симпатягами-солдатами толпились поблизости. Мы все его просто обожали, правда, веришь ли? Ему очень нравилась, когда я тискал его зад, когда он... Я ему все время приговаривал: «Один кинжал у тебя отобрали, но другой-то у тебя при себе, а?» И его славный,

крупный мальчишеский рот расплывался в белозубой улыбке. Мы всегда заботились о том, чтобы ему было хорошо. Я говорил ему: «Вот вынесут тебе приговор, я испрошу для тебя разрешения отсидеть срок здесь, и уж тогда мы позаботимся, чтобы у тебя всего было вдосталь». Лапочка! Мы все очень его любили, поскольку он прирезал эту безродную собаку, поскольку на нем... была кровь... И вот, значит, входит он и смотрит на парня, прикрученного к столу, и кивает нам – идет, мол. И начинает раздеваться, медленно, как некий жестокий принц. Я велел солдатам отвязать черномазого и швырнуть его нашему белокурому любимчику. Мы его скрутили, раздвинули его смуглые холмики и развернули задницей к его белому господину. И тот вошел в него. Сокровище наше. Стоя вошел. Боже, до чего он был хорош – эта его серебристо-светлая попка и мощные ноги. Он раздвинул туземцу колени, чтобы поясища опустилась пониже, так, чтобы можно было засадить поглубже и зад ему приподнять. Я подошел к нему сзади и стиснул его ходившие ходуном светлые ягодицы... да... Солдаты столпились вокруг туземца и удерживали его, чтобы не вывернулся и наш белокурый милашка мог пихать ему хоть до глотки. Дубины у солдат в форменных брюках уже стояли вовсю. Я протянул одному из них плетку-любохлестку, и тот внезапно врезал ей туземцу по его штуковине. Наш белый любимчик при этом чуть не кончил, белокурый зверь, и я тогда засунул руку между его красивых теплых светло-русых ягодиц и погладил его расщелину, чтобы он опять разохотился, когда... И он опять чуть не кончил, солнышко, а солдаты зажгли сигарету и, бросив плетку, припекли черномазого горящим кончиком, а наш блондин тем временем глубоко, свирепо, яростно...

– Да, да, да... они это сделали... отлично.....

Золотистое тело Мышонка содрогнулось. Я, не в силах больше сдерживаться, терся своей волшебной лампой о его бедро. Речь моя перешла в смутный лепет.

– Он... почти что сплюнул, белокурый малыш. Я сказал ему, что... люблю его, Мышонок. Я со всей силы врезал черномазому по морде....

– Да, конечно, ты это сделал. О...

«Всади качангу¹ по самую рукоятку! Пусть поблеет!» И солдаты подпалили черномазому яйца, так, что волоски затрещали, и он еще громче заорал...

Мышонок что-то промямлил, вытаращил глаза, прикрыл их и снова открыл, так же, как и рот... «Да, пусть поблеет, пусть поблеет!» И чудо свершилось с Мышонком – бурно, неистово, и как по промыслу Божьему, случавшемуся с годами все реже и реже, мгновением позже, но все же почти одновременно с Мышонком, пламя объяло и меня.

– У тебя всегда будут мальчишки, Мышонок, всегда... Я стану помогать тебе, когда бы ты ни захотел помучить их... Я... люблю тебя.

– Да, мой Волк. Да, зверь мой. Брат. Брат.

И вновь – отчужденность тел. И вновь неизбежно, неотвратимо потянет меня говорить, но с первого слова окажется, что я несу вздор. Как это произойдет, как это получается? Как вообще все, в сущности, произошло? Отчего жаждем мы этих мелких, суетных движений, словно жизнь и вечное спасение зависят от них? И что может подумать сторонний наблюдатель, все видевший и слышавший, но ничего не знающий об этом? Размотанный пожарный шланг; мотылек, что, проиграв невинную битву со смертью, со сложенными крыльями падает на сухую ветку или крыльцо в конце дня, который он без тени сомнения принял за сорок семь лет жизни. Этот трепет, свойственный даже мельчайшим «тварям бескровным», – по сути дела, предсмертный хрип, поскольку сорок семь лет – это

¹ Katjang – особая порода малайских и индонезийских козлов.
Зд.: презрительное название туземцев.

не шутка. Беспорядочные мысли осаждали меня, и было еще столько всего, о чем бы надо было крепко подумать. Свершается чудо, и ты при этом немного влюблен; и это – еще большее чудо. На глазах у меня навернулись слезы.

– Природа – это такая красота, Мышонок. – Я все-таки заговорил. – Взять, к примеру, лес. Никто уже не заходит в лес – так, рассаживаются на опушке со складными стульями и столиками.

Мышонок задремывал. Полагаю, что я действительно любил его, но это его беспечное, своевольное, даже кокетливое покорство нуждам своего утомленного тела пробудили во мне раздражение, а оно, в свою очередь, – новую волну желания, пусть еще пока неоформившегося, – и мне пришлось положить руку на его выдохшуюся от игры и пения флейту.

– Ты всегда будешь моим белокурым, неверным, распутным укротителем мальчиков? Я серьезно.

– Слушай, отстань.

– Да, конечно.

Никогда, никогда, никогда я не утомлюсь. Что же по-нукало, что гнало меня по земле, нигде не суля успокоения? Неужто я богохульствовал – по легкомыслию либо из-за плебейской своей недооценки величия Господнего? Оставив мысль об умирающей бабочке, я вообразил себе некоего крошечного насекомоподобного монстра, который, свернувшись в листке кустарника, плавает в пене собственной слюны: мелюзга, должно быть, наболтала всяких поистине ужасных вещей.

Я вспомнил, как еще мальчишкой читал одну книгу – не слишком толстую, на тонкой, желтоватой бумаге в дешевом, с серым мраморным рисунком переплете; обрезанная вровень со страницами обложка была из голого соломенного картона, а текст на каждой странице был разбит на две колонки; называлась она не то «Корабль-призрак», не

то «Летучий Голландец», а может, и то, и другое: я имею в виду, одно из названий было подзаголовком. Что же это была за книга из великого множества других на эту славную тему? Теперь уж мне и не вспомнить. И как звали капитана – не Ван дер Декен ли¹? Тот самый богохульник, что ходил к мысу Доброй Надежды и за свое кощунство был обречен на веки вечные – или, по меньшей мере, до Судного дня – скитаться вокруг этого Мыса... Если только... если только... в чем же там было дело?²

– Неужто он не мог как-нибудь вывернуться? – вдруг громко сказал я.

Мышонок, вздрогнув, очнулся от дремы:

– Откуда ты не можешь вывернуться? Что?

– Я подумал о прошлом. Я, Мышонок, тогда книжку одну читал. И мечтал о всяких морях и гаванях. Я тогда маленький был.

Я вновь приподнялся на одном локте и взглянул на затягивающие небо облака, на верхушку росшей на заднем дворе березы – и каждый листочек на ней трепетал, трепетал, и было их без счета.

– Мне дальше-то можно рассказывать? А ты помолчи. Тебе нужен отдых. Ты болен. Очень и очень болен.

– Что это, черт возьми, за фигня еще? – сон почти слетел с Мышонка.

– Да нет, ты здоров как бык, не о том речь. Но из чисто литературных соображений было бы лучше, если бы ты таял на глазах, чтобы здоровье твое было предметом великого беспокойства. Вот когда-нибудь извлекут из-под

1 По другим версиям капитана звали ван Страатен, либо ван Димен, либо Бернард Фогг.

2 По преданию, капитана могла спасти только любовь верующей женщины, на встречу с которой в море, разумеется, рассчитывать было невозможно.

песка мои письма – когда-нибудь, как ты знаешь, весь мир превратится в пустыню – и посадят какого-нибудь типа, которому всяческие бестолковые фонды за эту работу платят бешеные деньги – склеивать их по кусочку, то обнаружится, что в них без конца повторяется одно и то же: «Мы вновь держим путь на юг, за перелетными птицами, туда, где светит солнце, туда, где тепло – так надо для Мышонкиной грудки». Мои письма всегда исполнены неусыпной тревоги о тебе. А еще нам нужно заботиться о том, чтобы современники постоянно получали письма с сообщениями вроде: «Мышонку – о радость! о счастье! – немного лучше. Гнусный кашель мучит его гораздо меньше». И кучу фотографий нашлепаем, на которых сидишь ты, такой хрупкий, трогательный, твое прелестное тельце ниже пояса укутано клетчатым пледом – ты полулежишь в плетеном кресле, со смутной улыбкой на губах: утомленный, на пороге смерти и все-таки жаждущий чудес, перспективы, наслаждений и захватывающего вихря жизни – ведь ты еще так молод... Вспомни, к примеру, Вирджинию – По женился на ней, когда ей едва исполнилось тринадцать¹, – она качалась на качелях в тенистом саду, и ее, резвящуюся беспечно, уже подкарауливала смерть... Да, тебе пристало бы чахнуть, но так, чтобы при этом оставаться здоровым, вот что я имею в виду.

– О господи, уймешься ты наконец!

– Нет-нет, ты здоров, но вообще-то не так чтобы. Я имею в виду, ты был бы здоров, но с виду такой болезненный, хотя не настолько, чтобы пропитаться запахом хвори и пилюль – вот этого не надо. И был бы ты нежный, блед-

¹ Эдгар Алан По (1809 – 1849) женился на своей кузине Вирджинии (1822 – 1847), которой в ту пору еще не исполнилось тринадцати, отстававшей в умственном развитии и до конца жизни сохранявшей детские повадки. Хрупкая и болезненная Вирджиния умерла в возрасте 25-ти лет.

ный, с дивной кожей, как у девы, которую мать усадила пахтать масло, и она носа на улицу не кажет. В тебе есть что-то чарующее, что-то от юной женщины, еще девушки... провалиться мне, если вру.

– Герард, ну как с тобой жить!

– Ну давай тогда вместе умрем.

– Да мне уж все равно.

– Ладно: заткнусь я со своей небывальщиной. Я тебе лучше кое-что настоящее расскажу, из книжки. Кабы этого не было, об этом и не написали бы. Я имею в виду, просто так всякие враки в книжках не пишут.

Мышонок застонал.

– Не трусь, – продолжил я. – Прежде всего, учти: я по тебе с ума схожу – ну, это уж и так ясно. Я книгу про тебя написать хочу; ты там выйдешь таким жестоким красавцем в роскошных лиловых юношеских одеждах в обтяжку, здоровый такой крепыш. Понимаешь? Так написано в книге – или будет написано в книге, которую мне, по стечению обстоятельств, еще предстоит написать, – это неважно, – и это немедленно становится правдой. Разве ты не раскрасавчик? Разве не начинают истекать слюной и судорожно вздыхать мальчики и мужчины, завидев тебя на улице или в какой-нибудь лавчонке? Ну вот я, например. Увижу тебя издали – и словно это не ты, а кто-то совершенно другой, такие меня желание, грусть и влюбленность охватывают. Ну, это как в сортире – свой собственный запах воспринимаешь как чужой, аж страшно делается. Я имею в виду, это – обновление. Ты меня омолаживаешь: с тобой я обретаю мою утраченную юность, как бы это сказать...

– Господи, когда же это кончится.

– Сгораю в собственном огне, так-то, Мышонок. Лучше уж пламенемдохнуть, чем рот обжечь.

Я ощущал давление газов, медленно, толчками протискивающихся во мне, словно кролик во чреве удава, и мне пришлось напрячься посильнее, пока все не разрешилось

совершенно беззастенчивым, прямо-таки скотским треском. Мышонок беспомощно взвыл и попытался вскочить с постели, но я исхитрился удержать его в умиротворяющих объятьях и, в конце концов, затанул за лодыжку обратно в кровать. Примирившись с участью, он рухнул ничком в постель и замер, уткнувшись лицом в подушку.

– Можно, я тебе вот это местечко буду гладить, зверь мой прекрасный? Только вот это, и все? Долго-долго? Тебе нравится или совсем уж с души воротит? Мне перестать или продолжать?

– Давай.

– А ты в отместку не пальнешь мне в нос из своей бойскаутской задницы? Учти, это некрасиво и не пристало истинному христианину.

– Хотел бы я, черт возьми, хоть разок попробовать. Ты-то всегда готов.

– Ни разу в жизни не болел. Поэтому и есть могу что угодно. Редкая вещь в наши дни. Взять, к примеру, морские путешествия – столько там было болезней и смертей. Если после похода на Восток возвращалась половина команды – считалось уже много. Дивная, дивная книга – если, конечно, сумеешь переступить через все эти горести.

– Что еще за книга?

– Ну, о которой я тебе говорил. Давай я буду ласкать тебя, гладить и книжку пересказывать? Или ласкать и гладить не надо, а только рассказывать?

– Только ласкать и гладить.

– Нет, так дело не пойдет. Ты хочешь всего и сразу. Балованный ты, в роскоши вырос. Оно и видно, что пороку не нюхал. Ты что же думаешь, на войне тебя будут только миловать да голубить, и никаких при этом баек? Да о чем это я? Ты бы там вообще никаких нежностей и ласки от кого не дождался. Там о таком и не слыхивали. Вот поговорить, рассказать что-нибудь, это уж милое дело –

кстати, как и до войны. Каждый вечер дом – что пчелиный улей. Ложусь, бывало, спать наверху и все это через пол слышу. «Рабочие должны взять власть», всякое такое. Слава тебе, Господи, до этого не дошло, но ведь никуда не денешься, если постоянно приходится слушать подобную трескотню. Все эти разговоры да рассуждения, и к тому же еще на таком корявом нидерландском! Потому-то я так изысканно выражаюсь и пишу. Погладить тебя еще или хватит?

– Нет, давай еще...

– Тогда слушай. А не то пеняй на себя. Будешь слушать – получишь ласку потеплее. Ну? Как тебе нравится стеклянный, серебряный, золотой колокольчик моего голоса?

– Чисто музыка. Не останавливайся, ладно? Да, там тоже. Чуть пониже... О...

– А ты это заслужил?

– Ни в коей мере. Я гадкий и непослушный. Меня нужно наказывать.

– Вот так-то оно лучше, молодой человек. Как-то раз в океанские просторы вышел некий корабль. Когда он первый раз, летом 1723 года, покинул порт в Амстердаме, никто не подозревал, что корабль этот был обречен; построенный и оснащенный парусами на собственную погибель, он нес гибель другим. Кто знает, может, просто имя ему выбрали несчастливое: назывался он «Суд Божий». Это был один из красивейших кораблей Компании¹.

И еще кое-что случилось за несколько дней до выхода в море. Жили-были на свете два соперника, два капитана – трудный был выбор для владельцев компании. Оба молодые, сильные. Их связывала многолетняя дружба. Ни подружек у них не было, ни невест. Их часто видели

¹ Имеется в виду Ост-Индская компания, основанная в 1594 г. в Амстердаме и просуществовавшая до конца XVIII в.

вместе. Этакие неразлучники. О них даже всякие пересуды ходили.

– Сколько им было лет?

– Одному – двадцать три, другому – двадцать четыре; твои ровесники. Теперь-то их сочли бы слишком молодыми для капитанства, да ведь тогда люди не доживали до седин. Но, как бы то ни было, имена их обоих стояли в списке. Однако вышло все иначе. В ночь перед жеребьевкой случилась на канале пьяная заварушка, в которой зарезали одного из них, двадцатитрехлетнего – Ван дер Вал его звали, Корнелис Ван дер Вал – он уже был при смерти, когда его нашли. Таким образом, необходимость жребия отпала, и два дня спустя «Суд Божий» вышел в море; капитаном был оставшийся из друзей.

– И кто же зарезал этого Ван дер Вала?

– Этого так никогда и не узнали. Говорили, правда, что незадолго до этого их видели вместе в одном кабаке с дурной репутацией – таких было тогда полно в портовых городах Республики¹. Другие злые языки утверждали, что убитый, младший, стало быть, вельми зело возжелал какую-то девку, и его дружок просто взъярился из-за этого. Ревность? Но к кому?

– А что произошло на самом деле?

– Нашлись и такие, кто утверждал, что старший, не иначе, что-то такое... подстроил... в ту душную, теплую летнюю ночь; безлунную ночь, потому что месяц был на самом ущербе: что-то он пробудил в сердце своего задушевного друга, но тут же пошел на попятную, принялся размахивать клинком, как безумный, и... убил свою любовь...

– Мне бы так уметь рассказывать.

– Это придет само собой, потом. Ты соловьем запоешь,

¹ В 1581 г. семь северных провинций исторических Нидерландов были провозглашены Республикой соединенных провинций.

Мышонок! Когда старишься, иссыхаешь телом – приходит иное видение, но пользы от этого тебе уже никакой. К тебе пристают: расскажи да расскажи, но ты уже настолько обессилен... Ну да ладно, похоронили его под звон колоколов, молодого-то, а корабль уже шел в открытом море, держа курс на восток. Капитан губ не разжимал, ни единого словечка от него не слышали. Молчаливость эта бросилась в глаза команде... люди недоуменно переглядывались... Правда, корабельный плотник сказал, что как-то слышал голос из капитанской каюты, – будто бы кто-то не то молился, не то умолял о чем-то, а может, и кричал, но кто видел, чтобы к капитану кто-то входил? Кому было там кричать или молиться? Можно, я больше не буду тебя гладить? У меня запястья ломит от артрита.

– Нет уж, гладь давай. А то я тебе не разрешу дальше рассказывать.

– Перед самой отправкой произошло несколько мелких неприятностей, которые сочли дурным знаком, но вскоре о них позабыли, поскольку рейс начался весьма удачно: почти постоянно дул крепкий, сильный норд: они все время шли фордевинд¹ – так что даже начали опасаться такого везения – до самого мыса Финистер², и таким же образом обогнули Португалию. Ни разу не задувал встречный ветер, ни разу не пришлось им тяжело лавировать. Так продолжалось, пока они не прошли Дакар³, но погода все не портилась. И тогда на борту появился первый покойник – молодой парень двадцати четырех лет. Сперва подумали, что вышла какая-то ссора, но потом выяснилось, что он сам всадил себе нож в сердце – подозревали, что от тоски по дому. Ему суждена была могила моряка, но капи-

1 По ветру.

2 Крайняя западная часть полуострова Бретань.

3 Столица Сенегала.

тан в последнюю минуту отказался возглавить торжественное погребение и отдать необходимые приказания, сославшись на то, что был... нездоров. Нездоров! А ведь по нему было и не сказать. Когда все собрались у фальшборта и были произнесены слова: «И се ныне отпуская из рук наших смертного сего с надеждою взываем к Тебе, восхотевшему стати смертным среди нас, да воидем в нетленное Царствие Твое, яко на спасение Твое, воскресение Твое и жизнь вечную Твою уповаем...», стало слышно, как в капитанской каюте громко захлопнулся иллюминатор, словно капитан не в силах был этого слышать...

(Я задумался над тем том, как мне выстроить историю дальше. Ведь то, о чем я только что рассказывал, происходило в разные времена и при различных обстоятельствах. К., собрат по перу, на днях поведал мне о том, как где-то около года назад путешествовал на пассажирском пароходе в Нью-Йорк вместе со своей женой Т.¹ и как одного старика, голландца по происхождению, по возвращении с родины, куда он в сопровождении жены ездил повидаться напоследок со своей семьей, на обратном пути постигла на борту внезапная смерть; капитан посоветовал вдове совершить похороны по морскому обряду, чтобы в Америке профессиональные похоронных дел мастера не ободрали ее как липку.

Собрат по перу К. в то утро специально поднялся пораньше – в шесть утра, как раз к началу церемонии. Корабль лежал в дрейфе. «Так, знаешь ли, положено», – сообщил мне К. с наивным, почтительным страхом в голове, чего за ним, вообще говоря, не водилось. – «Таков закон». Гроб, покрытый трехцветным флагом отечества,

¹ Симон и Тини Кармигелт.

уже покачивался на талях за бортом. «Боцман, исполняйте ваш долг». И боцман одним взмахом ножа обрубил канат, и гроб с подвязанным к нему грузом и пробитыми в нем отверстиями, будто рыбный садок, шлепнулся в непроницаемую воду, покрытую шапкой пены, словно оставшейся от мытья посуды, – даже там, вдали от берегов, она пахла пляжем, юностью и нагретыми утренним солнцем полотняными навесами, – хотя этого собрат по перу К. не упоминал. Сонно качнувшись на воде, гроб без единого всплеска ушел под воду – после того, как чья-то ловкая рука в бежевом рукаве, просунувшись в отверстие фальшборта нижней палубы, в последний момент стянула с гроба стяг отечества. Ничего не было сказано, кроме этих четырех слов. А можно было обойтись и вовсе без них. В сущности, никакой разницы. Собрат по перу не сразу упомянул об этом в своих заметках, печатавшихся курсивом в ежедневной газете, поскольку он был гостем пароходной компании, а подобное сообщение могло бы охладить интерес к морским путешествиям, хотя такое может случиться с кем угодно и где угодно. С кем угодно и где угодно. А переживать можно по любому поводу. Бывают же люди, которые не в состоянии побороть свои вечные сомнения: в самом ли деле погасла лампочка, когда они захлопнули дверцу холодильника. Проверить это невозможно: открой дверцу – и лампочка вновь загорится. Если не перегорела, конечно.)

Я продолжал поглаживать Мышонка. Как я любил то, что ласкал, и так напитано было это Смертью. Я немного расширил территорию своих ласк. В сущности, я искал помощи, как-то даже торжественно осознал я.

– Мышонок, золотой мой король наказаний. Когда я стану богат, очень богат, и будет у меня огромный сад, полный фонтанов и редких нелетающих птиц, я велю вот это – кончиками пальцев я обвел очертания двух половинок

ландшафта – я велю это, вот это самое всё, воспроизвести как часть садовой архитектуры в крупном масштабе. В точности все те же насаждения, в тех же пропорциях: деревья, кустики, ковыль – и травка, изящная такая английская травка. Я велю выполнить это в увеличенных размерах, так, чтобы можно было как раз между ними пройти. У тебя они почти соприкасаются, но в садовом исполнении все это будет таким большим, что можно будет проходить насквозь, если протискиваться боком, я имею в виду, мелкими такими шажками, как в кино, когда просишь: «позвольте, пожалуйста, пройти». По вечерам, в сумерках, в этом саду будут собираться юнцы, и прислоняться своими...

– Ты лучше сначала про тот корабль доскажи. А то у меня опять вскочит.

– Ну вот, они были уже недалеко от Мыса. И тут вдруг, словно по волшебству, погода переменялась. Вздрыблились тяжелые грозные валы. Приходилось постоянно переключать курс. Почти вся команда непрерывно висла на гудящих вантах и стонущих мачтах. Корабль содрогался всем корпусом и кряхтел, пробиваясь через черно-синие стены волн. Стоило им чуть-чуть продвинуться, как их тут же сносило назад. Они мотались туда-сюда у Африканского побережья и шли скорее черепашьим шагом, чем нормальным ходом; несмотря на проделанный ими громадный путь, они весьма незначительно приблизились к югу. Капитан Ван дер Декен был еще молчаливее, чем прежде, но, казалось, его одолевало растущее беспокойство, и команда корабля старалась не попадаться ему под горячую руку, опасаясь его выходов и приступов дурного настроения. Не помнили еще такого капитана, который столь часто приказывал бы беспощадно наказывать юнг и молодых матросов за мелкие проступки и сомнительную вину; он стоял рядом, наблюдая за юными обнаженными телами, подвергаемыми суровому наказанию, но, казалось, ничего не видел – лицо его было

подобно маске, лишь глаза обшаривали пустой горизонт, словно ища чего-то; он также казался глух к отчаянным умоляющим стонам наказуемых. Такое все еще дозволяется, Мышонок, знал ты это? И капитан может принимать любые меры, которые он считает необходимыми для соблюдения порядка и дисциплины на борту. Таков закон.

– А не заделаться ли мне моряком?

– Ах, послушай-ка, Мышонок. Сейчас, сейчас я тебе расскажу, как там было дальше. Но сперва я должен тебе еще кое-что сообщить. Я свихнусь, если не скажу. Нет, я буду по-прежнему гладить и тискать тебя, зверь, я тебя в покое не оставлю. Я не остановлюсь больше, испорченный, белокурый, обожаемый, похотливый, распутный, блудливый... потаскун.... По правде говоря, мне хотелось бы пороть тебя, Мышонок, часами – вот в этом месте, например, – терзать, вот тут, под обеими твоими покатосями. Я бы порол тебя, сильно-сильно, долго-долго... чтобы ты проникся ощущением той боли, которой ты еще подвергнешь бесчисленное количество мальчишек... Ты никогда не ощущал ничего, кроме хладных вздохов плети для мальчиков, потому что сам ею размахивал: только нежный посвист рассекаемого воздуха, краткий, почти беззвучный шепот тростниковой дудочки без отверстий, однотонной флейты любви – столь же пронзительной, как трагическое сопрано юноши, вплетающееся в этот дуэт...

– *Andante cantabile*.¹

– Ах-ах-ах, какие мы умненькие. Гаврош несчастный! Твоя бедная мать горбатилась на вас, четырех своих отпрысков, да еще и подзарабатывала, а ты груши околачивал в школе для толстосумов. Правы были уличные мальчишки, когда начинали швырять камешки в окно, завидев

¹ Медленно, певуче (итал.).

тебя в гостинной со скрипкой в руках; и повторяли, кстати, вслед за родителями, что тебе вовсе не гимназия пристала бы, а фабрика...

– Ах вот ты как запел?!

– Лежать! Фабрика? Исправительная школа, вот это было бы получше. Самое для тебя место. Для твоего же блага! Потому что я люблю тебя, слышишь? Вот всю правду про тебя в книжке напишу. Добьюсь того, что ты прославишься и портрет твой появится на почтовых марках... Меня уж давным-давно позабудут, а ты останешься в памяти народной. Твоим именем назовут улицу, парк – зеленый, тенистый парк, уставленный писсуарами... Парк им. Мышонка... Послушай, послушай, Мышонок... Хенк!

– Господи Иисусе, ну что там еще?

– Я бы тебя часами драл... и вот тут, с боков, и тут, сверху... Каждый удар – свистающая прохлада для того, кто держит хлыст или ротанг, но для того, кого наказывают, бичуют, хлещут, для подвергающегося допросу безнадежного арестанта каждый удар – это добела раскаленная стальная нить, раздирающая и опаляющая его замшевую, дышащую юношескую кожу. И ты вопишь, Мышонок, ты вопишь... А я избиваю тебя, хлещу. Часами хлещу тебя. За что, Мышонок, за что? Как ты думаешь?

– Имеются предположения. Да, чуть-чуть по... Вот тут, да.

– Потому что я хочу пробудить в тебе лютого зверя, душенька. Чтобы ты еще больше возжаждал содрогающихся от боли мальчишеских задниц, еще больше хотел бы упиваться органными тонами их сиплых, молящих голосов, так, чтобы ты и сам от этого охрип... О Боже. Меня снова дико разобрало, Мышонок милый. Штуковина опять рвется в бой. Вечером пару раз, утром два раза... Когда же, наконец, соблаговолит меня Вседержитель...

– Давай-ка ты лучше спокойно расскажи про тот корабль на всех парусах. Слово за слово.

– Ладно, слушай. Они шли вперед, но очень медленно. И все-таки, несмотря ни на что, корабль с большим трудом, миля за милей, продвигался к югу. В конце концов, отлавировав далеко к западу, они оказались несколько минут¹ южнее Мыса и были готовы, идя по большей части фордевинд, начать переход к Мысу; при этом, однако, не исключалось, что они потеряют несколько градусов северной широты, поскольку глубина позволяла судну следовать в виду берега. Они подняли паруса и с наивысшей осмотрительностью двинулись по новому курсу, когда вдруг, на рассвете дня, ветер упал и настал мертвый штиль. Довольно редкое явление для тех краев. Это был удар, которого никто не мог предвидеть. Несчастный случай, пробоина, авария из-за столкновения с обломками затонувшего судна, болезни, пожар на борту – это еще можно как-то предусмотреть, но случившееся было гораздо страшнее или, лучше сказать, поистине нечто совершенно иное. Болезнь, аварию или пожар можно предотвратить, можно с ними бороться, но со штилем – нет, поскольку никакое человеческое вмешательство тут ничего изменить не в силах: если ветер так и не подымется, кораблю суждено будет остаться на веки вечные там, где сливаются встречные морские течения², в спокойных водах.

Капитан внушал еще больший страх, чем прежде, но сам оставался невозмутим, как скала – весьма странное спокойствие, как если бы штиль, словно стеклянным колпаком накрывший корабль и заставлявший команду невольно притихнуть и меньше чесать языками, давил и на него.

1 Морская минута – 1/60 градуса.

2 Считается, что теплое мадагаскарское (Агаллас) и холодное антарктическое (Бенгуэлла) течения сливаются напротив мыса Доброй Надежды, хотя в действительности место их смешения меняется в зависимости от сезона, ветров и других условий.

Штиль продолжался сутки, другие, третьи... Наступили четвертые – без единого дуновения ветерка. Большой части команды велено было держаться наготове, с тем чтобы при малейшем признаке подымающегося ветра – направления которого предсказать было нельзя даже приблизительно – немедленно развернуть паруса по нужному курсу. Но им не оставалось ничего иного, кроме ожидания в мертвом безветрии, окутывавшем все и вся и всякий звук превращавшем в нечто, требующее взвешивания, обдумывания и оценки.

Во время штиля, когда часть команды была занята разными необходимыми делами, плотник, чинивший расщеп в фальшборте, слышал в капитанской каюте два приглушенных голоса; в другое время из-за грохота моря и воя ветра он не смог бы разобрать слов, но теперь расслышал все очень ясно, и услышанное заставило его содрогнуться. Это были голоса капитана и штурмана, но доносились они словно из подземелья или склепа и походили на слышанное им в молодости, во время чьей-то свадьбы, выступление наемных балаганных актеров, дававших аллегорическое представление: с украшенных по бокам фонарями подмостков в саду они звучали очень отчетливо, – в сущности, яснее и даже протяжней, чем нужно.

– Не желаете ли чего-нибудь?

– Правду сказать, капитан, рановато. Мне еще целый день...

– И то верно. Не приходило вам в голову, штурман, что мы... кто-то... можем сгинуть навеки...

– Сгинуть? Что вы имеете в виду?

– Угодить в ад... и там... обрекут нас на муки вечные?..

– Я не пропускаю ни единой службы, капитан. И я всегда настаиваю, чтобы матросы...

– Довольно! Карту. Где мы сейчас?

Почему разговор этот так напугал плотника, он и сам не знал, но сна из-за него лишился, хотя умишком был некрепок.

И еще сутки мертвого штиля. Мертвого, как само море... Медленно, очень медленно корабль кружился на месте – возможно, из-за восходящего по парусам теплого воздуха – почти так же медленно, как часовая стрелка. Теперь, казалось, в капитане – хотя он по-прежнему не покидал каюты – наметился определенный проблеск чувств: некое беспокойство. Кое-кому казалось, что его, Ван дер Декена, лихорадит – так блестели его глаза, хотя в лице не было ни кровинки – оно было скорее иссера-бледным. Во что же вглядывался он – столь пристально, что острые, бдительные глаза его казались такими утомленными: сухая сероватая кожа натянулась на скулах, взгляд его, казалось, опалял ему глазницы.

Наступили пятые сутки; стояло все то же безветрие. День был воскресный. Капитан не покидал каюты, не выходил даже к заутрене. Это противоречило заведенному порядку, согласно которому капитану надлежало по меньшей мере по воскресеньям присутствовать на службе, которую отправляли на баке, а в дурную погоду – в грузовом отсеке. В полдень корабельного пастора видели поспешавшим к капитанской каюте. Звали его Боллиус, отец Боллиус. Это был весьма привлекательный молодой человек, только что закончивший курс теологии – совсем желторотый, но ужасный фат – любил принарядиться, и все-то в сладеньких таких тонах, да в шальках, да в шнурочках. Этакий маменькин сынок. Матросня его терпеть не могла – прозвала его «кораблядью». Ругнуться или крепкое словечко отпустить в его присутствии не могли! Красавец он был писаный, и одно я знаю наверняка – был он в какой-то степени вроде нас с тобой, хотя никогда никому в этом не признавался и, возможно, сам об этом не подозревал...

Он немного походил на тебя, Мышонок, но вовсе не такой славный: хорошенький, но слизняк, поскольку трус он был великий – этакий, что называется, шелковистый амурчик. Выпивать – выпивал, это да, но никогда никаких славных молодецких пирушек – всегда в одиночку, втихаря, ведь вот ханжа; и пил ведь только дорожное пойло – все остальное было для него чересчур «грубо». Так вот, стало быть, в тот полдень разодетый в бархат красавчик прошмыгнул к капитанской каюте. Все, разумеется, затаили дыхание. У каюты он столкнулся с плотником, чинившим какую-то давнюю поломку в палубе. Капитан в то воскресенье велел продолжать починку вантов, парусов, наружной обшивки и палубы, сославшись на предоставленную безветрием редкую возможность добраться до труднодоступных во время шторма и качки частей корабля. «Сейчас есть возможность, и дело должно быть сделано, – распорядился он. – Выходной возьмете потом. Каждый получит то, что причитается ему по праву. За дело!» Миляга Боллиус аж задохнулся в своем хорошеньком шелковом воротнике, поскольку, по его мнению, это было осквернение воскресного дня. «Оставь свой несправедный труд!» – велел он плотнику, возившемуся у капитанской каюты. Тот растерялся. Он мог бы одним пальцем пришибить этого тихоню-шелкозадика с его хорошенькой, порочной школярской мордашкой, но все же на всякий случай приостановил работу – обычный прием работяги: когда двое хозяев, затеяв ссору, забывают о нем, он преспокойно отходит в сторонку и наблюдает, какой она примет оборот – глядишь, поубивают друг друга, и дело с концом. Прекращение усердного «стук-постук» плотницкого молотка пришлось капитану не по душе. Он выглянул из каюты. А может быть, он расслышал то, что Боллиус-Шелковые-Подштанники сказал плотнику, и приказал тому продолжать работу. Плотник заколебался и сбивчиво повторил слова шелкопопика...

– По-моему, вначале ты излагал изящнее...

– А в чем дело? Послушай: мне нельзя отклоняться от книги.

– Да, вообще-то интересно... но... уже не так завлекательно... я имею в виду, это не то...

– Будет тебе белка, будет и свисток. Там пока еще очень много болтовни. Этот гладкий тип – жуткое трепло, что в жизни, что по книге. Писанный красавец, отрада глазу – юноша сей, но выражается до того манерно и в такую позу блядскую становится, когда рот разевает, что просто хочется схватить его, содрать роскошные тряпки и отдать матросне, чтобы они скопом...

– Слушай, может, пропустим? Ну, разговоры эти?

– Да тут осталось всего ничего. В каждом рассказе должны быть связующие звенья и сухие перечни фактов. Но я, так и быть, потороплюсь.

– Хорошо.

Они заговорили на повышенных тонах. «Кто уполномочил вас распоряжаться командой? – спросил Ван дер Декен. – Кто здесь отдает приказы?»

«Христианину пристало повиноваться властителям, поставленным над нами Господом, – заявил этот цыпленок Боллиус. – Однако – как вам, без сомнения, ведомо – в первую очередь надлежит нам повиноваться Всевышнему, который день Свой в вечности возвысил для всех народов». Да его убить мало. Ты ведь знаешь, такая хуйня меня из себя выводит.

– Да, знаю. Но скоро все опять пойдет как по-писанному, а?

– Что?

– Да рассказ твой.

– Конечно. Ну, слушай.

«Вернись к своей работе и выполни ее, как надлежит и как повелевает тебе твой долг», – приказал капитан плотнику.

«Повинуйся своему капитану, если не заботит тебя вечное спасение грешной души твоей», – сказал плотнику Боллиус.

«Заявляю вам, – сказал Ван дер Декен. Скулы его едва ли не прорывали пылающую кожу, губы тряслись, но голос не дрогнул. – Здесь распоряжаюсь я. Любой, кто не выполняет моих приказов либо подстрекает к возмущению, объявляется мятежником и дни свои окончит как мятежник». На шум собрался кое-кто из команды – стараясь не бросаться в глаза, люди внимали перепалке. «Повинуйся своему капитану, – сказал Боллиус плотнику. – Грех сей ляжет на его плечи, не на твои. Погрязнувший в грехе в нем закоснеет. Чего еще можно ожидать от того, кто давно уже продал душу свою и обрек себя на вечные муки в геенне огненной, ибо он...» – Боллиус замялся. – «Ибо он... что? – спросил капитан. – Ибо он... что?» – Губы его скривила страшная ухмылка. – «Ничего», – смалодушничал Боллиус. – «Нет уж, продолжайте ваши речи, – тихо сказал капитан. – Откройтесь, на что вы намекаете, о чем уже давно шушукаетесь на борту... Вы скажете это, сейчас и здесь, пока я стою перед вами и смотрю вам в глаза. А не то... – продолжил он негромко, но решительно. – Это будет означать ваш смертный приговор. О каком грехе говорите вы? Что вы скажете еще? Вы, которого и мужчиной назвать нельзя, вы, и не ведающий, что это такое, быть мужчиной; всем на суде это известно...»

«Грех, – трясясь от гнева, выдохнул Боллиус, – о котором не осмеливаются говорить вслух... Грех, что не от слабости плоти происходит, но противен плоти и самой природе и Святому Духу...»

«Взять его, – сказал Ван дер Декен. – Взять его!» – взревел он.

И вот, милые детки, в мгновение ока этот прилизанный теолог, этот трясогузый молокосос, посмевавшийся разинуть

свою наглую школярскую пасть на настоящего мужчину, почувствовал, как дюжина крепких лап схватила его словно в верстачные тиски. Этот кичливый красавчик так извивался своим разбалованным мальчишеским телом, что его бархатные штаны треснули на заду... Какого цвета они были, эти бархатные штаны?

– А? Зеленого.

– Точно. Откуда ты знаешь? Все-то ты знаешь, Мышонок. Да, штаны зеленого бархата, словно мох, таящийся в темноте подвала...

– А вот вопросик.

– Давай, конечно.

– Ты ведь не допустишь, чтобы капитан приказал его выпороть?

– Я никогда не приказывал, чтобы кого-то пороли. Я ведь друг человека. Друг животных. Друг молодежи. Но почему бы его и не выпороть?

– Ты знаешь, лучше не сейчас. А то тогда все кончится. Я имею в виду, что капитан на этом и успокоится... А как там в книжке?

– Ну, понятное дело, я все своими словами пересказываю. Придерживаюсь оригинального авторского замысла, духовного отца сего солидного сочинения, но мой-то собственный лексикончик из-за угла подмигивает, а? Ах, Мышонок, – со вздохом прошептал я. – Возмечтал я зело в глубину недр земных проникнуть, дабы там от всего сущего сокрытися.

– Что, что ты там плетешь?

– Так ты, значит, не хочешь, чтобы его высекли? Воскресный полдень, на море тишь да гладь. Солнце бледное и слабое, но все еще проглядывает сквозь облака. И такая тишь, такой сумрак окутывает пыточный трюм корабля...

– Нет, ты просто давай историю продолжай: они двинулись дальше...

- Но ведь ветра же нет! Штиль, чего ж ты хочешь?
- Ну так возьми да сам в паруса свистни.
- Чует мое сердце, Мышонок, ты тоже поэт. Ей-богу, не вру, Мышонок. Я ведь раньше что думал: нет у него никакого внутреннего мира. А теперь вижу – ошибался.
- Ты будешь в конце концов рассказывать или нет?
- Через мгновение он уже стоял в наручниках, и тут уж ему немедля выдали по заслугам. В те времена за бунт или подстрекательство человека преспокойно могли головы лишить. Но, учитывая молодость Боллиуса, капитан смягчил ему приговор: его надлежало высадить с корабля в шлюпку, снабдив трехнедельным запасом провизии. Приговор был оглашен на палубе, и Боллиус, точно маленький мальчишка, которого собираются запереть в темном чулане и который отчаялся, что когда-либо будет выпущен оттуда, трясся в смертельном страхе так, что звенья его наручников гремели, словно напоминая ему о том, что он, в сущности, был всего лишь трусливым попкой, которого следовало бы вздернуть со всеми его цепочками, шнурочками и бусиками. Команда была довольна, хотя предпочла бы полюбоваться публичной пыткой, завершающейся пляской на виселице. Однако дух команды весьма возвеселился оттого, что они отделались от этого темного, вкрадчивого лицемера, который беспрестанно приписывал им тот или иной грех и изводил странными, пугающими вопросами: не являлись ли им какие-либо нечистые мысли, не случилось ли им впасть в тяжкий грех, трогая себя за срамной уд, и всегда ли они в кубрике прикрывали тело от глаз сотоварищей... В такие минуты голос его звучал взволнованно, умоляюще, а голодный взгляд горящих глаз торопливо обегал греховный юный силуэт какого-нибудь юнги или матроса. Вот так вопросики... Матросы с радостью полюбовались бы тем, как пламя поджаривает ему пятки, лижет щеки, и как потом его подводят к петле... Но теперь в любом случае он оставлял корабль, и все были довольны.

Итак, его ссадили с корабля в спущенную на воду шлюпку, в которой были припасены несколько ящиков сухарей, небольшой бочонок солонины, кувшины с водой, брезент для защиты от палящего солнца и дождя и даже небольшая шлюпная фок-мачта с парусом. И вот он стоял, пошатываясь от объявшего его головокружительного ужаса, в шлюпке – ее оттолкнули от борта и она, покачиваясь, стала удаляться от корабля.

– Вы кое-что забыли, – крикнул капитан. – Удивительно, как это вы не вспомнили об этой вещи. Подгребите-ка немного назад, я ее вам подам.

В трепетной надежде на помилование Боллиус подгреб назад. Капитан стоял у фальшборта с громадной увесистой Библией в руках: «Будет твоя душа в раю, – крикнул он, – помяни и мою!» И он швырнул Библию Боллиусу, но – случайно или намеренно – не добросил ее до шлюпки, и Слово Божие, отягощенное многочисленными застезками, мгновенно, без единого пузырька, пошло ко дну. Моряки рассмеялись – сдержанно, однако с глубоким удовлетворением. Шлюпку вновь сильным толчком оттолкнули от борта. И тут случилось странное – такое, чего не мог припомнить ни один моряк: в безветрии, на неподвижной водной глади корабль и шлюпка продолжали держаться рядом. Боллиус в своем суденышке бросил весла и опустился на колени, сложив руки на банке¹. Казалось, он молился. И, подобно медленно кружащемуся на воде большому кораблю под названием «Суд Божий», в нескольких десятках сажений от него медленно-медленно, едва заметно кружилась на месте и шлюпка – и это было подобно некому знаку свыше. Проходил час за часом. Во всем этом было что-то ненормальное. Кого-то высадили с борта, но так и не избавились от него. Казалось, что все взывало о пересмотре дела и

¹ Скамья для гребцов.

перемене вынесенного решения. Но капитан не показывался – он заперся изнутри в своей каюте. Все люки в ней были задраены, кроме одного, приоткрытого на маленькую щелочку, сквозь которую Ван дер Декен наблюдал за шлюпкой. Большой корабль развернуло к ней так, что молодой коленопреклоненный слушник был виден капитану частью со спины, частью в профиль. Капитан глядел на изящные, облакавшие молодое мужское тело одежды, поблескивавшие в неярком полуденном солнце. Ван дер Декен стиснул ладонью свое мужское естество. Он пожалел, что не приказал подвергнуть Боллиуса пыткам, хотя бы для того лишь чтобы тот, задыхаясь и подвывая, с клекотом выхаркнул рожденный болью поклеп на самого себя – признание в заговоре или блуде.

Но, возможно, так было даже лучше. Что-то говорило ему, что Боллиус никогда больше не увидит ни корабля, ни берега, и что ждет его долгая, тяжкая мученическая смерть от жажды и голода... Ван дер Декен принялся раздеваться. Он не только слегка распахнул одежду – он полностью спустил штаны, чтобы ощутить прохладу своей мощной, мускулистой, звероподобной, поросшей черной шерстью нижней частью тела, коей отличаются лишь рожденные под знаком полного или восходящего Скорпиона. Он возбуждал себя, не смущаясь, поскольку был прекрасен: молодой красавец капитан, и перехватывающей дыхание красотой прекрасен был его чуть склоненный, темный, пылкий животворный клинок – смертоносный клинок, клинок- жало. Он пристально вглядывался в спину и обтянутые зеленым бархатом, поблескивающие бедра молодого приговоренного в шлюпке и предавался своему желанию, размышляя о необратимости вещей, о бесповоротности своего решения, которое пребудет неизменным в веках, и смотрел на склоненную шею – и в самом деле почти как у мальчика, которому предстоит принять медленную мучительную смерть

от самой природы, которой человек не повинуется ни в чем, кроме как в своей жестокости, хотя и не ведает при этом, что творит. Он уже воображал себе, как обреченный через день-другой скинет одежду и то и дело будет свешиваться из шлюпки в воду в поисках прохлады. Нечто вроде сострадания шевельнулось в нем, но это лишь подогрело его ожесточение и еще сильнее распалило его. «Грех против природы и плоти? – пробормотал он. – Скоро, скоро ваша юная плоть делается одно с природой». Корабль и шлюпка теперь развернулись друг к другу так, что Ван дер Декен увидел осужденного таким, каким никогда допрежь того не видел и больше уже никогда не увидит: столь хрупким, столь беззащитным, столь юным и столь смертным. И в течение одного-единственного, наипужаснейшего и наибезумнейшего мгновения он вновь был готов пересмотреть свое решение. «Нет. Я – твоя смерть, – пробормотал он. – Возможно ли иначе? Смерть! Смерть! Смерть!»... И жало его, Мышонок, извергло блистающую струю... Как он тебе, Мышонок, капитан этот – симпатичен или наоборот?

– Весьма симпатичен, Волк.

– Вот ведь совпадение, а? Мне тоже. Он мне сразу здорово понравился. Я уже в книжке в него влюбился. Он закрыл иллюминатор.

– Кто?

– Ван дер Декен. Капитан. Он наглухо задраил люк, который до того был чуть приоткрыт, еще раз проверил запоры на дверях каюты и прошел в другой ее конец. Там стояла рака: старинный темный ларчик с двойными дверцами, запертыми на замок. Капитан бережно откинул крышку. В ларце стояла маленькая белая фигурка Божьей матери, а перед ней – нечто вроде каменной подставки с маленькой ямкой для свечи. Ван дер Декен прислушался, не идет ли кто, вставил в отверстие запасенную загодя свечу и зажег ее. Потом он опустил на колени. Он снова принялся

возбуждать себя. Ты, может, думаешь, я забыл сказать, что он привел одежду в порядок, но нет – он по-прежнему был обнажен. И вот он стоял на коленях и орудовал своим темным жалом во славу и в глубочайшем благоговении перед...

– А это еще вдруг с чего? Что-то быстро все это разворачивается...

– Не смей никому об этом рассказывать. Сие есть тайна, которую надлежит хранить, пока не настанет час.

– И это все тоже из книжки?

– Капитан Ван дер Декен в тайном отчаянии поклонялся Пресвятой Деве. Разумеется, этого не могло быть в книге, потому что тогда бы об этом все узнали. Правда или нет?

– Э-э... да... Но ты-то откуда знаешь?

– Потому что я умею читать между строк. Если кто-то в щелочку иллюминатора подглядывает за молоденьким красавчиком, приговоренным к мученической смерти в шлюпке, и при этом сам с собой, я имею в виду... тогда, не иначе, у него в каюте припрятана рака с белоснежной статуэткой Девы. Так-то вот. Знаю, конечно, что это не для печати, и все же это так. А будешь занудствовать, огребешь здорового пинка, понял? По любому ведь поводу ноешь, черт тебя побери совсем! Живи и радуйся, что в стольких одиноких пещерах, бесчисленных развалах, нищенских конурах, разбросанных по всему свету и несправедливо именуемых жильем, не угасает свет перед Ее изображением. Вот так! Где же твоя благодарность? На войне ты, ясное дело, не был. Даже в армии никогда не служил. Так что ложись-ка давай. Да, на спину. Я вот тебя тут нежу, глажу на свою голову, басни плету – у меня уже язык на плече, я себе так плевать заработаю. И с какой, собственно, радости?

– Но ведь ты в самом деле неподражаемо рассказываешь, Волк! Не знаю, отчего, но это невероятно красиво. Рассказывай же дальше! Давай!

Глава пятая

...готовит розгу для него

– Значит, стоял он на коленях, Ван дер Декен. Красивое это было зрелище – коленопреклоненный капитан, обнаженный ниже пояса. На нем был очень короткий камзол, и посему в сумраке каюты, озаренной светом нескольких свечей, взору открывалась неглубокая ложбинка, что у красивых мальчиков и мужчин залегает посередине спины: самая нижняя часть ее, прямо над его тайной ложиной. Он был красивый молодой человек, красивый юноша, этот капитан; а очень темная, почти черная с золотистым отливом поросль на его мужественном заду и слегка расставленные ноги делали его еще красивее. По сути, Мышонок, он был... истинный зверь, но зверь, вознесшийся над человеком... понимаешь?

– О да. Да. Нет, не трогай пока.

– Да, но я просто хотел нежно потискать его, так просто, убедиться, что он и ныне там.

– Нет, пока не надо. Наверно, скоро уже. Ты пока дальше рассказывай.

– Ну вот, он стоял на коленях, зверски жестокий, зверски прекрасный... Из-за кого же впал он в подобное самоуничтожение, кто поставил его на колени? Кто, как ты думаешь?

– Э-э... ну... я думал... нет... А кто?

– Да никто. Никто его не унижал. Он сам смирил свою гордыню. Это тайна! Кем унижен Господь?

– Э-э... никем.

– Отличный ответ. И все же ты будешь наказан – за то, что ты так красив. Он был дивно хорош, этот Ван дер Декен, молодой капитан, стоявший на коленях, раздражая свое заветное темное жало. Он был почти так же прекрасен, как ты, Мышонок, только смуглее. Но такой же

красавец. Может, тебе тоже оголиться ниже пояса и преклонить колени, и зажечь свечу перед Ее образом, и к негленной славе Ее поорудовать своим светлым, неистовым, отточенным юношеским кинжалом, перед тем как отбыть в темно-красной, огненно-красной спортивной машине, которую я куплю тебе на будущей неделе...?

– А какой марки?

– Потаскуха. Красивый, похотливый, блондинистый блядун. Шлюха ты.

– О Боже.

– Сперва ты встаешь на колени, Мышонок, и зажигаешь свечу. Потом спускаешь с задницы штаны до самых колен и принимаешься за дело. Твоя первая белая жертва во славу Ее белизны. А потом – отчаливай в этой своей спортивной машине... Сначала, понятное дело, штаны натянешь. А уж потом в машину – и вперед. Она – цвета такого темного багреца, что порой кажется черной... а внутри сверху донизу обита пахучей красной юфтью. Красной, как кровь.

– Нет, теперь дай полежать спокойно.

– Можно мне с собой-то поиграть?

– Это пожалуйста.

– Может, ты решишь, что я рехнулся, что спрашиваю такие вещи, но раньше, если я, лежа в постели с каким-нибудь молодчиком, начинал от восторга орудовать своей штуковиной, он, бывало, из себя выходил: «А ну, давай шмотки собирай», – эдак со злобой, и все такое. Наверно, им казалось, что я их в чем-то обделил или нечто в этом роде. Любовь – сложная штука. Ты правда не сердись, когда я жадно торможу свою штуковину, глядя на тебя? Одобряешь? Я тебя не трогаю – но смотреть смотрю: я не могу иначе. Знаешь, какой он у тебя красивый, жестокий и бесстыдный? Их у тебя с трудом можно назвать «заветными местечками». А знаешь почему? Потому что завершающий

штрих был нанесен, когда вся статуя была уже готова. Создатель хотел сотворить нечто невообразимо прекрасное. Вот он и решил: а отложу-ка я самое красивое, самое важное и потому самое трудное на потом. На всякий случай он оставил спереди большой каменный выступ. Неделями, месяцами выгесывал он, зачищал и полировал твои холмики. Никаких недоделок. И вот, когда почти все было готово, из этого огромного и еще необработанного куска камня, торчащего под твоим бархатным, матово поблескивающим мужским животом и над твоими бесподобными, покрытыми светлым пухом ногами всадника, он вырезал последнее, единственное, вечное доказательство твоего юного мужского естества. И возгордился своей работой. Она и без того казалась безупречной, эта скульптура, но он хотел довести ее до такого совершенства, как ни одну статую допрежь. И подумал он: столь выдающимся сотворю я триединство сие, что во многих станет оно пробуждать зависть любострастную, но сделаю так, что творению сему безупречну и неоспориму бысть: и се, милостью Божией, будет оно пробуждать недовольство непомерное, однако недоказуемое. И так оно и вышло, Мышонок. Какие бы брюки ты не надел, я глаз отвести не могу. Никто не может от тебя глаз оторвать, и все желают пасть пред тобой на колени и приводить тебе мальчишек, разных мальчишек, цветных тоже, и того черного красавчика, – кстати, знавал я его – который прежде безнаказанно портил белых ребят и парней.

– О Боже, меня снова разбирает. Это что, действительно правда?

– Ты о черном, об этом негритосе? Да, это правда.

– Да нет, я про скульптуру. Как это все у меня там устроено. Ты что, серьезно?

– Ну да. Конечно, Мышонок, Сир, Ваше Величество, молодой король. Я говорю только то, что думаю. Да я в жизни ничего не сочинил. Ты что, сам не видишь? Тот,

кто тебя слепил, был великий художник. Я ничего не понимаю в скульптуре, но тут – снимаю шляпу.

– Перед Великим Творцом Всего Сущего?

– Ну, вообще да. Никто другой с этим бы не справился. Впрочем, если позволишь, небольшое замечание по поводу твоего туалета. Так, мелочь, не подумай чего. С утра я не решаюсь тебе этого сказать – побаиваюсь, такие ты вечно зверские рожи корчишь.

– Ну что там еще?

– Да этот ремень, широкий кожаный ремень, ты почти всегда носишь его со своими ярко-красными вельветовыми брюками, – такой широкий, с тиснеными фигурками, волнами и завитушками – ну, этот ремень...

– Ну и что в нем такого?

– Широковат он для тебя, да и грубоват. А ведь ты так красив, так гибок, так изящен... Тебе бы надо поуже ремешок носить, потемнее и безо всяких там прибабасов. А этот – для крепко сбитых широкозадых юнцов. Тебе он не идет, он тебя оскорбляет, этот ремень. Он вульгарен, он хорош только для жуткорожих молодчиков, потрошителей кур – охота им принарядиться к вечеру, вот они и напяливают на свои еще молодые, но уже обрюзгшие тела пестрые, скверно подобранные по цвету тряпки, от которых к тому же пованивает какой-то кислятиной. Не носи ты его больше: он не не то что для рыцаря не годится, его и оруженосец не наденет. Уж ты поверь мне.

– Господи! Да никогда в жизни! Никогда.

– Ну и хорошо. Ну что, дальше рассказывать? Про капитана в каюте? Или про машину?

– Нет. Давай про машину.

– А будешь ты с ней осторожно обращаться? Ты хоть знаешь, сколько такая штука стоит? 26 тысяч гульденов. Слыхал? Простой человек столько за два года не зарабатывает, а на тебя она за так свалилась: машина за 26 тысяч!

И ведь еще будешь ныть и канючить типа «датыменясовсемнелюбишь». Кабы не любил – дождался бы ты от меня машины за 26 тысяч монет! Я повторяю, двадцать шесть тысяч гульденов. Ты вот дружков своих поспрашивай...

– Всех-всех-всех?

– Попридержи язык, не то схлопочешь двадцать шесть ударов ротангом для мальчиков. Вот я тебе говорю: спроси своих дружков, спроси у них: «Есть у тебя друг?» – «Ну а как же». – «Ах, вот как? А этот друг тебе 26 тыщ гульдей на машину отстегнет?» – «Ты что, издеваешься? Да он заездил меня совсем, сам со мной вовсю оттягивается, пользуется мной, когда ему пар из своего заросшего накипью чайника выпустить надо, а мне за это – пачку курева или билет в кино; да вот еще на Рождество зажигалку мне сунул, дрянь какую-то австрийскую. И дня моего рождения он не помнит, а попробуй я про его именины забудь! Взял я у него как-то рубашку – нет, не в подарок, так – поносить; прикинь, такого наслушался, когда отдавал!» – Такова жизнь, Мышонок, но ты на это глаза закрываешь. Ты на всем готовеньком живешь.

– Ты меня покупаешь.

– Ты живешь в золотой клетке. Чем не житье?

– Да, о да. Чудесно. Ах Волк, я все-таки ужасно тебя люблю.

– Что и требовалось доказать. Хотел бы я, чтобы мне больше не пришлось никаких книг писать. Мы же любим друг друга?

– Конечно, иначе ты бы мне машину не подарил.

– Вот именно. Итак, Мышонок, ты уезжаешь от меня на этой машине. По летней погоде крыша ее совсем откинута. И вдруг ты видишь этого черного – он стоит и ждет кого-то около ремесленного училища. А поджидает он блондина семнадцати с половиной лет, который там учится. Занятия вот-вот кончатся, скоро уже четыре. Этот белокурый

мальчик из училища очень хорош собой, хотя с виду – такая малость белуга-белорыбица. Однажды, еще в начальной школе, его оставили на второй год, и в училище тоже разок, но преподаватели изо всех сил его вытягивали – уж такой он славный малый, просто глаз на нем отдыхает – очаровашка с мягкими, светлыми, почти девическими волосиками и невинной мальчишеской попкой. Этот черный как-то самым бесстыжим образом подгрел к нему в кафетерии, сиплой своей, похабной фистулой наплел ерунды и заташил в лес, а уж там-то распустил руки и нашептал всяческих нежных нежностей, которые подцепил с какой-то граммофонной пластинки – слово в слово повторял все эти банальные охи-вздохи, так и зазубрил намертво. И вот черномазый забрал власть над светловолосым милашкой; уж больно мальчишке льстило, что черный за ним так увивается. Его ужасно возбуждало, что его ласкают – ведь ему всегда казалось, что его никто никогда любить не будет, настолько он был одинок, это милое белокурое золотко... Вот он и млел от того, что черный его обжимал и тискал, и даже когда тот своими антрацитово-серыми гнусными жадными лапами лез ему в штаны, словно приценивался к добыче...

– О, Господи.

– Но ты же знал это, Мышонок, ты обо всем этом догадывался, подъезжая к школе и заведя там подпирающего стенку негритоса. Ты увидел его возле школы, и тебе сразу все стало ясно. Ты остановился поодаль, не слишком близко, чтобы не бросаться в глаза, и решил посмотреть, что будет дальше. Ты был очень терпелив, Мышонок. Ты ведь никуда не спешил. Ты спокойно разглядывал черномазого хищника. Пожалуй, он был красив. На нем была красная футболка и высокие замшевые ботинки – совсем как у мальчишки, и это пробуждало обманчивое чувство доверия к нему. В действительности ему было уже двадцать четыре.

Он был в очень красивых белых брюках из ткани под бархат – такой матово-блестящей, которая всегда хорошо смотрится и красиво облегает тело. И вот эти матово-блестящие белые брюки теснейшим образом обтягивали его бедра и сдвоенные холмики, совершенные, как полушария – до того они отключивались, прежде всего потому, что он стоял, развалиясь, сильно подавшись вперед. Они отчетливо блестели на солнце, просто ослепляли глаза белизной, эти его холмики, разделенные тонкой полоской тени; но ты-то знал, что там, под брюками, под коротенькими трусиками они были ослепительной черноты – черные, как ночь, несмотря на девственную белизну его брюк... Он отродясь не работал. Болтался без дела. Жилья своего у него никогда в жизни не было. Ну нет, конечно, имелась у него комнатка где-то в гостинице, за которую платила некая служба соцобеспечения и реабилитации бывших заключенных; он, вообрази, все еще находился в поиске собственного «я»... В комнатке этой он почти не появлялся и адреса своего никому не давал, так что найти его было делом безнадежным. Звали его... Фрэнки. И все. Так он и представлялся: «Фрэнки». На самом-то деле его звали не так. Я тебе потом расскажу. Но вот вдруг... бац! Огромные школьные двери летят нараспашку, и юная жизнь потоком лавы заливает улицу! Пестрая эта толпа тут же распалась на мальчиков с велосипедными сумками, в разноцветных ветровках, свитерах, джинсах, под которыми – столь же разномастные, горящие нежным сладким жаром, всевозможных оттенков резвые, соблазнительные юношеские тела... Тебе, верно, тоже частенько случалось околачиваться у школьных ворот, или возле ремесленного училища?

– О да, Волчище. Когда я еще в школе учился, в лицее, я сох по... по Кейсу. Он-то об этом не знал. Мы вообще знакомы не были. Он в другом классе учился. Я постоянно торчал на велосипедной стоянке, чтобы посмотреть, как

он вспрыгивает на мопед и уезжает. По большей части я опаздывал... Как-то раз он со мной заговорил, я уж не помню о чем. Так, ненароком что-то бросил. Отчетливо так проговорил, да я не понял ничего. Меня как ледяной водой окатило. Просто обмер весь, только сердце трепыхалось. А он взял да и привет.

– Это все преходяще, Мышонок, все одни иллюзии.

– Думаешь?

– Ну да. Но слушай дальше. Ты припарковал свою спортивную машину возле школы, в аллее меж двух деревьев; из-за ствола тебе было прекрасно видно, как они выплеснулись на улицу, чуть ли не приплясывая – столь гибко пружинили их головокружительные бедра и попки над крепкими, покрытыми светлым пухом юношескими ногами. И вот вскоре ты заметил мальчика – чуть повыше других и более крепко сбитый, он, несколько набычившись, брел в направлении черного парня, Фрэнки. Тому не хотелось встречать свою добычу в такой близости от школы, и он неторопливо двинулся прочь, прямо в твою сторону. Белокурый ангелок последовал за ним и нагнал его. Они пошли рядом – черный Фрэнки справа, блондинчик слева. Его звали... Фонсик.¹

– Фонсик?

– Да; волосы у него были светлые, но вот голос – темный такой, очень красивый. Фамилию его я тебе потом скажу. Они медленно уходили все дальше от тебя. Ты не хотел выпускать их из виду, хотя они мало куда могли свернуть. Ты незаметно следовал за ними: проедешь немножко и остановишься у края тротуара. Всякий раз у тебя возникало искушение подъехать вплотную, чтобы рассмотреть их поближе. Но и со спины, в движении, они являли

1 В оригинале: Fonsje (Фонсье), т.е. «темный», fonsé (*фр*).

собой весьма привлекательное зрелище. Беленький Фонсик был почти таким же высоким, как его черный совратитель Фрэнки – порой даже казалось, что он чуть выше. Возможно, это оттого, что он был гораздо младше, и его чарующее юношеское тело чуть пружинило при ходьбе. Спору нет, он был просто картинка. На нем был тонкий свитерок, почти такой же тонкий, как у черного, но с круглым стоячим мальчишеским воротничком и длинными рукавами. А какого цвета, помнишь?

– Белый, белый!

– Как замечательно, Мышонок, как чудесно, что ты запомнил. Да, тонкая просвечивающая белая ткань плотно облегла его чуть выгнутую спину. Этот свитерок был свидетельством его невинности – такой милашка. Шея его была столь же непорочна, столь же девственна, сколь и прядки его прелестных, чудных светлых волос, падавших на воротник свитера. Но брюки его, бархатные брюки его были... Рассказать, Мышонок? Да ты и без того знаешь – так рассказывать? Брюки у него были черные, и по ним сразу можно было догадаться – или хотя бы заподозрить, – что он был во власти черного Фрэнки. Но ты еще не знал, как далеко зашел он в своем унижении перед этим черномазым. А узнать тебе это хотелось, Мышонок. Тебе нужно было это узнать. Поэтому ты подъехал к ним сзади так близко, что было уже безразлично, возбудит ли это какие-либо подозрения или нет. Ты был рядом, совсем рядом, и видел, как елозят вверх-вниз при ходьбе их ягодичцы. Черные бархатные брюки Фонсика очень красиво облегли его милый округлый мальчишеский задик. И подобно темной полоске тени, пролежавшей между сверкающими белыми ягодичками шедшего справа черного совратителя, светлела полоска между черными бархатными холмиками Фонсика, как раз там, где шов его темных брюк прорезал юношескую лоцину. Ты следовал вплотную за ними. А еще

ты углядел, что у белокурого беззащитного зверька под легким свитером надета совсем тоненькая белая сетчатая майка, столь прелестная, что ты не мог отвязаться от мысли – вот бы на нем больше ничего не было, кроме нее, этой тонкой, крупноячеистой короткой белой маечки; тебе пришлось сглотнуть, ты почти перестал глядеть на дорогу. И вдруг кое-что бросилось тебе в глаза, Мышонок... Ты заметил, что чуть левее середины, на попке черных бархатных брюк Фонсика, прямо в центре его левого юношеского холмика зияет маленькая прореха. Она была на его левой ягодичке, и шел он слева, – следовательно, эта дырочка, эта прореха означала некий факт его жизни. Ты понял тогда, до какой степени он позволил унижить себя. Ты знал, что он был осквернен, что он позволил этому черному Фрэнки себя обесчестить... Обесчестить, Мышонок. Могу ли я сопровождать свое выступление игрой на *hobo d'amore*?¹ Ну скажи «да», а?

– Да, конечно, солнышко; но только я еще не вполне оклемался...

– Да мне бы только смотреть на тебя. Только не прячь от меня то, что я прошу показать, и не стыдись; никогда, никогда не стыдись своего тела, ведь это – тело принца. Ты – принц, но ты и свой собственный паж, и свой собственный раб. Ведь я тебе не противен, не мерзок, когда сам себя тискаю и так увлекаюсь, что буквально слепну и гложу, и лезу к тебе, как медведь-лапотник – я ведь не противен тебе тогда!

– О Господи, да нет, конечно!

– Послушай, Мышонок.

– Да?

– Когда ты обладаешь юношей, объезжаешь его – любишь ли ты его тогда? Как тебе кажется – любишь?

¹ Гобой д'аморе (*нидерл., итал.*), буквально: «гобой любви».

– Э-э... нет, не думаю. Меня разбирает, конечно, но... Нет. Я люблю только тебя. И Тигра¹.

– Мышонок, Мышонок, как по-твоему, не очень я занудствую, что с такими вопросами лезу?

– Да нет же, Волк мой.

– Мышонок, а вот когда ты погоняешь мальчишку, и он – такой красивый и по-мальчишески милый, влюбленный, покорный – лежит под тобой, стиснутый твоими ногами наездника, и я с вами рядышком, – мне ведь можно быть рядом с тобой и поглаживать тебя, чтобы еще больше тебя разогреть, – ты его любишь, этого мальчика?

– Нет, не люблю я этого мальчишку, не люблю. Я все время смотрю на тебя. Я люблю тебя.

– Мышонок...

– Да?

– Ты не должен меня любить. Не будешь?

– Но...

– Я тебя умоляю, Мышоночек. Не люби ты меня. Ты должен любить только самого себя. Ты должен смотреть только на самого себя, в четырехстворчатое зеркало. Ты когда-нибудь видел себя во время того, как ты ...?

– Нет. Но я хочу, чтобы все было по-твоему, Волк.

– Какой ты милый зверик. Тогда слушай дальше.

– С превеликим наслаждением.

– Ты увидел, что они вдруг остановились – Фонсик и черный Фрэнки. Разговаривая, они слегка повернулись друг к другу и теперь были видны тебе частично в профиль. Ты подогнал машину как можно ближе, но так, чтобы не вызвать подозрения, и загляделся... Ты отчетливо видел линию, двойной прогиб чуть сутуловатой спины Фрэнки и его непристойный зад растлителя; а еще ты видел два дивно прекрасных изгиба целомудренной спины

¹ Некоторое время Реве, Мышонок и Тигр жили втроем.

Фонсика и его неописуемо чистые, укрытые, как священная тайна, черным бархатом юношеские выпуклости, окверненные этим черномазым, который приспособил их под свое седло. Ты был готов на что угодно, на самую неслыханную жестокость, лишь бы смыть это бесчестье, чтобы белокурый красавчик, этот беззащитный голубочек Фонсик мог бы снова смотреть всем в лицо, не опуская своих голубых глаз, осененных длинными мальчишескими ресницами. Разве не так?

– Да. Как ты красиво говоришь. Точно так.

– Они разговаривали торопливо, заметно приглушенным тоном. Это было видно по вкрадчивости их жестов. Ты догадался, что в этот полдень они встретились лишь для того, чтобы условиться о свидании, и теперь собираются разойтись. Так и случилось. Некоторое время они шли вместе. Затем Фрэнки свернул направо, в переулок. Фонсик пошел дальше, туда, где аллея становилась малолюднее и дома встречались все реже. Ты мог выбрать, за кем из них последовать. Можно было проехать направо, за Фрэнки, чтобы посмотреть, где он на самом деле живет, или чтобы заговорить с ним в том самом кафетерии, где Фрэнки осуществил свой совратительский план, когда приметил там Фонсика, беззащитно выставившего свои круглые ягодички возле стойки с прохладительными напитками, и, как несытое чудовище, тут же возжелал его, соблазнившись невинным задиком... Но ты мог и проехать вперед, последовать за Фонсиком и подобраться к нему вплотную, как только он пройдет чуть дальше, скроется из виду домов, где аллея становится зеленей и тише, и там внезапно затормозить и под первым же попавшимся предложением завести с ним какой-нибудь пустяшный разговор. Я знаю, за кем из них ты последовал, Мышонок. За... Фонсиком... Так ведь, ты за ним поехал? Это ведь его ты выбрал?

– Да... как здорово, что ты это знаешь, Волк. Да, я поехал за Фонсиком.

– Ты последовал за ним в своей большой, почти бесшумной спортивной машине и подбирался ближе и ближе к нему. Аллея постепенно становилась все тише и пустынное. Стоявшие стеной деревья скрывали тебя из вида окрестных домов, что перемежались постепенно расползавшимися вширь зелеными прогалинами; дома́ эти, в свою очередь, были так же теснимы все дальше и дальше от дороги своими пышно разросшимися, одичалыми палисадниками. В конце концов ты подъехал к Фонсику вплотную. Ты больше не мог сдерживать нетерпение, потому что, как знать, может, он жил где-нибудь поблизости и в любое мгновение мог свернуть на гравиевую или бетонную дорожку, ведущую к одному из домов. Ты опередил его на несколько метров, затормозил у края тротуара и откинулся назад, держа одну руку на руле. Крыша машины была опущена, и только ветровое стекло закрывало из виду твоё тело выше пояса. Когда он поравнялся с тобой, ты тихонько окликнул его из машины: «Эй!» Он глянул в твою сторону. Он увидел тебя. Он остановился. Ваши глаза встретились. Тебе потребовалось невероятное усилие, чтобы не потерять дар речи или не ляпнуть какую-нибудь чушь, нелепицу, которая отпугнула бы его. Ты с усилием сглотнул, чтобы прочистить голос, и сказал, пригласительно махнув рукой: «Эй, послушай!» Он сделал шаг по направлению к тебе, потом ещё один и остановился совсем рядом с машиной. Ты смотрел ему прямо в лицо. Он был ещё более привлекательным, чем казалось издали, Мышонок. Но ты же не мог до бесконечности пожирать влюбленным взглядом его длинные ресницы, крупный бархатистый юношеский рот. Ты спросил: «Скажи-ка, ты тут немного ориентируешься?» Как будто ты просто хотел спросить дорогу, понимаешь? И тут ты заметил, как спала с него напряженная застенчивость, объявлявшая его в тот

момент, когда ты его окликнул. И тогда по нему – по спине, попке и светлым его ногам – прокатилась волна дрожи; незримая – но ты знал, что его передернуло, ведь он сперва решил, что это имеет какое-то отношение к его делишкам с Фрэнки – ну как же, сразу после встречи его вдруг оставливает какая-то машина... Но теперь он в самом деле подумал, что ты – просто случайный проезжий, который хочет узнать у него дорогу. Он подошел еще ближе. Он начал что-то лепетать – обычную тарабарщину, которую несут в таких случаях. После пары нечленораздельных слогов он произнес что-то вроде: «Э... да... а куда вам нужно?» И скользнул по тебе мимолетным взглядом, и ты сразу увидел, почувствовал, что понравился ему. Он стоял очень близко к машине и слегка зачарованным, мгновенным движением глаз окинул всю эту багряную кожаную обивку и – еще один мгновенный взгляд – твои ноги, бедра, промежность. Очень быстро, но взгляд его успел вобрать все. И пока ты смотрел на его слегка спутанные на лбу волосы, на его рот с четко очерченными, жадными мальчишескими губами, тебе хотелось, чтобы он так и остался стоять там и вы бы смотрели и смотрели друг на друга. Но, разумеется, это было невозможно. Ты пристально огляделся – поблизости никого не было.

«Подойди-ка поближе, пожалуйста, тогда не нужно будет повышать голос». И он, сделав еще один шаг к машине, протянул руку и опустил ее на край дверцы. Теперь он стоял совсем рядом и бросал короткие взгляды то на тебя, то вовнутрь машины, то на твой пах, и все так быстро, что ему и в голову не приходило, что ты это замечаешь. Ты смотрел на него, и тебе открывалось нечто, о чем ни ты, ни он не смогли бы даже заикнуться. Он стоял перед тобой, и вы смотрели друг на друга, и ты не знал, как долго это тянулось. Казалось, вечность. О таком обычно читаешь в книгах, но теперь ты убеждался, что и в жизни это происходит

именно так. Ведь тот, кто пишет о подобных вещах, не станет расписывать в книге то, чего не бывает. Тебе хотелось, чтобы он так и остался стоять и смотреть на тебя, а ты бы смотрел на него и никогда не случилось бы всего того, что за этим последует – потому что ты боялся. Ты боялся, что он уйдет; и боялся, что не уйдет, и боялся того, что должно случиться потом, потому что М. – да, я говорю «М.», потому что это дурно, постоянно упоминать имя все, – М. так хотела. Потому что было вовсе не исключено, что он уже любил тебя, Мышонок, – это было вполне возможно; но было и кое-что другое – не просто возможность, но совершенная определенность: ты сам уже любил его лихорадочной любовью... и, несомненно, попал бы под его власть, точно так же, как он попал под влияние этого черного хищника... Потому-то ты и боялся. Ты хотел сказать: иди своей дорогой, я ошибся, извини... Как в бреду... Но это было невозможно. Ты мог лишь сказать, что сотни, тысячи, миллионы лет назад тебе было предопределено и предназначено, что здесь, на этом самом месте и в этот самый момент ты скажешь...

И тут меня, словно молнией внезапно ударило воспоминание об одном случае двадцатитрех-тридцатитрехлетней давности: как-то пятничным полднем крутил я педали из Фоссиус-гимназии домой в Бетондорп, и на Ноордер Амстеллаан – улице, носящей теперь другое имя – был остановлен каким-то человеком лет двадцати пяти-тридцати восьми с виду, в очках и с букетом цветов в руках; человек этот посулил мне две монетки по двадцать пять центов, если я отнесу цветы в некий дом неподалеку отсюда. «Видите вон ту дверь? Нет, не ту – зеленую (на «вы» – к школьнику: подобная вежливость – признак расстроенных нервов). С табличкой „Основиц“. Не могли бы вы позвонить в дверь и отдать букет? И сказать: „От господина Даутса?“» Я с готовностью согласился, но отказался от денег, что

было довольно неразумно с моей стороны – «господин Даутс» в конце концов сунул их обратно в карман. Я поставил велосипед у дерева, подошел к указанной двери, позвонил и протянул цветы женщине в возрасте этак от пятидесяти до ста, одетой в коричневое с серой крапинкой платье и серым в коричневых крапинках, или коричневым в серых крапинках лицом, присовокупив: «от господина Даутса». – «Спасибо». Дверь тут же захлопнулась, и я услышал удаляющиеся и замирающие вдали шаги; но, не успев я отойти от двери, как из задней половины дома раздались громкие голоса – один из них пронзительной силы, другой – как мне показалось, успокаивающий.

«Цветы, да?! Цветочки, стало быть, присылает! – вопил мужской, весьма какой-то обиженный, пронзительный гнусавый голос. – Жить мы без них не можем!»

Г-ну Даутсу, пожалуй, следовало бы прислать что-нибудь другое: корзинку с фруктами или купончик на подарок, а скорее всего, и вовсе ничего не присылать, поскольку на гнусавого, похоже, было не угодить.

Вернувшись к велосипеду, я заметил «г-на Даутса», подмигивавшего мне из-за угла. «Ну, как там? Вы сказали, что это от г-на Даутса?» – «Сказал», – ответил я. – «А кому вы отдали букет?» – «Какой-то тете». – «А эта дама, какая она была из себя?» – «Такая в длинном платье». – «А, ну конечно. И каков же был ответ?» – «Они вдруг все закричали. Но потом она опять дверь закрыла». – «Тогда все в порядке. Я в самом деле вам ничего не должен?» – спросил г-н Даутс, шаря, хотя и не слишком усердно, по карманам своего пиджака. – «Нет-нет, не беспокойтесь, сударь».

– Скажите там, что это от господина Даутса, – пробормотал я.

– Что ты там опять разворчался, Волк? Почему дальше не рассказываешь? Ну что ты вечно: то начнешь, то остановишься.

– Заинтересовал он тебя, Мышонок? Фонсик этот? Пробудил ли он в тебе, скажем так, некоторую чувствительную благосклонность?

– Господь с тобой. Я, Волк, просто голову от него потерял. Я влюбился в мальчишку по уши, просто по уши... Как только это возможно? Я свихнусь, если ты дальше не будешь рассказывать. Я им просто заболел. Я больше не могу без него. Ты должен рассказывать о нем и только о нем. Расскажешь все, все... в самом деле все? Обещаешь?

– Да, хорошо, но время от времени мне нужно будет задумываться о прошлом.

– Это ничего, ты только рассказывай.

Голос Мышонка, казалось, из полной мощности сместился в сторону некоего весьма опечаленного, умоляющего бокового регистра.

Я умел писать и рассказывать как никто иной, но – осенила меня возвышенная мысль – авторство дивной этой красоты принадлежало вовсе не мне. Звери, деревья, камни внимали моей песне, которую я, казалось бы, без особых усилий извлекал из струн моей лиры. «Воспойте нам от песней Сионских...»¹ Я умел пробудить любовь там, где, казалось, от нее не осталось и следа, но творцом, созидателем этой любви был не я, и не в моей власти было определить, куда направит она стопы свои и устремит полет свой. Мне было дано возвещать истину королям, и племенам, и языкам, и в то же время я был обречен неверию людскому. Тысячи, сотни тысяч, миллионы заповедных розг вечных мучений в любви возденутся в ответ на мою песнь, подобно морским подзорным трубам желтой меди, вытянутым и наведенным на вечно отступающий, пустынный, покрытый зыбью горизонт или холодные звезды... Меня просили пропеть песнь Сиона, и я не отказывался даже на чужбине.

¹ Пс. 136, 1-4

И повсюду, куда доносилась моя песнь, сверкали слезы и раздавались вздохи, и взбирались сыны человеческие друг на друга и соединялись друг с другом, и принимали они Любовь изливаемую, и передавали ее дальше, и несли, и оберегали, и были сами – Огонь. Повсюду мог я пробудить Любовь, коей источником был не я сам, но Милость Господня. В неутомимой песне я зывал к ней, чтобы она явилась многим, всем, но не мне, кто не осмеливался приветствовать ее, снизошедшую под мою крышу, поскольку не был достоин ее. И хотя народ мой чтит меня и желал мне вечного благоденствия, и оделял меня наградами, и дарами, и ценностями, и большими ручными Животными для обширных моих садов – я оставался одиноким, а одинокий...

Глаза мои вновь ощутимо увлажнились. Я опять основательно усложнял себе жизнь.

– Я вправду все-все рассказываю, слышь, Брат Мышон. Я знаю, как там дальше будет... Я знаю все, что случится между тобой и Фонсиком. Знаю, знаю.

– А это... очень красиво, Волк? Мне кажется, он просто ужасно милый. Я хочу, чтобы все было красиво, правда красиво. Как бы это мне пояснее выразиться...

– Я знал, что ты найдешь его ужасно милым, Мышон. Но какая удача, что он так понравился тебе с первых же слов. Я, конечно, надеялся на это, но ведь такие вещи предугадать нельзя. От тебя это не зависит. Ведь до чего здорово, а, что он вот так сразу, хотя видел тебя всего ничего и лишь парой слов с тобой обменялся, вот так сразу привязался к тебе, я бы сказал...

– Да.

Теперь мне нужно было продолжать, но вновь мною овладели воспоминания, значительно замедлявшие ход дела, – никто не был властен над ними, никто не мог сказать, отчего они возникали, – и именно в те мгновения, когда их меньше всего приветствуешь. Мне вспомнилось,

как мать Мышонка – Маман – рассказывала о смерти своего старика-отца: неграмотный рыбак, не умевший ни читать, ни писать, он в одиночку мог построить лодку – они имели большой спрос – и далеко за восемьдесят оставался в добром здравии и бодром теле, но в какие-то считанные дни вдруг сильно сдал; у него начались припадки, он сделался немного не в себе и в конце концов впал в полное беспамятство, длившееся целыми неделями, – но вот однажды утром в понедельник он очнулся, чтобы сказать:

– Надо бы в делах разобраться. Я ухожу в море.

– Как это?

– Я ухожу в море.

– Да что это ты? Куда ты собрался?

– Я ухожу в море. В среду утром, в полвосьмого.

Это оказались его последние слова, после чего душа его снова погрузилась во мрак, отныне уже беспросветный; и все-таки два дня спустя, ровно в полвосьмого утра он выбрал-таки якорь и поставил парус.

«Чудны дела твои, Господи», – в такую форму по обыкновению облекала Маман свой комментарий. С Бабулей, то есть с матерью ее рано умершего мужа, было чуть иначе: примерно такая же драма, естественно, однако с другим речитативом в последнем акте. Бабуле в бытность свою довелось пожить по разным адресам в В.; по мере того как она старела, пристанища становились все скромнее, и, в конце концов, она обрела приют в нижнем этаже дома на Денненлаан, прямо напротив похоронного бюро, где гробы и катафалки мелькали туда-сюда за милую душу, едва ли не каждый день, и это на глазах у Бабули: немощью своей прикованная к креслу, она день-деньской проводила у окошка, поневоле наблюдая все то, чего ей видеть вовсе не хотелось, поскольку ее терзал смертельный страх перед Последним и Единственным, неизбежно грядущим Женихом. Бабулин разум был также в конце

концов сокрушен, причем прямо перед кончиной она особенно сильно волновалась из-за большого персикового дерева, росшего в саду одного из ее последних пристанищ, много лет назад. «Как же быть с этим персиком-то?» – Сначала я не могла в толк взять, о чем это она, – рассказывала Маман, – но потом сообразила. – «Персик-то? С ним все в порядке». – «Да? А вы все персики соберете?» – «Да, мама». – «И все честно между собой разделите?» – «Ну конечно, мама». – «Вот и ладно, доча».

Эту вторую историю, о персиковом дереве, Маман находила «по крайней мере гораздо более позитивной», нежели «дурацкую историю о плаваньи».

«К этому можно подходить по-разному, – подумалось мне. – Что такое «позитивный»? Поступательное движение? Движение назад?» Оперирова подобного рода заумью, я разделялся со многими вещами, дабы не свихнуться прежде времени.

– Дальше рассказывай! Я влюбился по уши, Волк. Я без ума от этого мальчика. О, до чего меня все это тревожит. Что же делать?

– Ну, не переживай ты так, Мышкин-мишкин. Увидишь, все кончится хорошо. Да, ты втюрился в этого Фонсика, но я дам тебе колдовского зелья, чтобы ты совсем-то уж голову не терял и не оказался бы перед ним безоружным – вот этого нам вовсе не надо. А для Фонсика я сварю другое волшебное питье – оно заставит его пресмыкаться перед тобой, взывать к тебе и привяжет его к тебе навеки, как ручного зверя, собаку, что заходится воем в отсутствие молодого хозяина...

– Да уж, сделай, пожалуйста... это было бы замечательно... Ну, давай дальше. Нет, не лезь ко мне... я еще не отдохнул...

– Настоящая любовь тебе не под силу, а? Лентяй ты, жопа постельная! Бери-ка лучше пример с Фонсика! Ты

ведь знаешь, что он скоро тебе скажет? Он скажет: «Делай со мной, что захочешь». Хороший мальчик! Молодец!! Вот *он* толк в любви знает...

– Дальше, дальше. Значит, он стоял возле машины. Ладно, ты уж сам себя как-нибудь... Но только если будешь дальше рассказывать.

– Он стоял возле машины, Фонсик, все так же держась рукой за край дверцы. Порой тебе казалось, ты улавливаешь его запах: юношеский пот в белобрысых подмышках под белым свитерком... а потом ты вновь решал, что это лишь игра воображения. Но все равно голова у тебя шла кругом. Полюбит ли он тебя? Или уже полюбил? Ты пока не знал этого, но уже с незапамятных времен, еще до того, как Господь решил сделаться человеком, было предопределено, что Фонсик с первого же мгновения, с первого же взгляда на тебя вспыхнет опаляющим, жгучим пламенем льнущей к тебе в поисках вечного укрытия, безграничной, беззащитной любви... Но ты этого не знал... еще не знал... пока еще нет...

– Нет... но это же было так, а? Он же немедленно влюбился в меня?

– О да. А кто бы не влюбился, Мышонок? Ты так обворожительно красив и сладострастен. Я возведу тебе памятник. Ты будешь вечно жить в моих трудах и произведениях. На твою могилу, украшенную великолепным, большим мечтательным портретом на эмали будут стекаться бесчисленные скорбящие единомышленники, весьма утонченные юноши в весьма утонченных одеяниях, и будут, всхлипывая и поддерживая друг дружку под локоток, осыпать ее маленькими фиалками: безутешные, что ты оставил сей мир и их самих. «Мышонок! Мышонок!» – шепотком перекликаются через кладбищенский двор окутанные флером слез, чистые юношеские голоса... Мальчики листают альбомы и обмениваются марками с твоим изображением...

– Ну, опять занудил. Давай дальше. Фонсик стоит рядом с машиной.

– Боишься, замерзнет? Ну конечно, вот на что я тебе нужен: стряпать все эти тухлые извращения, без них нам никак. А все потому, что ты – моральный урод, и чудо любви свершается с тобой, только когда ты насмотришься всяческих бредовых, распутных мысленных картинок; а ведь здоровым людям достаточно друг друга, восхищения и восторга телом возлюбленного. Ты просто больной.

– Как тебя только хватает, парень: целый божий день нудишь, все эти твои воспоминания или как их там.

– Только милостью Божией, Мышонок, я еще держусь на ногах. Надо бы мне было умереть во цвете лет. Так и было задумано. Да вот вышло не так. Совсем по-другому вышло. И кто бы мог предвидеть, что мой божественный дар художника будет растрочен на выдумки и описания самых предосудительных картин и послужит самоублажению вместо дела создания семьи... валяться в каморке и сочинять рассказы... Как это возможно...

– Да, тут ты в любом случае неподражаем. Уж это-то ты по крайней мере умеешь. И пока ты не выдохся, я от тебя не удержу.

– И пока я бабки заколачиваю?

– Во-во. Не то пеняй на себя.

– Вот это мне нравится, Мышонок. Знаешь, я просто дико завожусь, когда ты такие вещи говоришь. По всему виду, ты стал большой, рассудительный мальчик. Как говоришь, так и будет: я спибу кучу бабок на своих великопных книгах. Уж мы тогда разбогатеем. Уж мы тогда заживем. И тебя возведут во дворянство, а куда же они денутся. Я лично знаком с Ее Величеством Королевой¹.

¹ Юлиана, королева Нидерландов с 1948 по 1980 г.

– Ты что, правда?

– Я же был ей представлен! Раньше я регулярно бывал при дворе. Не в последние годы, правда: мы оба были слишком заняты. Но как только выйдет моя новая книга о тебе, меня тогда призовут, спорим? Королевский посыльный застанет меня в разгар работы. Они в таких случаях прибывают верхом, по старинке – до сих пор, представляешь? Ну, разумеется, после такого королевского послания всю работу побоку. Королеву я застаю за клеиванием марок в альбом. Она смущается и, как только я вхожу, тут же его закрывает. Она говорит: «Ах, какую вы книгу написали! „Язык любви“. Дивно, дивно». А я говорю: «Сударыня, моя жизнь – служение». Это ведь правда? А Ее Величество говорит: «Во многих местах вы описываете... в той книжке рассказов, э-э... э-э...»

«Вы имеете в виду „Язык любви“, Сударыня?»

«Вот именно, в этом литературном произведении...»

«Ах, Сударыня, это всего лишь книжка...»

«Вы любите подсмеиваться над собой».

«Ну да, Ваше Величество, эта вечная серьезность...»

«Но это ваше литературное творение – я прочла его. И там вы описываете одного молодого человека – ну да, в вашей книге ведь фигурируют и другие молодые люди, если можно так выразиться...»

«Совершенно верно, Сударыня».

«Но что меня в особенности тронуло в этой вашей книге... кстати, она удостоилась чего-нибудь? Какой-либо премии?»

«Это впереди, Сударыня. Однако наивысшей наградой я полагаю отзыв Вашего Величества».

«О, конечно. Но в Вашей книге меня в особенности тронул образ одного юноши, которого вы называете Мышонком. Какое забавное прозвище. Он кажется мне весьма, весьма своеобразным молодым человеком».

«Я испытываю несказанное облегчение от того, что Ваше Величество столь благожелательно отзываетесь о нем. Он и в самом деле совершенно исключительный юноша. Видите ли, Ваше Величество, портрет Вашего Королевского Величества украшает бесчисленное количество почтовых марок...»

«Ах, оставьте, пожалуйста».

«Простите меня великодушно. Но портрет этого Мышонка когда-нибудь тоже будет красоваться на бесчисленных экземплярах почтовых марок. На больших таких светло-зеленых треугольниках».

«Какая удивительная и радостная мысль».

«Я полагаю себя вечным слугой и пленником Вашего Величества».

«Должна отметить, что вы изъясняетесь в высшей степени изящно и достойно, сударь. В точности как в книгах, уж не обессудьте».

«Ни в коей мере, Сударыня».

«Я велела призвать вас, потому что хотела кое о чем спросить: я испытываю величайшее восхищение перед вашими трудами...»

«Я живу и пишу для своего народа, Ваше Величество. Я не ищу иной судьбы, нежели быть певцом моей возлюбленной отчизны».

«Хорошо, очень хорошо. Но я хотела вас спросить: могу ли я что-либо сделать для вас?»

«Ваше Величество, меня не интересуют ни слава, ни почести, ни подарки, ни блага преходящие. Я уже слишком стар и болен. Но раз уж Ваше Величество меня об этом спрашиваете, следовательно, мне дозволено будет высказать то, что милостью Божией и Утешением Духа Святого моему сердцу любезно: не будет ли угодно Вашему всемилостивейшему Величеству возвести вышеупомянутого Мышонка во дворянство?» – В этот момент я,

естественно, преклоняю колена, но Королева быстрым жестом велит мне подняться.

«Вы просите слишком мало».

«Для меня этого предел желаний, Ваше Величество».

«Ваше желание будет исполнено».

«Благодарю Вас, Ваше Величество».

Я отвечаю поклоном и собираюсь удалиться, но Ее Величество жестом дает мне понять, что я должен задержаться еще ненадолго. Вероятно, она хочет сказать: «Помедлите еще мгновение, сударь».

«Охотно, Ваше Величество».

«Сударь, я хочу вам еще кое-что сообщить. Сюда поступает значительное количество книг, произведений, с которыми я должна ознакомиться. Среди них попадаются книги, безудержно расхваленные критикой, и нередко авторы их даже удостоены различных наград. Но, когда я их читаю, или, лучше сказать, когда я пытаюсь их читать...» – при этом, Мышонок, Ее Величество робко оглядывается вокруг, словно опасаясь быть подслушанной, – «но когда я пытаюсь их читать, то... да, как бы это сказать... тогда...»

«...тогда Ваше Величество не можете уловить нить повествования?»

«Да, примерно так, именно так, сударь... Я читаю страницами, главами, меня бросает в пот от напряжения и от...»

«...от скуки, Ваше Величество?»

«Вот именно, сударь! От скуки! Я читаю... ну да, я пытаюсь читать все эти книги весьма именитых и премированных писателей, я стараюсь как могу и, усаживаясь за чтение, специально отключаю телефон, но... хотя...»

«...хотя они вас просто убивают, Ваше Величество, – с вашего разрешения, – вы все равно не можете понять, о чем там речь...»

«Совершенно верно, сударь, совершенно верно! Персонажи всех этих книг – просто какие-то привидения... только одно в них ясно: они безмерно разочарованы, в точности, как и их творцы. Это никуда не годится, сударь, ведь против чего только они не выступают: и против любви, и против брака, и против семьи, которая все же является фундаментом нашего общества... И что только, по их мнению, не подлежит исправлению...»

«Все, кроме их собственного стиля, Ваше Величество...»

«Вы просто читаете мои мысли, сударь».

«Несомненно, Сударыня, все это – собственные мысли Вашего Величества, кои я лишь осмеливаюсь высказать вслух».

«Но что касается вашей книги, сударь, э-э... э-э...»

«„Языка любви“, Сударыня».

«Что касается вашей книги, „Язык любви“ – тут все совершенно иначе. Эту книгу я читаю для собственного удовольствия, с огромным интересом, взахлеб, на едином дыхании, сударь. Эту вашу книгу я читаю как... как...»

«...как роман, Ваше Величество».

«Да-да, сударь! Ваша книга, она – да, я не осмеливаюсь сказать, что я разбираюсь в литературе...»

«Королева разбирается во всем, Ваше Величество. Иначе она не была бы Королевой».

«Хорошо, пусть так, но ваша книга, уж позвольте мне своими словами...»

«Лучших и не сыщешь, Ваше Величество».

«Эта ваша книга, она... она... Нет, не прерывайте меня, пожалуйста... она... такая... теплая и человечная! Человечная книга! Да! Человечная книга!»

«Вся моя жизнь была ожиданием этого мгновения, Ваше Величество».

– Какая любезность со стороны Королевы, а, сказать такое, правда, Мышонок? Она могла бы и не говорить этого, ее никто не принуждал. А она вот сказала.

– Да, очень мило. Ты и правда знаком с Королевой? Ты был ей где-то представлен, а?

– Да, я познакомился с Королевой на большом торжестве, на придворном балу, где-то год назад. Правду сказать, я не любитель подобных событий, но как можно жить в обществе и быть свободным от него... Ну вот я и пошел. Танцор из меня весьма посредственный. Королева тоже танцев не любит. Я так считаю: танцам место в театре, в спектакле. Дрыгоножество это не для порядочных людей. Ну да Бог с ним. Словом, там я и познакомился с Королевой. Она чрезвычайно милая женщина, Мышонок. До сих пор помню, как я был взволнован ее появлением. Знай же, Мышонок, что фотографы, делающие снимки Королевы, обходятся с ними достаточно небрежно, и она получается на них в весьма невыгодном свете. В жизни она куда привлекательнее, чем на фотографиях, – в ней есть что-то такое мягкое, нежное, некий флер юности. Я сразу это распознал. Мы немного поболтали с ней о философии за бокалом хереса. У королевы очень выразительные светло-голубые глаза. В тот вечер на ней было платье из золотистой парчи с довольно низким вырезом на спине. Там были и другие гости... Королева временами обращалась и к ним. Тогда я отходил в сторонку или отступал назад, и тут мне приходилось довольствоваться созерцанием ее декольтированных плеч. Это платье золотистой парчи было довольно тесным и так обтягивало белоснежную плоть Ее Величества, уж позволь мне так выразиться... что посередине спины залегла глубокая ложбинка. Это было довольно глубокое декольте, как я уже сказал, совершенно пристойное и все

же довольно низкое. Так что я волей-неволей смотрел не столько *на* декольте, сколько запуская глазами *за* него. А что я мог поделаться, Мышонок, куда ж мне было глаза девать. Бог мне свидетель – помыслы и чувства мои были чисты и высоки, но вот на мгновение я придвинулся очень близко, и перед глазами у меня очутился глубокий желобок на спине ее Величества, и вдруг по случайности я заглянул вглубь, туда, где эта складка скрывалась в глубоком вырезе платья, и в тот же самый момент на нее упал луч света от одной из огромных хрустальных люстр. И как ты думаешь, Мышонок, что я там углядел? Под самым краешком платья, в глубине, на левой стороне ложбинки, на мгновение освещенной ярким светом, углядел я малюсенькую бородавку. Совсем крошечную бородавочку, не больше спичечной головки. Меня это умилило. Сам не знаю, отчего – и кто бы мне это объяснил. Ужасно я, Мышонок, растрогался. Знаешь, что я подумал: «Мы должны в незыблемой преданности сплотиться у трона ***»

Мне пришлось немного перевести дух, поскольку меня и самого рассказ сильно тронул.

– А потом? Вы с ней еще встречались?

– Я регулярно навещал Королеву. Меня всегда принимали на огромной остекленной веранде, пристроенной позади дворца. Мы вели бесконечные разговоры, во время которых мне никак не сиделось. Да, разумеется, я спросил у ее Величества, не возражает ли она, чтобы я за беседой прохаживался по веранде. Она не возражала. Это была такая просторная зала, выходящая в дворцовый сад, с огромными окнами и большими стеклянными дверьми. И все же там царил полумрак из-за пышной садовой растительности.

Повсюду в люстрах трепетало пламя свечей. Королева не жалуется этих нынешних штучек вроде электрических ламп и бытовых приборов. Не любит она всего этого. Мы

говорили и говорили; в конце концов, нам начинало казаться, что огромная веранда слишком мала для нас, и мы покидали ее через высокие стеклянные двери и выходили в большой, тенистый дворцовый сад, все так же беседуя и забыв обо всем окружающем. Порой мы забредали в самый дальний конец сада и шли дальше – по огромной аллее древних мощных зеленых каштанов, земля под которыми утопала в изумрудных мхах. Вход туда был свободный, и дворцовая охрана опасалась, что народ станет докучать нам, но Королева ничуть не беспокоилась на этот счет. Нам это помешать не могло. Ее Величество надевали старую черную шляпу, низко надвинув ее на глаза, а я высоко поднимал воротник пальто, так что нас никто не узнавал. Никто даже и не догадывался, кто мы такие. Мы и сами порой забывали самих себя, бродя по дорожкам и разговаривая. Мы были... вне времени...

– А о чем вы беседовали?

– Обо всем на свете, разумеется. И очень много – о Конце Света. У Королевы весьма глубокие, весьма возвышенные представления о Боге. Она – истинно верующий человек. Вера ее зиждется на смирении... Да, именно так можно выразиться. В ее жизни было много горя... У нее прекрасные идеи об истинной природе Бога – собственные ее мысли, не из книг..... Она принадлежит к какой-то официальной церкви, но в душе своей – она член церкви тайной, охватывающей весь подлунный мир, церкви, ищущей правды, – неумолимо; однако на уста прихожан сей церкви наложена печать молчания, и они просто посещают свою обычную церковь. Она не возражала против моих высказываний, вовсе нет... вовсе нет...

– Почему бы тебе не вставить эти беседы в книгу?

– Нет, как можно. Во время нашей последней встречи она заметила: «Ведь все это останется в этих стенах, среди этих зеленых деревьев?»

«Я никогда не помышлял ни о чем ином, Ваше Величество».

«Ах, сударь, потом, потом когда-нибудь..... когда мы оба состаримся... тогда пишите и повествуйте об этом свободно – по вдохновению вашего сердца».

«Благодарю вас, Ваше Величество».



Герард Reve и королева Юлиана. Амстердам, 1962

МИЛЫЕ МАЛЬЧИКИ



Τιερ και Γεραρδ Ρεβε

Глава первая

Вся жизнь

Я молчал. Мышонок лежал неподвижно, отрешенно глядя в потолок. Павшее на нас безмолвие начинало заполняться прошлым, еще немного – и опять я вернусь мыслями к мертвым. Прошлое постоянно придвигалось, подбиралось ближе: казалось, оно пыталось догнать нас, что было нелепо, ибо оно случилось где-то там, в минувшем, и там ему, недвижимому, надлежало пребывать во веки веков. Далеко от меня, позади, мертвецы достались пыльным обочинам, усыпанной хвоей земле мрачных содрогающихся сосняков, и прах могильных холмов их был развеян ветром, размыт дождями, исчез без следа. И все же они шагали в одном строю с нами. В самом ли деле были они убиты, и разве не имели мы с ними «одно дыхание¹» и единый голос? Они сетовали, укоряли и осуждали, мертвецы, настойчиво пытаясь поведать нам нечто, чего нельзя было бы ни принять, ни отринуть, и голоса их были исполнены той же хриплой жалобы, что и наши.

(Помнится, примерно четверть века назад, в бытность мою журналистом доводилось мне посещать собрания нашего профсоюза, где один более зрелый собрат с удаленной хирургическим путем и замененной картоном гортанью постоянно просил слова. Правление собрания всякий раз шло ему навстречу. Некоторые из моих сотоварищей, хорошо знавшие его, утверждали, что он употреблял вполне реально существующие слова и выражения. Исходя из тогдашних общепринятых правил ведения собраний, первые три издаваемые им звуко сочетания, которые слух мой никогда не воспринимал иначе, нежели «Гсссп

¹ Еккл. 3: «... как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех...»

Пррритс-Тит!», должны были означать ни что иное, как наивысшее «Господин председатель». Без определенной эмпатии тут было не обойтись. Не заносить его выступления в протокол было нельзя, поскольку на следующем собрании при зачитывании стенограммы он выносил протест и дело заходило в еще больший тупик. Мне смутно помнится, что секретарь весьма ловко выпутывался из этой проблемы, делая пометки в духе: «Коллега Карел З. выражает лишь в высшей степени частичное согласие по данному вопросу» или «Коллега Карел З. в очередной раз подчеркивает важность как можно более продолжительного среднего образования». Его уже наверняка не было в живых – на этот счет можно было не беспокоиться – с этой его страхолюдной картонной глоткой, торчащей из индюшиного гребешка под подбородком.)

– Гсссп Пррритс-Тит! – сказал я.

– Да, – по-своему истолковал Мышонок. – Тебе бы надо почаще появляться при Дворе.

– Это имеет свои плюсы и минусы, – согласился я.

– А ты меня с собой разок не возьмешь?

– Тебе нужно заниматься другими делами, Мышонок. Ты еще так молод. Жизненный путь ты прошел лишь до середины, в сущности, ты – часть этой жизни. А я с ней покончил. И теперь воспринимаю ее примерно такой, какая она есть. Теперь Королева призывает меня, дабы узнать мой приговор, а также испросить совета в области окружающей среды, биотехники и двусторонних соглашений. Воли тебе не занимать, прилежания тоже, речь не о том, но ты никогда не будешь в состоянии усидеть на месте. Для этого ты слишком нетерпелив. Ты будешь постоянно за что-то хвататься: хорошенькая ценная картинка, например, и вдруг – бац! – одни осколки. Твое время при Дворе пока не пришло. Тебе нужно еще пошататься, поколесить по свету, хмелея от вина собственного

любострастия. Королева того же мнения. Еще семь долгих лет похероводишь. И лишь тогда угомонишься.

– А ты сам тоже семь лет хероводил?

– Нет, любовь моя, дольше. Скажем, трижды по семь лет, около того. Добрых два десятка лет. Под конец, Мышонок, это стало меня утомлять. Но я честно рассказал об этом Ее Величеству: это лучше всего.

– Ты говорил об этом с Королевой? О том, что так долго хероводил?

– Я обо всем говорил – чистосердечно. Обо всей моей растленной жизни. Королева и сама так хотела. Даже настаивала. Но я был осмотрителен в выборе слов. Существует масса вещей, которые, безо всякой на то нужды, можно облечь в непристойную форму. Я всегда выражался сдержанно. И если порой возникало нечто такое, о чем мне казалось неуместным говорить вслух, я записывал это на простенькой грифельной доске: на табличке, что всегда лежала на столе, или на той, которую Королева неизменно держала при себе на пышно изукрашенном слоновой костью шнурке, даже во время наших прогулок, поскольку часто, слишком часто являлись мне самые разные мысли и слова, и тогда я внезапно говорил: «Вашу табличку, Ваше Величество». В первую очередь, когда речь шла о тебе. «Мышонок так мил и так хорош собой, Сударыня», – говорил я. – «Самое же упоительное, это его...» – и я записывал слово на табличке, которую Королева извлекала из складок своего развевающегося одеяния и которая крепилась к ее поясу изящным шнурком. Мягким серым грифелем записывал я на этой табличке слово, или слова, и подносил ее Королеве, как волшебное зеркало, и шнурок, крепивший ее к талии Ее Величества, напрягался и, туго натянутый, застывал: так связывал он нас... И тогда она улыбалась... потом я проводил по табличке языком и, стерев написанное, возвращал дощечку ее Величеству. «Сколько

лет ему?» – «Он едва достиг совершеннолетия». – «Еще так юн?» – «Да, Ваше Величество. Не находит ли Ваше Величество, что он должен еще семь лет, без устали... Одну секунду, Вашу табличку, молю Вас, Ваше Величество». И я записал слово. Королева чуть помедлила, однако сию же секунду кивнула и слегка улыбнулась, почти неприметно. «Да, это было бы недурно. Скажите ему об этом». – «Должен ли я буду присовокупить, что это есть всемиловейшее распоряжение Вашего Величества?» – «Пожелание, я бы сказала». – «Это одно и то же, Сударыня». Возможно, Мышонок, тебе покажется странным, что столь неизмеримо более высокого по сравнению с нами ранга особа снисходит до чего-то такого... обыденного... Но Королева очень, очень мудра. Порой ее охватывает чувство, что она бесконечно стара и изнурена, и оттого она все понимает. Столь тяжелы и утомлены ее веки, что их приходится поддерживать при помощи двух стеклянных палочек... На фотографиях эти палочки, разумеется, заретушированы...

– Ну, началось... А дальше?

– И тогда я с безумной скоростью – разумеется, в высшей степени почтительно распрощавшись с Ее Величеством, это уж само собой разумеется – устремляюсь в твоём направлении. Ты помнишь, я как-то рассказывал тебе, что с одной стороны королевский сад переходит в аллею, где Королева и я имели обыкновение прогуливаться? Так вот, эта самая аллея по случайности является продолжением той, что пролегает возле школы Фонсика: школа там совсем рядом. В сущности, это та самая аллея, где ты останавливаешься в своем роскошном темно-красном спортивном автомобиле поболтать с Фонсиком. По выходе из дворца мне нужно проехать еще порядочный кусок по той же аллее в моем старом, ржавом, хлюпающем, но все еще пикантно похрапывающем присносущем грузовом «Ситроене», где мои книги, походная печка, конторки,

чернильницы и карандашницы всюду отплясывают и бьют чечетку, как вдруг я вижу тебя вдали у обочины, в этом твоём великолепном темно-красном спортивном авто, и вы с Фонсиком стоите, уставившись друг на друга как замороженные.

Я замедляю ход, продвигаясь почти черепашьям шагом, на мгновение приостанавливаюсь и бросаю тебе в машину лиловый платочек с монограммой Королевы, благоухающий амброй и гелиотропом, и говорю: «Господин *Анри*, некая весьма высокопоставленная особа передает Вам привет и извещает, что возвышает Вас; кроме того, она выражает желание, чтобы весь подлунный мир поступил в Ваше распоряжение – на семь лет». Фонсик, разумеется, ни слова из этого не понимает, но мгновенно осознает, что тебе присвоен титул и что ее Величество лично пожелало, чтобы ты в течение семи лет неукоснительно подставлял зад любому встречному и поперечному. Но, понятное дело, Королева подобрала слова поизыщнее. И я проезжаю своим путем, а ты изображаешь перед Фонсиком, будто я – твой слуга. «Благодарю Вас, Геррит», – бросаешь ты. И вы вновь впираетесь друг в друга взглядами, исполненными страсти. Однако Фонсиком мало-помалу начинает овладевать робость. Твоя дорогая машина, твой ослепительный облик, платочек с необыкновенной монограммой и еще более замечательным ароматом, мои удивительные слова – все эти чары чуть ли не подавляют его, и он, в сущности, уже немало напуган, Фонсик. Теперь тебе нужно срочно завести с ним настоящий разговор. Итак, ты слегка наклоняешь голову и, уставясь на него взглядом великолепной бельгийской овчарки, произносишь – тихо и спокойно и в то же время очень четко: «Я видел тебя с кем-то, только что». Ты замолкаешь на несколько секунд, затем продолжаешь: «Как посмотрят на это дома?» И ты выжидаешь, Мышонок, очень спокойно. Теперь ты можешь ждать. Теперь он уже

никуда не денется, потому что... теперь он твой, хотя и сам еще об этом не подозревает...

– Он боится меня?

– Мм... в определенном смысле да, Мышонок. Но сила, с которой он осознает, как его тянет, влечет к тебе, велика настолько, что он застывает на месте как вкопанный. Его словно вминает в дверцу автомобиля. Он сам не знает, что с ним творится. Когда ты смотришь на него, все его мальчишеское тело охватывает пламя и в то же время он дрожит, а виной тому твои слова: «Я видел тебя с кем-то. Как посмотрят на это дома?» Заметь, Мышонок, ты не спрашиваешь: «Что скажут твои родители?» Ты говоришь: «Как посмотрят на это дома?» Ведь ты не знаешь, живы ли его отец и мать. Очень может быть, что он наполовину сирота, или вовсе больше не живет с родителями. Как знать. Но «дома» – это уж так или иначе наверняка. Ведь должен же он где-то жить, должен по вечерам в своей бедной, крашенной белым железной кровати натягивать тонкое драное одеяло на свои плечики и бархатную шейку, в этой его бесконечно одинокой юношеской комнате...

– Он беден?

– Да, Мышонок, он очень беден. И очень, очень одинок. Родителей у него нет. Оба погибли в автомобильной катастрофе в Вогезах. Он сирота, Фонсик...

– А есть у него братья или сестры?

– У него был брат. Но он погиб на войне. Фонсик живет у дяди с теткой. Тетка – сестра его отца, но что в том проку, раз в доме заправляет дядюшка и они здорово не ладят. Краснорожий тип, тупой, страхолудный, прижимистый, вечно гнет свое, с этой своей пилорыбьей глоткой... Ах, они по-своему желают ему добра, на свой незатейливый манер – тетка-клуша и горлодер-дядюшка. Своих детей у них нет. «Я пытаюсь излить всю ее любовь на дитя моего покойного брата», – говорит тетка. Она обращалась

к психиатру по поводу упадка сил, приступов слезливости и пароксизмов истерии, во время которых она пытается перекричать мужа, и вот этот психиатр составил заключение, выписку из которого их домашний врач зачитал ей вслух, со всеми личными и притяжательными местоимениями, естественно, в третьем лице вместо первого: «она пытается», «всю ее любовь» и «ее покойный брат», и вот она перестроила эту фразу должным образом, забыв, однако, переписать «ее» на «мою». Может быть, это оттого, что ей всегда хотелось девочку. Вот так бывает, Мышонок: мечтают о дочке, а получают мальчишку-приемыша. Это очень печально. Для Фонсика все его существование было бесконечным томлением, неизмеримой бездной лишений. Он спал наверху, на чердаке, и обретался там же, по большей части. Пустая дощатая комнатуха, три-четыре дешевые книжки, коробка с конструктором «Меккано» и детекторный приемник, который ему подарил другой – по сути дела, вполне симпатичный дядюшка, впоследствии уехавший в Венесуэлу да так там бесследно и канувший. Совсем как у тебя, Мышонок, была у него комнатуха, совсем как твоя...

– Мне становится так грустно от всего этого, Волк...

– И вот он глядел через дорогу, поскольку комнатка его выходила окнами на улицу. Глядел и по вечерам, когда смеркалось, и он видел все эти светильники – и холодные уличные фонари, и мягкие огни домашнего уюта в комнатах домов на той стороне, где люди шутили и смеялись, дурачились или играли в настольные игры – неслышно для него, хотя ему видны были их счастливые, возбужденные жесты. Порой он замечал мальчика, смиренно сидящего за столом в окружении школьных учебников, и видел, как тот время от времени, если с ним заговаривают, поднимает голову, не пугливо, а с улыбкой... И Фонсик думал: «Нет на свете другого такого же мальчика, которому бы

так страстно был нужен я, как он – мне, который был бы так же одинок... Я один такой, одинокий.. Я – само одиночество...»

– О Волк, Волк...

– Ну что?

– Ты так все это видишь... и рисуешь...

– Я воссоздаю замечательную картину перед твоим мысленным взором, не правда ли? Ах, малыш, уже лет в 7-8 я писал стихи. И, прислушиваясь в воскресный полдень к шуму древесных крон в сосновом бору или в одиночестве выгуливая на пляже собаку, я казался себе таким маленьким, просто песчинкой... пылинкой мироздания... Осознание этого, уже тогда...

– Это ужасно красиво, Волк, и в то же время... так жутко... Я так люблю его... Не знаю, что бы я стал делать, если бы вдруг встретил его... Я хочу сказать – представь, я действительно его встречу, этого мальчика, и тогда прощай и ты, и Тигр... Разве не будет это несчастьем для всех нас... Потому что я люблю его, ничего не могу с этим поделать...

(Поистине, человек всегда сам навлекает на себя кучу неприятностей и – что верно, то верно – уж так охотно и так упорно впутывается во всяческий бедлам и неразбериху, что выпутаться из них, сколь ни бейся, уже не может. И не только те, кто и впрямь полны решимости выйти на беспощадную Эротову охоту – смотря по тому, кем они себя мнят: охотниками или добычей, хотя в действительности они – всего лишь неудобоваримые любители, допущенные обивать тростники на тинистых берегах или колошматить по веткам в осенних рощицах, за полтора гульдена и рюмку поддельного коньяку, – нет, даже домоседы умудряются неимоверно осложнить себе жизнь: откуда-то из богом забытого медвежьего угла к югу от Дельфзейла¹

¹ Провинция в Голландии.

написал мне однажды человек, который, будучи одиноким как перст и, следовательно, не имея никого, кто мог бы встать ему поперек дороги, тем не менее мог получать мою почту только каким-то невероятно сложным путем или же не мог вообще, и который трижды, раз за разом, записывался в наш Греческий профсоюз самоопылителей и все три раза соответствующие бумаги последовательно сжигал: по-другому он просто не умел.)

– Ну, не терзайся так, Мышонок. Хорошо, позволь мальчишке привязаться к тебе посильней, и уж конечно сам не оставайся равнодушным к чарам этой прелестной, хорошенькой, преданной, страждущей, одинокой зверушки. Однако Тигр ему тоже явно весьма симпатичен, и он определенно прекрасно ладит с Маман¹. И, возможно, в ремесленном училище он выучился на авторемонтника, сантехника или электрика, и здесь он может устроить все за так и получить материалы по себестоимости: словом, двух зайцев одним выстрелом свалить. И всякий раз, когда он, коленопреклоненный или на корточках, на чердаке или в подвале пыхтит над каким-нибудь сварочным швом, коленчатой трубой или сливным краном, ты ласкаешь его юношескую промежность и, стоит умолкнуть шипящему язычку пламени его горелки, сдергиваешь с него саржевые рабочие брюки и обрушиваешься на него шквалом истинной любви, что всегда нападает сзади... Ведь мы же ладим? Я имею в виду, пусть уж лучше будет на одного такого милого, преданного, зависимого любовничка больше, чем меньше? Такой мальчик, это же всегда занятно? Щенка овчарки, например, нужно кормить, а этот мальчик, он питается дома, за исключением тех случаев, когда ты ему разок предложишь поесть здесь или выведешь куда-нибудь на обед в приличное общество, чтобы произвести

¹ Г-жа ван Манен, мать Мышонка.

на него впечатление. И потом, собаку нужно время от времени спускать с поводка, а такого мальчугана – нет, просто покажи ему разок, где это... Можно ведь все уладить так, как сам того желаешь? Можно ведь просто сказать: тебе придется дважды по столько же раз являть чудо и для Тигра с Волком, а то они очень ревнуют? И просто объяснить ему, куда он должен пойти работать, и какую часть своего заработка он должен будет отдавать тебе. Налог на любовь, слово говорит само за себя.

– Ну хорошо, ладно. Рассказывай дальше.

– Так вот, Мышонок, ты произносишь, не отводя от него взгляда: «Я видел тебя с кем-то на улице. Как посмотрят на это дома?» И замечаешь дрожь и трепет, пронизывающие его с головы до пят. На секунду он отпускает дверцу машины, но руку не убирает. И по его юношескому лицу пробегают мгновенный трепет. Губы едва заметно вздрагивают, и он слегка приоткрывает рот, чуть-чуть, так что становятся видны его восхитительно белые юношеские зубы; и это движение его губ раскрывает тебе глаза на то, как бесподобно хороша эта его подернутая росой, покрытая лишь тенью пуха верхняя губа с короткой, нежной ложбинкой, от которой у тебя слабеют ноги, которая вынуждает тебя прикрыть глаза и глотнуть... Он, Фонсик, все еще подыскивает слова, но ты опережаешь его вопросом: «Как тебя зовут?» – «Фонс». – «Фонс – ну и? У тебя что, фамилии нет?» – Ты должен звучать жестко, значительно жестче, чем тебе самому бы хотелось. – «Фонс... Фонс Звартпринс».¹

Вокруг вас ни души, и все же ты говоришь: «Знаешь что? Садись-ка в машину, мы поболтаем где-нибудь в другом месте. А то на нас все глазают». И ты отщелкиваешь замок дверцы и кладешь руку на край, чтобы открыть ее, – и, Мышонок, ты касаешься его руки. Ты касаешься руки

¹ Черный Принц (*нидерл.*)

Фонсика, и это – как если бы ты никогда прежде в жизни своей не испытывал ничего подобного этому мгновению... Это рука Вечного Зверя, и если тебя спросят потом, жар или холод исходили от нее, ты не будешь знать, что сказать: это *его* рука – все, что ты сможешь ответить...

– Ну хорошо, ладно, и что же он делает?

– Он садится в машину.

– Слава тебе, Господи.

– Как только он садится, ты захлопываешь дверцу и трогаешься с места. Довольно неосмотрительно с твоей стороны, поскольку этим ты выдаешь себя: ты не в состоянии скрыть страх, что он все еще может выскочить, отвернуться от тебя и уйти, за угол, по улице, переулочком, и вот вдруг пропал, сколь не мечись в тупиках... Вопрос в том, сможешь ли ты после этого жить и что это будет за жизнь – без Фонсика... И ты, хоть и нет в том нужды, мчишься сломя голову, будто опасаясь, что он перепрыгнет через низкую дверцу твоего открытого автомобиля и выскочит. При левом повороте ты в некоем опустошительном страхе чувствуешь, как его тело отдаляется, хотя и по-прежнему соприкасается с твоим, но, забирая вправо, ощущаешь его плечо и бедро, прижимающиеся к тебе, и у тебя темнеет в глазах, и ты призываешь на помощь весь свой рассудок и хладнокровие, чтобы безопасно закончить поворот. Ты несказанно мил, когда, до предела взвинченный, летишь в смертельной агонии любви. Фонсик чувствует это и время от времени посматривает на тебя. Он все еще спокоен и смущен, и робеет, но он чувствует, что у тебя... к нему... есть что-то... что ты хочешь чего-то... от него... Он в точности не знает, что именно, но сам тон, его звучание, его сокровеннейшая, потаенная мелодия возвещает ему, что то, чего ты от него хочешь, должно случиться... Ты не прикасаешься к нему. Я хочу сказать, что ты всякий раз чувствуешь его тело, но не дотрагиваешься до него в греховной, омерзительной

манере, как делают это автомобилисты, пользующиеся беззащитностью молоденького попугайчика... Ты начинаешь разговор о его внешности и одежде – как можно более спокойно, дружелюбно, тщательно подбирая слова. «Ты потрясающе выглядишь, Фонс, – произносишь ты. – Ничего, что я так? По правде говоря, нет для меня большего удовольствия, чем с ходу объявить об этом мальчику, если он очень красив. Меня зовут Хенк». – «Ой, да что вы», – произносит он своим светлым голосом и смотрит на тебя, и в его взгляде ты читаешь восхищение и то, что ты кажешься ему невероятным красавцем и симпатягой, и он непременно сказал бы тебе об этом, если бы только осмелился. Он так застенчив... Ты слушаешь?

Меня немного удивило, что Мышонок лежал совершенно безмолвно, прикрыв глаза.

– Ну конечно, я тебя слышу. О, Волк, я не знаю, что я сделал бы, окажись я с ним наедине, в комнате, в лесу... Я в самом деле не знаю, решился бы я приблизиться к нему... Понимаешь, что я хочу сказать?

– Ты захотел бы... встать перед ним на колени?

– Да!

– И все же этого тебе делать нельзя. Он может неправильно это понять. Ты его смутишь. Лучше не говори ему, что боготворишь его. Запечатлей это в своем сердце.

– Хорошо.

Опять неплохо сказано. Мышонок мечтательно лежал на спине, раздумывая над моими доводами, и, казалось, не торопился. В тишине мои мысли опять устремились в прошлое и уцепились там за одно воспоминание: когда это было – лет девятнадцать, двадцать назад? Вполне возможно. Тогда, в начале 50-х, а может даже в конце 40-х годов, в Амстердамском Королевском Музее проходила большая выставка под названием то ли «Сокровища искусства из Вены», то ли «Венские шедевры». Я побывал на ней, и там,

в вестибюле музея, или в любом случае в начале экспозиции – от которой у меня в памяти не осталось ничего, кроме уродливых средневековых кубков из горного хрусталя и наполненных безобразными самоцветами дароносиц, – стояла деревянная, раскрашенная в лазурь, золото и телесный цвет статуя – выше человеческого роста, – изображавшая Гавриила, Ангела Благовещения. Разворачивавшаяся вблизи его губ – наподобие растянутого мирлитона¹ – девизная лента, изваянная поверх складок его голубого одеяния, прикрывающего плечо и руку, несла на себе надпись, выполненную готическим шрифтом в стиле, столь отличном от общепринятого, что прочесть ее я не сумел. Я то присаживался, то расхаживал по вестибюлю, и так и сяк разглядывая статую. Время от времени я порывался уйти, с тем чтобы вернуться позже, но у меня не было денег на повторные посещения. Таким образом я провел вблизи статуи несколько часов, всю вторую половину дня – сидел на скамейке, стоял в углу и рассматривал ее. В конце концов, я начал опасаться, что зрители заподозрят меня в намерении испортить статую или решат, что у меня не все в порядке с головой. Поэтому я не слишком часто подходил к ней или усаживался вблизи нее, но старался по возможности держаться в стороне, а также частенько укрывался за учебными группами. У меня не было денег на каталог, или я воображал себе, что не было. Много позже я не то услышал, не то прочел где-то, кому принадлежала эта статуя. Созерцая ее, я проникался пониманием вещей, которых не понимал прежде. Впервые за всю мою жизнь я понял, чем объяснялось существование людей, способных идти на затраты, приносить жертвы и ввязываться в немислимые хлопоты для того, чтобы купить шедевр, присвоить его, завладеть им или заказать его изготовление. Я не догадывался, что я и

¹ Музыкальный инструмент, нечто вроде «тещиного языка».

сам – художник, и тем не менее впервые в жизни понял я, что существует нечто, именуемое словом «искусство» и что оно – превыше всякого рассудка и здравого смысла. Тем временем хлынул дождь, за окнами потемнело, и в музее загорелись лампы. Статуя изменилась, и тем не менее оставалась той же самой. Казалось, она существовала всегда. И вот наступило время закрытия музея.

Отчего мне явилось это воспоминание? Теперь я понимал почему или, по крайней мере, полагал, что понимаю. Тогда я в самом деле понял кое-что, отнюдь не все, но в то время это и не было возможно. Что заставило меня, мнительного, оробелого, часами кружить, сидеть, стоять около статуи Ангела Благовещения? Человек, которому отпущен долгий век, порой получает шанс кое-что понять. Трижды по семь лет пропащей моей жизни прошло с тех пор, когда Ангел Благовещения подал мне знак, и вот теперь, через двадцать лет беспросветного херовода мне было дано истолковать его.

– Ну что ты маешься, – сказал Мышонок. – Что там опять?

– Да нет, ничего. Просто вспомнилось кое-что. Дурацкий, в сущности, случай. Могу рассказать, если тебе не скучно. Было дело. Когда я жил в нашей Индии¹, на острове Флорес...

– ...была там одна тюрьма, не иначе, исправдом какой-нибудь, или трудовая колония... Ох, Боже ты мой!

– Да нет, нет, вовсе нет! Речь совсем не о том. Со мной и другое бывало! Нет, там, на острове Флорес, знал я одного хирурга. Совсем молодой, лет, я думаю, двадцати семи. Повезло ему несказанно, поскольку он смылся в Америку прямо перед началом японского вторжения, в армию его там не забрали, так что доучился и диплом получил.

¹ Индонезия получила независимость от Нидерландов в 1949 г.

Человек этот делал операции по какой-то глазной болезни в госпитале под эгидой одного римско-католического монастыря. Остров Флорес. Цветок архипелага. Одно уже это. Я имею в виду, всего-то и работы было у него: эти операции, одна за другой, просто конвейер, и одна-единственная болезнь. Его звали Флорис, Флорис на острове Флорес, пове-ришь ли! Тронуться можно от таких штучек, и тем не менее. Нет, все-таки не так: Флорис был не он, а его брат, но об этом позже. Ну никто ж тебе ни в жизнь не поверит! Пред-ставь, я был знаком с одной дамой, звали ее г-жа Поллак Даниэльс, и было ей 74 года, и все зубы, в том числе корен-ные, были у нее свои. Один, правда, шатался. И вот она вре-мя от времени вытаскивала его и клеивала обратно син-тетическим клеем из тюбика. Нет, я не рекламирую клей. Я-то что могу поделывать, раз все это именно так и я сам, лич-но, это пережил. Однако рехнуться от этого можно...

– Не бывает небывалого... Дальше давай.

– Оперировал он дай боже. Сперва станет на колени, помолится, потом примет на три пальца коньяку, который ему старшая сестра отмеряла мензуркой из аптечного шкафчика. Тут у него руки больше не трясутся. Но уж тог-да всё – больше ни капли. И вот как-то раз одна заезжая ме-дицинская макака поведала ему, что все зависит от какой-то сотой миллиметра, через которую он проходит своим лан-цетом. Все дело, мол, в точности: на сотую, тысячную долю в сторону, и глаз потерял. Хирург-то это, конечно, знал, теоретически, однако таких мыслей никогда себе не позво-лял. И вот из-за того, что эта макака ему наплела, он восемь дней не мог оперировать, а только лежал и трясся в посте-ли, со скрюченными пальцами и с судорогами в руках. И в порядок пришел лишь тогда, когда сукин сын опять убрал-ся ко всем чертям. Но я не об этом. Дело было вот как: хи-рургу этому разрешили остаться, но поставили условием вступить в орден и забыть про женитьбу. А он уже был

обручен. Ему хотелось остаться в этом госпитале. А они были против, потому что он был среди них единственный белый. И вот они искали, к чему бы прицепиться, чтобы от него отделаться. Но у них ничего не вышло, потому что он пошел на их условия. Он вступил в орден и сказал своей нареченной, Агаткой ее звали, двадцати четырех лет: «Я хочу остаться здесь и делать операции. Тебе ведь нравится Флорис?» – «Нравится». Флорис – это был его брат, двумя годами младше. «Тогда женитесь. Выходи за Флориса». Сказано, сделано. Бредовая история, а? Не знаешь, что и подумать, вот ведь как. Ясное дело, такие вещи случаются, но что ты будешь с ними делать, вот вопрос. Он все еще в том монастыре, но вот совсем недавно я слышал, что ему там несладко. За это время он начитался всяческой специальной литературы и пришел к выводу, что в смысле любви он поклонник Греческих принципов, но, к несчастью, его тянет только к белым молодцам и ребятам, а там ведь белого днем с огнем не сыщешь. Что же до Агаты, то она с Флорисом весьма удачно выкрутилась: второй выбор можно смело назвать первым. Сухой из воды вышла, так сказать. А вот доктор Глазутех в слезах неутешных. Я все еще от него письма получаю. Все до единого – с Флореса. Почта оттуда ползет четыре месяца, потому что корабль на Яву отходит раз в квартал. Надо бы ему экспресс-почтой мальчишку послать, но у меня и без того горы корреспонденции. Просто голова пухнет.

– Да, – задумчиво проговорил Мышонок; тон его не был ни раздраженным, ни грубым – по крайней мере, уже кое-что. Но теперь я пытался – втуне – нащупать связь между инцидентом с архангелом Гавриилом и историей доктора Глазутеха и его брата Флориса. «Да будет мне по слову Твоему»¹, – вот что объединяло обе притчи. Но ведь

¹ Лука 1,26-38

изречением этим можно было истолковать что угодно – в сущности, любую историю. В обеих, однако, речь явно шла о призвании, никто бы не стал этого оспаривать. В то же время я не мог объяснить, почему я рассказал Мышонок вторую историю, а не первую. Вот ведь штука, подумалось мне, а ведь я попросту стеснялся. Захочет ли еще Мышонок слушать меня, если я решусь рассказать? Шанс был ничтожный, но попробовать стоило. Я поежился без видимой причины.

– Мышонок, мне нужно еще кое-что тебе рассказать. Это займет недолго, но я хочу, чтобы ты выслушал. Мне страшно... мне всего страшно. Если я расскажу, я снова буду делать все, что ты захочешь. Всегда. Я ведь не просто так прошу. – Боже, боже, что за жалкий скулеж. Какая же я размазня. – Ты в самом деле должен позволить мне рассказать.

– Ну, что там, братишка, что такое? – Мышонок вдруг обнял меня. Меня смущали его ласки: я не осмеливался принимать их, опасаясь, что не смогу жить дальше, если когда-нибудь их лишусь.

– Я никуда не гожусь в постели, о зверь мой.

– Да нет же, брат Волк.

– Но Господь – в любом случае, Матерь Его – знает, что я люблю тебя, и *как* люблю. – Лучше бы я попридержал язык: это все подпадало под рубрику «патетика». Тем не менее я продолжал в том же духе.

– Ты позволишь мне рассказать?..

– Ну конечно.

– Совершенно... совершенно чистосердечно, скажем так?

– Совершенно чистосердечно. – (Фу, какая все это мерзость).

– Ну давай же, Волчушка.

– Это... это случилось... – Я колебался. Неизвестно, что меня останавливало, но я не мог так сразу приступить к тому, о чем собирался рассказывать. – Это было... однажды

мне приснился сон... Год назад или около того. – Я вновь замешкался. – Временами... я придаю снам некоторое значение. Иногда... они много значат... – Что за бредятина.

– Да, Волк, я тоже. Давай дальше. – Невозможно выпытать, запасался ли Мышонок терпением для моего рассказа или же в самом деле хотел услышать его, да и, по правде говоря, я был слишком близок к отчаянию и чересчур самолюбив, чтобы исследовать этот вопрос до конца.

– Этот сон приснился мне где-то год-полтора назад. Да, мы с тобой уже были знакомы. Не думаю, что я тебе его когда-нибудь рассказывал. Мне снилось, что у меня вечеринка, и что она затянулась допоздна. Это было на Аудэзййдс Ахтербюргвал¹, где я прожил лет шесть, в Амстердаме, наверху, со двора, в третьем этаже, с Вими². Странно, что во сне вечеринка была именно там, ведь я оттуда уже восемь лет как съехал. Да, не знаю, с чего бы это? Однако было уже совсем поздно. Шум и громкие разговоры поутихли, поскольку и гости тоже постепенно разбредались. Дело шло к утру. Народу, думается мне, оставалось человек шесть-семь. Комната была заставлена мутными стаканами и пепельницами, полными окурков. Как водится, виночерпие со временем сделалось более непринужденным. Каждый наливал себе сам, доставая выпивку из холодильника или набитого бутылками кухонного шкафа. Мы толпились в той самой крошечной кухоньке и близ нее, ты-то ее никогда не видал, но ее было не миновать по пути из гостиной в спальную каморку, которая, вообще говоря, находилась в другом, нежилом доме на углу; но я сейчас не об этом. Тогда, во сне, к утру, нас оставалось всего двое-трое. И вот в этой кухоньке, прислонившись к шкафу, стоял молодой человек лет тридцати, со стаканом для виски в руке, но он не пил

1 Улица в Амстердаме, где Реве жил в 60-х годах.

2 Вим Шумахер, первый возлюбленный Реве, роман с которым продолжался с 1956 по 1963 год.

или почти не пил – алкоголя, я имею в виду. Он показался мне чрезвычайно привлекательным. Я никогда не встречал и не видел его раньше. Одет он был просто, в ладно сидящую, но не броскую одежду: серые брюки и аккуратную белую или бледно-голубую льняную рубашку с распахнутым воротником. Этим совершенно обыкновенным, незатейливым одеянием подчеркивалось его великолепное сложение. Он стоял, возможно, не без некоторой рисовки, прислонившись плечом к кухонному шкафу, слегка скрестив ноги, однако это его не портило. Он мог стоять в этой позе и не казаться кокетливым. Он ни в ком не нуждался, или, по крайней мере, так оно казалось. И рядом с ним тоже никого не было. Чувствовалось, что он много чего повидал на своем веку, но это не превратило его в подлеца или шельму. Притяжение, исходящее от него, было чем-то иным, нежели... ток крови, Мышонок... как бы это выразиться. Послушай: я трачу столько времени на рассказ, а ведь во сне все происходило в то же самое время, одномоментно. Я также понял, мгновенно и сразу, что это был Господь. Как я это почувствовал, не знаю. То, что я ощущал, была не робость, а некое странное, двусмысленное любопытство, даже какое-то искушение поиздеваться. Некоторое время он стоял один, с ним никто не говорил. У меня была хорошо известная тебе склонность, повадка, которая заставляет человека фамильярничать с теми, кто выше его по положению, – к примеру, внушает дерзость обращаться к ним просто по имени, дабы показаться значительнее, чем ты есть, в отношении других или себя самого. Примерно то же происходило со мной. Я подошел ближе, остановился рядом с ним и чужим, трезвым тоном произнес: «Как поживает Господь Сил?» Стоило мне сказать это, как я сам и всё вокруг внезапно показалось мне неопикуемой бессмыслицей. Я не находил слов, чтобы исправить совершенную оплошность. Но его это не смутило. Он мельком глянул на меня. Затем

ответил: «Мое избавление началось». И тут я проснулся. И все, Мышонок. Что ты об этом думаешь? – спросил я, помолчав, несколько стесненно.

– Очень красиво, Волк.

– В самом деле?

– Да, очень красивый сон.

Я отнюдь не был в этом уверен. Мне скорее казалось, что сон был банальным и в то же время в высшей степени маловероятным отображением чего-то, некогда пережитого кем-то в действительности. И к тому же он был таким торжественным, этот сон, и так тщательно упрямочен, и так восхитительно подготовлен к изложению.

– Мышонок, меня тошнит от таких вещей.

– Ах, да отчего же, Волк. Ты радоваться должен, что видишь такие сны.

«Радоваться, что видишь такие сны». Сон о матери, недель через семь после ее смерти, был также кусочком готовой к употреблению мифологии. И все же воспоминание опять глубоко меня взволновало, и картина разворачивалась передо мной – на сей раз с невиданной для меня резкостью – как некий затянутый фильм, снятый самыми элементарными средствами: я видел мать на прогулке в лесу, в сопровождении человека, которого я знал и не знал, я имею в виду – я знал его и в то же время не имел понятия, кто это такой, если можно удовлетвориться подобной блистательной формулировкой, – и который ни на мгновение не обратил ко мне лица. Мать казалась счастливой, не озабоченной, как прежде, и все последующее утро я был исполнен этим сном в молчаливом ознобе благодарности и счастья.

– Да, может и так, Мышкин-мишкин. В любом случае, это лучше, чем сновидения кандидат-католика А.¹ Тут мне

¹ См. «Письма к кандидат-католику А.»

повезло, поскольку его сны, когда он их рассказывал, требовали от слушателя чего-то совершенно запредельного. Обычно кандидат-католик А. видел сны примерно следующего содержания: он находится в гостинице, которая, в сущности, вовсе не гостиница. Он стоит посреди комнаты, и из этой комнаты – которая, в сущности, не совсем комната, а нечто вроде прихожей – выходит во двор, но, в сущности, двором это назвать нельзя, поскольку да, это улица, которая не улица, а что-то вроде подземного перехода, прорытого под собственно улицей. И это было только начало. Потом появлялись разнообразные рестораны, перекрестки, птицы, дороги, балконы и корабли, которые, в сущности, являлись не тем, чем являлись, а чем-то совершенно иным или в то же время еще чем-то, кроме того, чем были. Я в этих его снах никогда ничего понять не мог. Если днем и без того все черт знает как запутано, то уж по крайней мере ночью более-менее имеешь право рассчитывать на то, что сможешь хоть в чем-то разобраться. Боже праведный, чего ради выходить из комнаты, которая, по сути дела, не является комнатой, и таскаться по улицам, которые, «в сущности», вовсе не улицы? По мне, так лучше уж дома посидеть.

Глава вторая Собственно жизнь

Хюйсу Ван Бладелу¹

(А бывают и такие, что и вовсе больше не решаются за порог ступить – но это, опять же, совершенно другая история.)

– Расскажи еще немного, как у него дома, у Фонсика, – тихонько попросил Мышонок. – Чем он вообще занимался? У него были приятели?

– Нет, приятелей у него не было. Время от времени он приводил домой какого-нибудь мальчика, чтобы поиграть с ним, но того сразу же отпугивали рев, рык, вопли и скандалы дядюшки. После этого мальчика было уже калачом не заманить, хотя Фонсик и спрашивал – когда ты ко мне зайдешь? Есть у тебя заводной поезд? – в надежде на то, что вдруг мальчик позовет его к себе. Но такого никогда не случилось. Так что он рос одиноким, и в нем росло некое страстное желание, жажда, какой дотоле ни одному мальчику изведать не доводилось. Временами, правда, у дверей появлялся мальчуган, посыльный из лавки, в толстой пахнущей морозом черной куртке из грубого сукна, с поднятым воротником; он оставался в прихожей, у самых дверей, чтобы не напустить в дом зимнего холода, и потирал руки и топал ногами, ожидая, когда ему вернут пустой ящик, корзину или деньги, а Фонсик следил за ним из кухни или через приоткрытую дверь, или с чердака, если был наверху – и тогда, подкравшись к открытому чердачному люку, он ложился на живот и разглядывал мальчика: светлые,

¹ Реве жил у Хюйса ван Бладела, с которым его связывали чисто дружеские отношения, в городке Веерт (провинция Лимбург) в 1972 – 1975 гг.

разметавшиеся по лбу волосы, маленькое ухо, наполовину скрытое поднятым воротником, – и он, Фонсик, не мог ни выразить, ни осознать, что с ним происходило. У него, конечно, имелись предположения, но настолько необычные, что ему казалось, никогда он не сможет больше жить среди людей: мысли, которые высказать нельзя, потому что сам их не понимаешь. Узнают – и умрешь, как тот кролик, которого нашли в клетке поутру – мокрого, совсем холодно-го... Он думал о том, чего сам не осмелился бы ни прошептать, ни сказать вслух: а что, если мальчик вдруг пройдет дальше, к двери в комнату, и еще дальше, в саму комнату, и усядется в ветхое, потертое кожаное кресло, и заявит фонсиковой тетке: «Этот кусок сыра я только для виду принес. На самом деле я пришел к Фонсу. Я останусь здесь жить, потому что я остаюсь с Фонсом. «Фонс, Фонс, не Фонсик», – сказал бы он. – Я стану помогать вам после школы, и пусть ваш муж мне для вас тоже работу задает. Но я никогда больше не расстанусь с Фонсом, никогда больше. Это невозможно». И вот как-то раз, когда Фонсик предавался таким раздумьям, вдруг скрипнула половица, и тетка, завидев его лицо в чердачном люке, прыснула со смеху и крикнула:

– Эй, там! Акробат чердачный! Смотри, убьешься! – Как говорится, Мышонок, – с седьмого неба на землю. Юный Король-Греза.¹

– Какой он был из себя, Волк? Я имею в виду, когда лежал на полу рядом с люком. Что было... во что он был одет?

– В то же, во что и сейчас, Мышонок, когда ты встретил его на улице и усадил в машину. Тогда он был одет в то же самое. Ведь это – настоящая мальчишеская одежда. Когда он лежал на чердачном полу и смотрел через люк вниз на лестницу, на мальчика, который занес что-то в

¹ Очевидно, намек на одно из прозвищ, данное юному Людвигу II Баварскому (1845 – 1886) за его красоту и мечтательность.

прихожую, в этой его толстой суконной куртке, пахнувшей уличным холодом, на нем, совсем как сейчас, был тоненький белый свитер с круглым стоячим воротником и длинными рукавами. А под этим легким белым свитерком была все та же тоненькая маечка из крупноячеистого белого хлопка, как та, что на нем сейчас, когда он сидит в машине. И те же самые брюки.

– Как он лежал возле этого люка? Спиной вверх? На животе?

– Да, Мышонок. На пузике. Вверх спиной. На нем были стоптанные серо-голубые баскетбольные туфли, резиновыми носками которых он упирался в пол, чтобы свободно болтать пятками, вместе-врозь, и время от времени бесшумно ими постукивать. Из-за этого его щиколотки приподнялись над полом и тонкие бархатные брючины сползли складками в ямки под его мальчишескими колготками. Потому что, Мышонок, на нем были все те же брюки, уже тогда, те же самые брюки из того же тонкого, потертого черного бархата, что невесомым бременем лежал на его юных холмиках, обнимая их складками безмолвной неги, будто рвущийся с губ поцелуй невыразимой нежности... Он свесил из люка свою светловолосую мальчишескую голову, вытянув покрытую тенью пуха шейку... Его ладони и локти лежали на краю люка, и из-за этого положения рук его – уже коротковатые – свитерок и маечка слегка задрались, так что над краем брюк, над узким ремешком его бархатных мальчишеских штанишек, прямо над мальчишеской ложбинкой и сразу под талией, обнажилась неслыханная ничейная земля любви, узенькая полоска его непорочной, несказанной, залитой пыльным чердачным светом, золотистой мальчишеской спины...

– Да, да... Волк... но что мне сейчас с того? Это же было давно, раньше... Ведь теперь-то он сидит рядом со мной, в машине?

– Ну конечно, Мышонок. Но я тебе все это рассказываю для того, чтобы ты точно знал, как он был одинок тогда, в той же самой одежде, которая сейчас на нем. Та же одежда, в которой он тогда так страстно жаждал и мечтал, и томился, один-одинешенек, и спиной вверх лежал у чердачного люка: это одеяние юношеского одиночества...

– Да, Волк. Как... как печально... я имею в виду, так прекрасно... Он все еще столь же одинок, в сущности, а? Или нет?

– Да, Мышонок, вообще говоря, да. И туфли на нем те же самые, те же дешевые стоптанные мальчишеские туфли, с тех самых времен.

– Волк, Волк...

– Да?

– Послушай-ка. Я хочу быть с ним ласковым. По-настоящему нежным, понимаешь. Ах, Волк! Я хочу делать с ним только то, что ему самому будет приятно и сладко. Он ведь такой ужасно милый. Ну, мне кажется, он в самом деле милый. Я так боюсь поступить с ним дурно. Я не хочу... Не хочу грязи. Не хочу, чтобы его били. Этого я не хочу! Не хочу, слышишь, в самом деле. Не хочу!..

– Педрила безмозглый, – процедил я про себя. – Слабак.

– Что? Что ты там такое говоришь?

– Это уж мое дело. Что говорю, то и говорю. Любовная сцена на сорок шесть страниц, Мышонок, милостью Божьей и Божьей Матери, не имеющая себе равных среди книг, написанных и воспетых в истории всемирной литературы, одобренная письменной инспекцией образования; о любви, о любви и ни о чем ином, кроме любви.

Я задумался. Любовная сцена на сорок шесть страниц, подряд, куском: вот так сказанул. Какой объем принято считать за страницу? Книжная страница насчитывает, как правило, от 375 до 425 слов, изредка чуть больше. Если бы я все же осмелился просчитать все задание, мне пришлось

бы сразу округлить объем страницы до 500 слов. Тогда получилась бы любовная сцена не менее чем из 23.000 слов – о любви и ни о чем ином, кроме любви. Справлюсь ли я? Мне бы этого хотелось, внезапно осознал я с дрожью, пронизавшей и подхватившей меня, как подхватывает ветер сорвавшийся осенний лист, или внезапная волна – запоздалого купальщика в стыллом сентябрьском море.

– Нет. То есть да, – пробормотал я. – Но не без Твоей помощи.

– А? Ты о чем?

– Я должен поразмыслить, чтобы точно представлять, как выглядит Фонсик. Вот вы въезжаете в лес. Сперва мне нужно все разложить по полочкам. Можно, я немного подумаю? Тогда, так сказать, перед моим мысленным взором все выстроится по порядку и займет свои места.

– Ну хорошо.

«Склони ко мне ухо Твое, Владычица, – проговорил я про себя. – К Тебе о помощи взываю. Пусть у меня получится. Ты уже дважды мне помогала. Возможно, Тебе не стоило этого делать, не знаю, это дело Твое. Но помоги мне сейчас, в третий раз... Речь идет о сорока шести страницах. Послушай меня. Не о сорока шести страницах прошу, а уж обо всех пятидесяти. Пять десятков страниц. Четырьмя больше, четырьмя меньше, какая Тебе разница? Стало быть, любовная сцена из 25.000 слов, о любви и ни о чем ином, кроме любви. Помогите мне, Государыня... Ты оставила мне жизнь, Ты обрекла меня на это существование, которого я не выбирал, не правда ли? Что значат для Тебя эти пятьдесят страниц, Ты же сама ни единой буквы никогда не прочла! Для этого Ты слишком... Послушай. Если Ты поможешь мне, если у меня получится, я всю жизнь свою, отныне и навсегда, буду повсюду открыто славить и воспевать имя Твое. Даю слово, и сдержу его». (Если получится), – добавил я еще раз, для верности. (Сдержу ли я обещание?)

Может, да, а может, и нет. Можно ли было на меня полагаться? Временами можно было подумать, что да, но это было не так, поскольку я был вероломен).

– Я оставляю это на Твое усмотрение, – хрипло пробормотал я.

– Что ты там? О чем ты?

– Мышонок, сейчас ты вместе с Фонсиком заезжаешь на широкую, безлюдную лесную дорогу. Ее обступают высокие старые буки с толстыми шершавыми зелеными стволами, на которых в давние времена мальчишки нацарапали свои имена: начальные буквы имени и фамилии, две последние цифры даты; но их самих уже давным-давно нет на свете, и вырезанные ими много лет назад письма привольно разрослись в нерасшифровываемые загогулины, шишки и наросты... В этот лес уже почти никто больше не ходит. Тропинки поросли зеленоватым мхом и нежной, тонкой травой. Кроны столетних буков смыкаются над вашими головами в сквозной светло-зеленый свод. Ты петляешь в боковых дорожках, которые неизменно оказываются еще покойнее и заброшеннее предыдущих, если только это возможно... Но по-прежнему у вас над головами эта кружевная зеленая арка, и вы едете и едете под ней. И вот тропинка обрывается, и вы оказываетесь на небольшой четырехугольной прогалине. Когда-то, много лет назад, здесь была вырубка, но совсем небольшая, поскольку высоко вверху окружающие ее кроны сомкнулись в зеленую листовенную крышу. Здесь, быть может, за всю человеческую жизнь никто не побывал. Слева стоит камень, что-то вроде колонны или полуразрушенного обелиска, на котором был выбит и раскрашен какой-то текст, но из окна машины видно, что буквы можно прочесть с тем же успехом, что и мальчишеские инициалы на вековых стволах. Серый, сухой мох угнездился в останках надписи, столь изъеденной непогодой, что не всякий догадается, что она когда-то там

была. Должно быть, этот камень был установлен в память или как знак благодарности... но кому, чему? Ты притормаживаешь там, а затем из зеленых сводчатых ворот медленно, очень медленно въезжаешь под эту высокую, временами едва слышно шелестящую при вздохах ветра зеленую крышу над загадочной потаенной прогалиной, где стоит таинственный камень. Ты вновь останавливаешься, выключаешь мотор, и он, всхлипнув, умолкает.

Теперь вокруг совсем тихо, и Фонсик, неподвижный, сидит с тобой рядом. Ты тоже не двигаешься. Вы оба замерли в глубоком молчании. Тебе хочется что-то сказать, пусть даже нечто совершенно банальное: «Ну, вот мы и приехали», например, – но ты не можешь. Ты немного откидываешься назад, так, что твое плечо касается плеча Фонсика, и после этого не знаешь, что делать дальше. Твои руки скользят вниз по рулю, и пальцами обеих рук ты небрежно берешься за одну из трех рулевых спиц. Так вы сидите рядом, неподвижные, ощущая кружащее голову тепло друг друга. Ах, Мышонок, еще никогда тот, о котором ты так мечтал, кого ты все свои юные годы так страстно жаждал, не оказывался так близко и так далеко от тебя, почти недосыгаем! Одно движение, один жест, одно слово, одно восклицание может толкнуть тебя к Фонсику и его к тебе, так что вас больше никогда, во веки веков, никто, кроме Господа, различить не сможет... Но ты знаешь и то, что дрожь твоих губ и голоса, один лишь звук, одно лишь движение ноги или колена – окажись оно не верным звуком, не верным движением, но действием лишенном благодати – может отнять у тебя Фонсика навсегда...

– Господь с тобой, Волк...

– О, ты сделаешь тот самый жест, то самое движение, которое должен сделать, Мышонок, и ты произнесешь слово, которое должен произнести. Без паники: все хорошо. Я это сразу тебе говорю, потому что ты так страдаешь

от астмы... Да, там, в машине, ты разумеется всего этого еще не знаешь, но я тебе все это рассказываю, потому что тревожусь за твое здоровье – а что, если заложит тебе твою маленькую грудочку...

– Да не квохчи ты, ей-богу. Давай дальше.

– Ты еще не произнес ни слова, и Фонсик рядом с тобой тоже молчит. Твои руки поднимаются вверх по рулю, медленно, как бы на шаривая что-то, и ты воздеваешь их перед собой, словно для молитвы. Что тебе делать с ними? Ты дотрагиваешься до зеркала заднего обзора и ощупываешь его края, как будто бы оно было неверно установлено, хотя установлено оно безупречно, и как бы поправляешь его, безо всякой нужды, толкаешь, поворачиваешь, вновь отпускаешь и опять откидываешься на спинку сиденья, уронив руки на колени. И смотришь в зеркало, установленное так, что ты... видишь в нем Фонсика: он вдруг взглянул на тебя, и ты – на него... и как только вы увидели друг друга, как только ваши лица встретились в зеркале, ты снова замираешь, и Фонсик тоже. Его голова чуть заметно качнулась к тебе, но вот он вновь сидит неподвижно, и вы не сводите друг с друга глаз в этом маленьком прямоугольном кусочке стекла, бесцветном и в то же время как бы окрашенном, словно некий голубой бриллиант. Внезапная вспышка чувства опалает тебя осознанием: теперь можно говорить, теперь, одним движением руки, коснуться его... где-нибудь... теперь, сейчас!.. Но, как только ты ловишь его взгляд в зеркале, момент упущен. Ты видишь лицо Фонсика, как если бы это был не он, а совершенно другой мальчик, с виду тот же самый, но только еще более одинокий и еще более недостижимый... как принц, шагающий рядом с ним, разодетый в серебро и лазурь, в которого он уже давно и безнадежно влюблен; стало быть, тем меньше у тебя шансов, как смеешь ты питать надежду?.. Так безмолвно проходит время, истекает минута... Ты чувствуешь рядом с собой теплое, упругое

юное тело Фонсика, или, лучше сказать, ты чувствуешь только, что он – там, как будто от него исходит сияние, поскольку ты не дотрагиваешься до него, если не считать этого, почти нечувствительного, соприкосновения ваших плеч. Всем существом своим, всем телом, не прикасаясь к нему, ты ощущаешь его присутствие, но не видишь ничего, кроме его лица в зеркале. И это – как боль... Как если бы зеркало было зажигательным стеклом, направленным тебе в сердце... Этого не бывает, ты не веришь в то, что такое бывает, глядя на него в зеркало и видя его глаза, его лоб, его волосы, его мальчишеские ушки и... его рот, Мышонок, его рот... ты не можешь поверить, что он чем-нибудь одарит тебя, и ты взываешь к Господу, чтобы он послал тебе смерть...

– Да, но ведь я кажусь ему... Он находит меня... очень приятным, я думал?..

– Да, конечно, Мышонок, но ты же этого еще не знаешь, там, в машине?..

– Нет... ладно...

– Так вы смотрите друг на друга, в оцепенении. В лесу царит мертвая тишина. В зеркале ты замечаешь, как Фонсик сглатывает и чуть заметно шевелит губами, почти разлепляя их, но они все еще сомкнуты, и ты знаешь, что никогда, никогда, никогда не сможешь подобрать слов, чтобы сказать ему, как ты любишь его, как безумно ты его любишь, словно некий зверь в смертельном гоне, и что ты скорее умрешь, чем когда-либо сумеешь облечь в слова то, чего ни он, ни кто другой постичь не сможет. И в этот момент где-то высоко над вашими головами, в зеленом лиственном куполе происходит мгновенное движение. Легчайшее, почти неслышное дыхание ветра, и с переплетения ветвей срывается лист – маленький, еще зеленый буковый листок, чуть изогнутый, как миниатюрный лук – и с шорохом опускается на землю. Ваши взгляды,

оставив зеркало, следят за падением листка. Он колеблется, на мгновение замирает в воздухе, подхваченный легким восходящим дуновением ветра, и, трепеща, продолжает свое зигзагообразное падение, слева направо, мимо вас, и опускается на землю где-то перед машиной, за пределами вашего поля зрения. Вы оба невольно немного наклоняетесь вперед. И в то мгновение, когда лист должен вот-вот коснуться земли, вы встречаетесь взглядами, больше не в туманном зеркале, а наяву, непосредственно, глаза в глаза. И ваши руки встречаются, еще неуверенно, и по пути твоя левая рука касается правой руки Фонсика и поскальзывается на ней. Да, Мышонок, обычно говорят, что на чем-то поскальзывается ступня, нога: «...Нога его в темноте подземелья поскользнулась на том-то и том-то», но где ты читал, чтобы поскальзывалась рука? И все же: твоя рука поскальзывается на руке Фонсика, так и запишем, и с тех пор рука будет поскальзываться, потому что я – это тот, кто это пишет, Мышонок, и я написал это...

– Ну ладно, ладно...

– Вы поворачиваетесь – лицо к лицу, и в следующее мгновение оказываетесь друг у друга в объятиях. Да, как в книгах пишут, так оно и есть. И ты, сам того не желая, совершил движение, которое должен был совершить, Мышонок, – твоя ладонь поскользнулась на руке Фонсика, хотя ты и не собирался этого делать, а хотел обнять его сразу, не встречаясь руками. Так что движение сие было подсказано тебе Всевышним. И теперь тебе нужно произнести то самое слово, те самые слова, которые ты должен произнести, но что, какие? Вы молча обнимаете друг друга. Белокурая голова Фонсика покоится у тебя на левом плече, и шеей своей ты ощущаешь его рот, его тёплое живительное дыхание. Твоя голова лежит на правом плече Фонсика, губы трогают его шею, и левой щекой ты касаешься его левого уха. И тебя пронзает воющий, издевательски

свистящий страх, что вдруг ты скажешь то, чего нельзя, что у тебя вырвется слово, которое всему положит конец. Тебя трясет. Ты хочешь сказать: «Брат!.. Брат!..» Первые буквы уже корчатся на твоих губах, пытаясь раздвинуть их, но ты не произносишь их... Твой голос будто присыпан скрипучим песком, когда в конце концов ты раскрываешь рот, но лишь для того, чтобы сказать не то, что хотел, а нечто совершенно иное, непростительное, и вдруг ты слышишь самого себя, заикающегося: «Смерть! Смерть!» И немедленно вслед за этим в мозгу твоём проносится: «Дай же мне смерть! Дай мне смерть, что может быть лучше...»

Фонсик, словно дитя, тихонько и нежно дышит тебе в шею. Ты ощущаешь громкое биение его сердца, хотя голова его, как у спящего, надежно покоится у тебя между плечом и шеей. Он доверился тебе. По-прежнему напряженный, как только что, когда вы сидели рядом, – словно встревоженный, но в мертвой тишине затаившийся в ожидании зверь – он, исполненный нежного повиновения, льнет теперь к тебе своим податливым, худощавым мальчишеским телом, которое есть благостьня, и вздыхает полуоткрытым ртом: дыхание его шелестит из-за его на удивление крепких, безупречных, совершенных в своей неправильности юношеских зубов, зубов Зверя и Ангела... Ты чуть склоняешь голову влево, твой левый уголок рта находит левое ушко Фонсика, и ты касаешься его губами. Ты едва осмеливаешься притрагиваться к его ушку, ты едва осмеливаешься дышать. И все же ты гладишь его ушко, это светлое мальчишеское ушко, едва-едва, вытянутыми губами, всего лишь раз, проводя ртом справа налево, так что его раковинка, его светлое мальчишеское ушко чуть сжимается, а затем, лишь только твои губы покидают его пушистую бархатную кромку, вновь расправляется, словно бутон чудодейственного цветка любви, одно лишь прикосновение к которому, один лишь поцелуй дарует вечное исцеление...

И тогда, прямо в ухо ему ты шепчешь что-то очень странное... Да нет, в сущности, это совсем не странно, но ты-то думаешь наоборот... Ты говоришь: «Можно, я тебя поцелую?» Безумие, правда? И ты ощущаешь, как сотрепещет твое собственное горло, когда слышишь, как он произносит в ответ: «Да, да»... Красиво, Мышонок?

– Да, разумеется. Он такая прелесть... И дальше будет так же красиво? Ведь это же еще очень долго будет так же красиво?

– Да... Так долго, сколько Она соблаговолит... Та, что...

– Не занудствуй. Я целую его. Куда я его целую?

– Он откидывает голову, и вы опять смотрите друг на друга. Его рот все еще приоткрыт после того, как он произнес два эти слова, и ты глядишь на него, на его слегка разомкнутые губы, и это кружит тебе голову. Ты все еще не решаешься немедленно прильнуть к его губам. Ты целуешь его в глаза и успеваешь ощутить, как длинные юношеские ресницы щекочут твои губы, когда он смыкает веки. Ты трогаешь губами его лоб, затем мальчишеский его нос, красивый, крупный и все же такой детски-курносый, и целуешь его в живительное дыхание, в ноздри, и нащупываешь перемычку между носом и целомудренной, молчаливой верхней губой. И тогда, наконец, ты начинаешь целовать его рот, безмолвно, слегка раскрытыми губами, и, покачивая головой, поглаживаешь его губы своими, будто не желая или не умея поверить в то, что вот он лежит в твоих объятиях, с тобой и для тебя, и ты для него и у него, и вокруг него и сквозь него, и он сквозь тебя, с сердцем, колотящимся, как у тельца под бронзовой шерстью, когда он сосет мать, замерев у нее меж бедер... В сущности, Мышонок, ты не знаешь, что делать потом – так безмерно ты его любишь. Ты очень боишься сделать что-то, чего ты не хочешь, боишься, что выставишь его на посмешище, поломаешь его игрушку, скажешь ему что-нибудь гадкое,

чего ты вовсе не хотел говорить, и все же скажешь, но почему, почему?.. Или что ты сделаешь что-то, что есть грех, поскольку это непристойно: взимать от плоти до того, как вверил душу, благодати исполненную... как это сказать... Фигня это все, по-твоему? Или нет?.. Понимаешь ты меня?

– Моя не уметь говорить, моя все понимать, однако. Хватит тебе. Просто рассказывай дальше, и все! Это так красиво, Волк...

– Все, к чему я прикасаюсь, Мышонок, обращается в золото. А вот как там королева? Беспокоюсь я за двор. Да, ее ежедневный стол обходится баснословно дорого, но найдется ли при этом кто-нибудь, кто бы ей сказки перед сном рассказывал? Сказочник какой-нибудь? Ну да, у них, надо полагать, есть какой-нибудь придворный пастор. Вот ведь ужас-то, а? Богата – несметно, несчетно богата и при этом столь же безмерно одинока... Мы должны молиться за нее. Припадем к стопам другой, великой Владычицы, к ней воззовем: «Царица Небесная; Мати, Невеста и Дочь Сыну Своему, ниспосли утешение нашей королеве. Отряди ей Ангела с оперением наичудеснейшим, красавца пи-саного, и пусть он, примостившись на краешке постели, в спальне с дверью в дворцовый сад, без усталости рассказывает ей сказки, и пусть сотрясает ее сладостный озноб, и пусть никогда не охрипнет голос его...

– Господи, это, конечно, красиво, Волк, очень красиво... Но не лучше бы тебе...

– ...спуститься на землю, ты хочешь сказать?

– Ээ... да, а то этак ты ни туда, ни сюда... Ты должен как-нибудь опять рассказать мне про Двор, Волк, только не сейчас. Скажи... Королева умеет водить машину? Я имею в виду, права у нее есть?

– Она хотела точно такой же спортивный автомобиль, как у тебя, Мышонок, за двадцать шесть тысяч гульденов. И тоже кроваво-красный. Но умники при Дворе, которые

всегда все лучше знают, этого не допустили. Чересчур, видишь ли, дешево.

– Да, но сама-то она умеет водить, королева?

– У королевы международные водительские права, Мышонок. Такие дипломатические, исключительно для особ королевской крови. Выдаются в конверте из зеленого плюша. А сверху на нем еще такая маленькая корона. И больше ничего у меня не спрашивай, больше я ничего сообщать не вправе.

– Рассказывай дальше про Фонсика. Любовь, Волк. Только любовь.

– Ну, конечно. Что же еще, кроме этого? Ты ведь, Мышонок, и сам прекрасно это понимаешь, целуя и крепко обнимая Фонсика. Ты хочешь, наконец, погладить его, но как, где? Твои руки по-прежнему обвиты вокруг него, ладони твои покоятся у него на спине, прямо под лопатками. Ты ощущаешь пушок тоненького белого свитерка и под ним – квадратные ячейки белой сетчатой майки; и, даже не шевеля запястьями, не сдвигая рук, одними лишь кончиками пальцев ты поглаживаешь выпуклые квадратики в центре каждого из них, отчего, при желании, сквозь тонкую ткань свитерка всей ладонью можешь осязать кожу его нежно блестящей, горячей как огонь юношеской спины; но ты не сгибаешь пальцев и ласкаешь только выпуклые прямоугольнички майки под тоненьким свитерком, благоухающим молодым потом, свежестью кожи, юностью, прекрасной бедностью и юношеским одиночеством... Всего лишь сеточку под свитерком гладишь ты, и от этого мысли твои... принимают совершенно необычный оборот. Непрошенный оборот, и все-таки ты задумываешься, Мышонок... А что, подумалось тебе вдруг, если бы нити его майки в действительности были ячейками наброшенной на него, крепко стянутой сетки из невероятно прочного и вместе с тем невероятно тонко впивающегося шнура –

совершенно обнаженный, он уловлен в эту ловушку, его худощавое юношеское тело скорчилось в глубочайшем унижении, белокурая голова откинута назад, так что беспощадный шнур, впившись в его лицо, в нос и ушки, во все его золотистое юношеское тело, серебрящиеся пушком бедра, матово светящиеся юные ягодички и даже в его сокровеннейшую юношественность, оставит на них бесчисленные пламенеющие, бесконечно перекрещивающиеся квадратные отпечатки... Почему ты думаешь об этом, ведь ты любишь его и хочешь... встать перед ним на колени? Ты все еще шевелишь одними только пальцами, поигрываешь их кончиками на шнурках сетки... И при этом думаешь, а что, если бы в двух, трех, нет, четырех местах в этом сачке для мальчиков были бы еще шнурки, тонкие, но прочные, как сталь, – из тех, что, стянутые, уже сами не распустились – при помощи которых в каждом из этих трех, четырех мест сетку можно было бы еще туже, еще безжалостней, еще сильнее стянуть на юном, беззащитно обнаженном, скорченном теплом юношеском теле, так, чтобы нити впились в запрокинутое лицо и превратили бы этот носик, этот молящий о пощаде рот с влажными юношескими губами в несказанное число навеки запечатанных окон пыточных камер, в сладчайшие медовые соты агонии... Ты любишь его, Мышонок? Любишь Фонсика?

– О да, Волк, я люблю его...

– Ты затанешь шнурки этой сетки? Стянешь их туго... любовь моя?

– Да, – Мышонок судорожно глотнул.

– Я знал, мой любимый, что ты бы затанул сетку – туго, очень туго, еще туже, так туго и так сильно, как только смог, Мышонок-Медвежонок, Мышатики-Солдатики, потому что любить так уж любить, я бы сказал...

Я погладил – не цепко, не жестом собственника, но осторожным, благоговейным касанием: костяшками пальцев

и тыльной стороной ладони – светлый животворящий кинжал Мышонка – распаленный предыдущим рассказом, тот вновь воспрял в полной боевой готовности.

– Это очень красиво, то, что ты рассказываешь, Волк.

– Вон та свеча все тает, а твоя – все растет, красавец зверь... Так, плету что попало. – Да, все дело было в этом. Я слегка свесился с постели к метавшемуся пламени и впрямь немного укоротившейся свечи перед изображением Всесокровеннейшего, и задул ее. Перышко жирного дыма взмыло вверх и растаяло. «Несуществующий запах поджарки Господней», – пробормотал я про себя.

– Послушай, Мышонок. Я и не сомневался. Я думал: если бы Фонсик лежал перед ним, в этой до скрипа и треска натянутой, шило-острой пыточной сетке на теплом, скорченном, обнаженном светлом юном теле, визжа и моля своим светлым голосом, что сделал бы Мышонок? Разрезал бы сетку и освободил бы его, и утешал бы, и слизывал бы его мальчишеские слезы, нежно поглаживая и заботливо разминая бесчисленные пылающие от боли рубцы, или принялся бы искать три, четыре этих шнура, пока не нашел их и – со всей силой своих юношеских кулаков – не стал бы тянуть за них, до тех пор, пока все еще ласковая, слабая карающая сетка не превратилась бы в кошмар всех на свете красивых мальчиков, тысячекратно пылающую, опаляющую, настоящую пыточную сеть? Ты же хочешь, чтобы Фонсик визжал и молил, куда не охрип бы его голосок, почти не сошел бы на нет, или?.. Ты же... не распустишь сетку, Мышонок, зверь мой беспощадный?

– Нет... О... Нет, не надо... Дай я лучше сам... – Мышонок вновь принялся убаживать себя, и работа его насоса пробудила во мне некий орган, с шорохом угнездившийся в моей груди и запевший о том, о сем, бог весть о чем, но прежде всего о тайной, могущественной, глубоко

запрятанной и беспощадной, саму себя порождающей жестокости Мышонка.

– Да, давай, милый.

– Что я делаю с ним, что?

– Когда он в сетке?

– Нет, в машине. Дальше, я имею в виду.

– Твои руки медленно скользят вниз по его спине, Мышонок, и сквозь тонкий белый свитерок ты ощупываешь сетку его майки. Ты медленно поднимаешь голову и принимаешься водить губами по его лицу, и ласкаешь и целуешь его лоб, а потом утыкаешься губами в волосы и вдыхаешь его запах. Рот и подбородок Фонсика покоятся у твоего горла, Мышонок, и ты думаешь: «Почему ты не вонзаешься, чтобы... чтобы испить меня... чтобы оно хлынуло, красное, по твоим острым молодым зубам... почему нет?..» И твой рот согревает своим дыханием его гладкие светлые волосы, и ты вдыхаешь теплый аромат их, темно-русых юношеских волос... И он, полулежа, в полном молчании приник к тебе... И твои руки скользят по его спине, еще ниже, и внезапно ты ощущаешь под свитерком краешек его майки: эту прямую, пересекающую округлость спины, выпуклую кромку. Дальше ее прикрывает только этот белый свитерок, а еще дальше, еще ниже, над краем брюк... свитерок выбился наверх, и уже вот-вот, может быть, на расстоянии в пол-ладони его спина... может быть... обнажена... Хоть ты этого и не видишь, не ощущаешь, Мышонок, ты это знаешь... Откуда тебе это известно, ты и сам понять не в силах, но его спина, эта светлая, неприступной крутизны горная гряда, обжигающая и ослепляющая снежной белизной, там, между его свитерком и брюками, должна быть неприкрыта... Зачем ты родился, на что тебе жизнь твоя, Мышонок?..

– Нет... дальше... Я погладил его там, сзади... И вот...

– Кончики твоих пальцев задержались там, где под свитерком нащупали они узкую кромку маечки. Ты не

продвигаешься дальше, Мышонок. Да, на мгновение твоя левая рука спускается чуть ниже, задерживается на светлой округлости, которая, как ты знаешь, даже не глядя, не прикасаясь, должна быть открыта, и твоя ладонь наполняется покальывающим золотистым сиянием... Но ты не дотрагиваешься до него там, и рука твоя возвращается наверх и вновь касается спины – там, где одежда. Фонсик вздыхает... у твоего горла. И, вновь ощупывая нижний край его маечки под свитерком, ты, сам того не желая, вдруг задумываешься – а что, если бы эти ячейки в действительности были бы не сетью, но клетью, стальным метровым кубом, в которую ты, звякая замками дверцы, как в ловушку загнал бы Фонсика, раздетого до коротких, очень тесных черных бархатных штанишек: пыточный кристалл любви, в котором невозможно ни встать в полный рост, ни вытянуться в длину, лишь сидеть, скорчившись... И в этой клетке ты, словно зверя, выставял бы его напоказ мальчикам... двоим юношам, скажем, двоим приятелям, которых ты считаешь закоренелыми сладострастниками, двоим матросам, темно-русому и белокурому, алчущим Фонсика всем любонеистовым, похотным вожделием своего союза. Вот вы, все трое, стоите перед клеткой Фонсика, и ты зажигаешь свечу и видишь, как их дружба вздымается, вздыбливается у них в матросских штанах, когда ты мучаешь Фонсика на их глазах, то тут, то там кропя клетку расплавленным свечным воском, а он, тщетно пытаясь уклониться от капель, переползает из угла в угол... И сейчас, в машине, вдыхая теплый запах его волос, ты закрываешь глаза и думаешь о его горячем, исходящим потом агонии молодом теле в клетке – и как ты, в конце концов, отпираешь висячий замок и позволяешь Фонсику выползти наружу, сдираешь с его юного задика черные бархатные штанишки и предаешь его в руки двоих матросов, и они укладывают его между собой на широкое ложе неистовой

своей дружбы, в яростно скрипящую, квадратную постель соснового дерева – корабельную койку, тюремные нары и брачное ложе любви безысходной, поруганной и обесцененной... Они вертят Фонсика меж собой с боку на бок и с любезностями уступают его друг другу, но всякий раз тот, кому предложена юная попка, отвергает ее в пользу своего приятеля-морехода, желая, чтобы тот первым проложил путь в незащитный юношеский грот... До тех пор, пока тот, темноволосый, с такими же, как у Фонсика, темно-русскими волосами, больше не в силах сдержать вождения, в восьмой раз соблазнясь его бархатистым седельцем, и его темно-русый кинжал-насилник меж волосатых, безжалостных бедер наконец... вонзается...

– Он плачет, Фонсик?

– Да, Мышонок, плачет. Плачет от страха, боли и стыда. Так мило плачет, его всхлипы – почти что песня. В сущности, Мышонок, надо бы тебе его утешить.

– А это, про матросов, нельзя ли потом? Я ведь все еще просто сижу с Фонсиком в машине, правда? При чем тут матросы? Вообще-то от этих твоих басен здорово заводишься, да ведь за матросами небось потянется еще что-нибудь, одно, другое... Так ты никогда не доберешься до... Ну, не знаю... Я хочу только про Фонсика...

– Разумеется, Мышонок. Это все потому, что я раньше очень много ходил на кораблях. Там такое всегда! На борту без этого не обойтись. Там, Мышонок, практически никогда один не остаешься...

– Ну, ты это пропусти. Мы с Фонсиком наедине в машине. Вдвоем. Дальше. Что я с ним делаю, Волк? Расскажи, что я делаю. Давай.

– Теперь, Мышонок, ты будешь гладить его по-настоящему. То есть теперь ты хочешь как следует приголубить его, но не знаешь, с чего начать. Довольно странно, не правда ли: с целым светом перетрахался, а сейчас, обнимаясь с

Фонсиком в машине, не знаешь, как тебе его приласкать. И все-таки продолжать нужно. И это, как будто бы в тебе и вокруг тебя – зима, хотя на самом деле – лето... Я имею в виду не холод, но тьму в самом себе, темень зимних рассветов, когда не знаешь, имеет ли вообще смысл вставать... Ты осознаешь, Мышонок, что никогда, никогда не сможешь погладить его так, как надо, как бы безмерно, всепоглощающе ты его ни любила. Ты любишь его, но не смог бы найти для этого слов. И все-таки ты снова заговоришь с ним и дашь волю рукам, неважно, будут ли слова хоть что-то значить, сообщат ли твои губы и руки хоть что-нибудь, что ты хочешь, чтобы он узнал, почувствовал, навсегда... Ты гладишь его, Мышонок, но, дотрагиваясь до его ушек, спрашиваешь себя, не потрогать ли тебе, в конце концов, его шею и, приныкая к его губам, ты переполняешься ужасом потери, поскольку сейчас, прямо сейчас, твои губы не прижимаются к его вздрагивающему, пульсирующему горлу... Ты тихонько притягиваешь его голову к себе, к своей груди, ты скользишь взглядом по его шейке, и глазам твоим предстанет невыразимая волна кромки волос, и немного ниже – чуть выпирающий под побронзовевшей на солнце, пушистой мальчишеской кожей – его первый позвонок, который, как это всегда бывает у мальчиков, немного виднеется над низким воротником свитера... И при виде этого верхнего позвонка гладкой юной спины в тебе зарождается вопль, поскольку то, что ты видишь, не нагота того места, где начинается спина, и не его срам, но стыд всех стыдов, ночь безгласная, в коей царит безмолвие, – это его кость. И ты обнимаешь его теперь, все сильнее притягивая, прижимая к себе, не давая ему возможности ответить на твои поцелуи, потому что теперь его ни на мгновение, ни на долю секунды нельзя оставить без ласки, и тебе хочется сейчас только одного: чтобы он... чтобы он... пока ты прижимаешь его к себе... Нет больше ничего, Мышонок, кроме твоей

любви к нему и его... его животного вожеления, которое ты жаждешь насытить... Ты не выпускаешь его из объятий. Из-за руля ты пересаживаешься к нему на сиденье и раздвигаешь ему ноги, и тянешь его к себе на левое бедро, так что он сидит там, поерзывая, раскинув колени, как мальчик, что возится в объятиях своего тайно влюбленного в него братишки, и ты стискиваешь его ягодички, горячие юные полушария в черных бархатных брюках, и нежными рывками притискиваешь его к себе и впервые ощущаешь – не рукой, на ощупь, а естественно, через касание ваших тел – против твоего бедра, через твои и его брюки, его мощный ствол, невероятно сильный и крупный для столь хрупкого юноши... И он, сжимая тебя точно в тисках, начинает ерзать на тебе, подталкиваясь бедрами, сперва довольно робко, напуганный собственной дерзостью... «Тихо, тихо, детка, – говоришь ты ему совершенно обыденным тоном. – Успокойся, звереныш мой», – приговариваешь ты, и тискаешь и гладишь, тискаешь и гладишь его то напрягающиеся с каждым рывком, то вновь обмякающие юношеские ягодички. – «Сладострастный зверь», – шепчешь ты. И еще крепче прижимаешь его, Мышонок, а он придвигается к тебе в наивесстыднейшей похоти, вздрагивая, как зверь, как всесвященнейший распутный пес, Повелитель Преисподней, сидящий у тебя на колене, ерзая, как мальчуган, и дышит все чаще... Он больше не стесняется. Никто и ничто уже не помешает ему, ошеломленному, сейчас, сию минуту... И в тебе вздымается глас, долженствующий что-то возвестить, не твой собственный голос, но голос, говорящий за тебя... И он произносит: «Сын»... и ты хрипишь вдруг: «Сын»... и на мгновение отпускаешь Фонсика... и обеими руками хватаешься за распах своей светло-лиловой рубахи и одним рывком с треском разрываешь ее вместе с майкой и прижимаешь голову Фонсика к своей обнаженной груди. И рот его ищет, мгновение – и вот он пьет из тебя, слева, потом

справа, снова слева... и сосет, этот жаждущий зверь... И в этот момент твои руки вновь обвиваются вокруг него, скользят вниз по его спине, и кончики твоих пальцев впервые ступают на эту полосу беззащитной наготы, между краем свитера и поясом брюк, и ты кладешь на нее ладони и на мгновение ощущаешь, скользя дальше, то самое место, где, едва прикрытая брюками, начинается тропа живых и ложе мертвых: его юношеская лощина, залегающая меж двух светлых юных холмов... и вот... ты стискиваешь, изо всей силы обхватываешь его чресла, которыми ему предстоит... благословить тебя... и вновь ты хочешь что-то проговорить, пролепетать, прорычать, но не можешь... Ты просто внимаешь, ты вслушиваешься в его рот на твоей груди, как он жаждет, причмокивая, покуда его губы не отрываются от тебя, покуда подрагивания его юных бедер не переходят в содрогания и глухой стон, сродни рыданию, не вырывается из его горла. И вот он опять замер, прижавшись к тебе... Его левая щека прильнула к твоей обнаженной груди, глаза прикрыты, голова немного пригнута, будто он стыдится самого себя... Он льнет к тебе, все еще задыхаясь. Твои руки осторожно поглаживают его волосы, потом его правую щеку, правое ушко, и желание твое столь безмерно, что все, все, что бы ты ни сказал и ни сделал, оказалось бы напрасно.

«Человек Себя Самого не может спасти!»¹ – пробормотал я про себя. Я подождал, пока Мышонок не озадачится моим молчанием, чтобы продолжить рассказ о том, что и так уже давно было ясно, даже если я сам этого еще не знал. Свеча погасла, история, похоже, была окончена... или же она только начиналась? Было бы славно, размышляя я, если бы это когда-нибудь кончилось. «Вот начнут

¹ Цит. по Матф. 27: 42 «Других спасал, а Себя Самого не может спасти!»

они приставать к тебе с расспросами, что ты тогда скажешь?» – «Ах, да там будет видно». – «Что с Вами?» – «Мне нездоровится». Таким образом их можно упредить на целый ход, заранее, это правда, иначе г-жа С., супруга ухогорло-носа С. из города Г. не высказалась бы обо мне следующим недвусмысленным образом: «Он кокетничает своим нездоровьем». Можно, конечно, сказать для пущего веса: «Я болен. Я чувствую неодолимое влечение к Господу», но это не помогло бы: вторая часть подобного заявления явилась бы просто подтверждением первой. Но все равно я бы сказал это, решил я. Да, заявил бы, не задумываясь. Ничего не помогает, что бы ты ни делал, сказал бы я, совершенно спокойно и четко – судача ли в лавке с каким-нибудь Яном-Болваном, подвергаясь ли допросу доктора Всезнайки-с-Подзорной-Трубой – все кончается одним и тем же. Раздет ли Фонсик, одет, связан, закован, заперт или на воле вольной с Мышонком, любит ли он Мышонка и Мышонок – его, и я – их обоих, на свой незатейливый манер, и что бы мы все ни доказывали друг другу, чего бы не давали, чем бы ни жертвовали, чего бы ни желали, каких бы вечных клятв ни нашептывали, все само по себе было и будет тщетно и на веки вечные несовершенно. Я бы спокойно сказал: «Человек предполагает, а Бог располагает», или даже еще выразительней: «Человек Себя Самого не может спасти. Во спасении своем уповает он на Господа!» Очень неплохо звучит, кстати, именно по-нидерландски, за всеми этими дамбами, со всеми этими ветрами и дождями. Особенно если действительно верить в то, что говоришь.

Близился мой час – заявить это, в открытую, где-нибудь, неважно где... Это заняло бы у меня шесть минут и восемнадцать секунд, перед тремя камерами, достаточно для 2300 слов душещипательной прозы или умильных сладких песенок в свободной поэтической форме, но я скажу только это – это Единственное, и только это – и более ничего...

Да, по крайней мере, если у меня хватит мужества... «Склонни ко мне слух твой, Владычица. Отныне стану я говорить о Тебе неустанно. Я хочу этого, и я это сделаю. Даже если Ты не пожалуешь мне этих пятидесяти страниц. Разумеется, я бы очень хотел, причем от чистого сердца, что называется, чтобы Ты подарила мне эти 50 страниц, но даже если Ты не соблаговолишь этого сделать, я буду превозносить имя Твое и сделаю его народным достоянием». Вот так обстояло дело, и время близилось. Я всегда только хрюкал да квакал, и никогда, никогда не говорил. Какими же окольными тропами блуждал я! И ведь частенько подходил совсем близко, и высказывался даже, но всякий раз как бы мимоходом, выборматывал в ни к чему не обязывающей пьяной болтовне, с оговорками и всегда, безопасности ради, в искаженные пьяные рожи, которые никогда ничего не были в состоянии понять или запомнить. Хотя... да, однажды, долго путаясь в обиняках, я, наконец, заявил об этом напрямую, но всего лишь в виде вопроса; было это восемь лет назад, на послеобеденном приеме, в предместье Эдинбурга, в Шотландии, во время беседы с британской писательницей С. Окна небольшой приемной густо запотели от избытка человеческого дыхания, так что сделалось совершенно не видно окружавшей дом березовой рощи, хотя снаружи доносился шум дождя, барабанивший, клохчущий, запевающий, как вода в чайнике... неиссякаемая течь, холодная... будто в день воскресный...

– Вам следовало бы стать священником.

– Вы полагаете?

– Да. Вам следовало бы стать священником.

– Ну да, видите ли, что же поделать, коли я думаю о таких вещах. Вот думаю и думаю. Тут уж ничем не поможешь.

– Нет, не поможешь.

– А Вы разве никогда не думали... Как вы считаете... не должны ли мы, в сущности... не нужно ли нам... видите ли...

– Нам нужно... что?

– Мы должны целиком и полностью... Я имею в виду, не кажется ли вам, что мы... мы должны попытаться... нам нужно...

– Да говорите же. Никто не обращает внимания. Вы ведь хотите что-то сказать? – (Я настороженно огляделся.)

– Что мы полностью... я хочу сказать... все, совершенно все... должны предоставить на усмотрение... – (Я назвал имя.)

– Вы должны всецело уповать на нее.

И снова август – 1962 год. Сразу после этого случая, дабы отделаться от него, я приписал произошедшее некоему кратковременному помещательству. Но даже и тогда я, признаться, все еще не мог понять, что мне об этом думать. Разговор, вне всяких сомнений, состоялся. Обреченный в тесной толчее тел на полную неподвижность, я беседовал с изящно одетой, неброско подкрашенной женщиной, чуть меньше меня ростом, лет 43-57. Она курила сигарету, что показалось мне неуместным и что, тем не менее, меня чрезвычайно к ней расположило. Она была с кем-то, кто тоже участвовал в разговоре, но кто это был, в памяти у меня абсолютно не отложилось, кроме того, что это тоже была женщина. Сказала ли мне британская писательница С. то, что думала, или бросила эту фразу только для того, чтобы я заткнулся? Я подозревал первое, однако не был в этом уверен, и сейчас – даже меньше, чем тогда. Во время беседы я через ее плечо поглядывал на стройного, ладного темноволосого юношу, одетого во что-то вроде охотничьей куртки цвета старой розы и в брюки не то хаки, не то кремовые или светло-серые, с петлями для ремня, которого на нем, тем не менее, не было. Юноша стоял возле дешевенького, низкого и маленького письменного стола из древесно-стружечной плитки, какие можно увидеть в комнате у школьника. (Помещение,

в котором проходил прием, представляло собой две просторные смежные комнаты, из которых – несомненно, по этому случаю – была вынесена большая часть мебели, за исключением письменного стола и нескольких сервировочных столиков.) Вполне возможно, что юноша этот жил здесь, и стол принадлежал ему, подумал я, разглядывая через плечо писательницы С. то, что было доступно моему взгляду, и проклиная группу из трех-четырех гостей, каждый из которых своим левым плечом то и дело загораживал от меня нижнюю часть тела юноши, так что он был виден мне только от шевелюры до примерно половины ягодиц, и лишь изредка, в течение двух-трех секунд я успевал полюбоваться всей его аккуратной попкой, когда он поворачивался ко мне правым боком. И при этом мне бросилось в глаза то, чего, пожалуй, кроме меня никто не замечал: своей сокровенной деталью в набухшем гультфике Юноша прижимался к письменному столу, и очень медленно, легчайшими, почти незаметными, но не ускользающими от моего взгляда движениями покачивал бедрами, так что нижняя часть его Таинства терлась о стол, будто бы он стволом своего орудия пытался оставить отметину в некоем определенном месте этого стола или, путем соприкосновения с ним, уверить самого себя в существовании своего пылкого кормила любви.

Уверовавшая было имя ее¹, что в любом случае – вопрос концентрации.

¹ Лука 1, 45 : «И блаженна Уверовавшая...»; Лука 1, 49: «... и свято имя его...».

Глава третья

Живи и дай жить другим

– Ну что, красиво? – спросил я Мышонка. – Какая прелесть, а, что он, вот так прижавшись к тебе, в твоих объятиях, являет самому себе чудо любви, и... достигает пресыщения, как бы это сказать своими словами. Язык все так же несовершенен. («Нужно целиком сосредоточиться на Смерти, – подумал я. – Читать в зеркальном порядке¹».)

– Да, но... хм... то, что он меня в грудь... Ну, то есть...

– Что рубашку разодрал?..

– Да, мне это не так чтобы... Нет...

– Да что ты, Мышонок, ничего с ней не сделалось, с твоей рубашкой. Ну, пуговицы отлетели. Нитки, на которых они держались, слава Богу, оказались никудышные. Так что она в целости и сохранности, ну, может, в одном месте порвалась чуть-чуть, совсем незаметно. Тебе это очень идет, ты неотразим, когда у тебя грудь вот так, нараспашку, светлая, ничем не прикрытая грудь молодого мужчины. Майка твоя – это да, досталось ей, – просто в клочья, но подумаешь, набрюшник, гроша ломаного не стоит. Кстати, один лоскуток повис у тебя на левом плече: дивная картина. И Фонсик забылся у тебя на руках, умиротворенным, разгоряченным юным лицом прижавшись к твоей умиротворенной, горячей груди, что-то вроде того. Просто-таки мать и дитя, я бы сказал.

(Я спросил себя, в самом ли деле это мысли о Жизни и Смерти не давали мне покоя, как я всегда привык считать? Нет, в сущности, не столько о Жизни и Смерти, сколько о том, что было потом, после жизни и после смерти. «А если я и в этом вопросе не вполне сведущ, что тогда, Владычица? Есть ли у Тебя на это ответ?»)

¹ Смерть: Dood (*нидерл*).

– Нет, мне это не... ну, как это... вся эта ахинея насчет груди, фигня какая-то, – заявил Мышонок.

– Ты считаешь, что это как-то не мужественно, по-бабы, так, что ли?

– Ах, да это просто... просто совсем ни к чему, – продолжал Мышонок.

(«Несомненно, наиразумнейшее решение – самоубийство», – точно молотом по голове, ударила меня внезапная мысль.)

– Понимай это так, Мышонок, что я обыгрываю естественную человеческую потребность в материнстве. И при этом выхожу за слишком уж тесные рамки наших перенасыщенных условностями культурных традиций. Мне самому не раз снилось, что я кормлю грудью Мальчика, представляешь? Думается, есть во мне нечто универсальное. Вот поэтому не надо бы мне переедать. Видишь ли, однополая любовь, так называемая *гомофилия*, это, разумеется, замечательно, но тут существует опасность односторонности. Вот, например, я никогда не замечал, чтобы ты смотрел на девчонок. Допустим, ты без ума от какого-нибудь мальчишки, хочешь, чтобы он тебя колошматил, по-рол, хлестал, ты готов у него в ногах валяться, и в то же время ты заглядываешься на девушек, верно? Но это же нормально? Возьми хоть Вольфганга. Он, вообрази, просто помешан на мне. И в то же время заявляет: «Можешь сделать так, чтобы та или эта со мной пошла?» Ну и я, конечно, делаю, что он просит. Ясное дело, он просит меня по-немецки, золотко такое, это ведь его родной язык. Он в униформе. Симпатичная она такая, трогательная – его серая униформа, зеленые погоны на молодых плечах. Он кладет глаз на девчонку из Женской Католической школы Домоводства, когда она выходит за порог со своим мужским велосипедом и останавливается у ворот, и разглядывает ее, и его разбирает жуткая охота, и он говорит:

«Герард, я должен поиметь эту девку. Да нет, не эту: вон ту, в замше. Ну да, с мужским великом. Я люблю тебя, Герард». Он произносит это так неуклюже, так беспомощно. «Ты у меня самый верный, самый похотливый, дружище ты мой, честное-пречестное слово. Поможешь мне заполучить эту девчонку?» – «Ну конечно, камрад, о чем речь!» – говорю я. И помогаю ему. Его штуковина уже всю торчит в серых галифе, форменная фуражка сидит малость набок на лихом, застенчивом мальчишеском чубчике – гладкая челка выбивается на лоб. Он не темно-русый и не светловолосый, Мышонок: он русый...

– Кто это... черт возьми... этот Вольфганг?

– Вольфганг... это Вольфганг, сын Вольфганга. Ты знаешь, тут целая история. Может, я лучше все как есть выложу.

Мышонок лежал неподвижно, прикрыв глаза, и по его позе трудно было определить, что с ним происходило.

– Я тебе сейчас расскажу самое главное, о чем именно сейчас речь, Мышкин-зверь, – засуетился я. – Ну, разумеется, у этого есть своя предыстория. Ты ведь знаешь, что время от времени я на пару дней останавливаюсь в городке В., у Хюйса ван Б.? Это недалеко от немецкой границы, вблизи военной зоны Б., в провинции Л.¹ Нет, ничего такого, из-за чего бы я не мог смотреть тебе в глаза. Сердцем я всегда верен тебе, не о том речь. Кто такой этот Вольфганг? Не ломай голову, сейчас все узнаешь. Я познакомился с ним в войну, во время оккупации нашими извечными врагами, немцами, я был тогда еще мальчишкой, школьником. Когда я встретил его, он был в униформе. Он служил в том самом попирающем смерть, внушающем ужас вражеском элитном подразделении, название которого обозначают двумя заглавными буквами. Символ покорения, черный бич, свист которого слышится в двух этих шипящих извивах:

¹ Будел Дорплайн в провинции Лимбург.

«*онанопея*»¹ зовется оно. Я полюбил его, в этой его ладно пригнанной униформе, пахнувшей кожей, цепями, ремнями, отчаянием выдранной с корнем окопной травы и дымом свистящих пуль, там, в лесу, где мы впервые встретились. Я был тогда очень молод, совсем мальчишка, ребенок, школьник, и все же я отдался ему там, в лесу... потому что он был враг, Мышонок... У него были такие темные волосы. Они бы могли быть светлыми, его волосы молодого солдата – такие они были гладкие, и на ощупь тоже... и все же он был темноволос. Он обнажился, я тоже. Он спустил свои шуршащие, поскрипывающие антрацитово-черные галифе и варварские свои военные, солдатские подштанники, так что ниже пояса на нем совершенно ничего не было – кроме сапог, разумеется. А потом он расстегнул и стащил с меня короткие черные бархатные мальчишеские штанишки, и я ему при этом помогал: да, он взял меня силой, но я попытался опередить его и обнажиться до того, как он успеет ухватить меня за пояс и за край штанов. Но сначала он меня ударил. Он ударил меня, когда мы оба были еще одеты. Он ударил меня, там, в яме, усталой толстым ковром сосновых иголок, они так больно впивались мне в голые колени и бедра, когда он навалился на меня, но это была боль брачной постели, в которую он втискивал меня лицом и грудью, руками, ногами, мальчишеской моей промежностью, мощным своим коленом оперевшись мне в поясницу. Портупейным ремнем исхлестал он меня, по тому месту, которое потом оголил... и я хрипел и извивался, Мышонок, хотя он бил, в общем, не так уж и сильно, совсем не так сильно, как мне бы хотелось... И лишь потом он обнажился. Он положил пистолет на край ямы, словно собирался застрелить любого, кто застал бы нас врасплох...

¹ Игра слов, либо искаженное от «*ономатопея*» – звукоподражательное слово.

И тогда я возлюбил его еще сильнее, чем любил тогда, когда он хлестал меня, хотя под ударами ремня уже любил его так, что никогда не сумел бы облечь это в слова, как бы ни исходил криком; кстати, он и не понимал меня... точно так же, как я не понимал того, что говорил он, хотя мне все было понятно, все, до единого слова... Я разобрал нечто вроде «встал» и «дать» и еще будто бы он меня «хочет проучить». Я разделся сразу после него, но не до того, как разделся он. Всего лишь на какую-то ничтожную долю секунды он меня опередил – стоял нагишом, в то время как я еще был в одежде, и так это и было нужно – почему, кто знает, но нужно... одно мгновение, и потом я постарался предстать перед ним совершенно голым ниже пояса до того, как он меня схватит, чтобы раздеть самому. Я был бы горд, если бы мне удалось спустить штаны до того, как это сделал бы он; но я был счастлив, что он все же успел первым и мощными своими руками, оттолкнув мои, принялся раздевать меня, не то стаскивая, не то обшаривая мой черный бархат, и всем телом я ощущал на себе его дыхание. Мне казалось, я был счастлив, когда с той опушки зашел в лес вместе с ним; еще счастливее я был, когда мы дошли до ямы и спустились в нее – он перед этим огляделся; и я ощутил нечто, уже совсем похожее на подлинное счастье, когда услышал над собой резкий, словно взмах крыла, посвист Вольфгангова ремня; но истинная стрела любви пронзила меня блаженством почти бесконечным, как только я увидел, что он расстегнулся и, не снимая мундира, в сапогах на своих смуглых солдатских ногах, опустился на колени и тут же вцепился, схватил меня, будто опасаясь, что я вывернусь и убегу от него. И правда, время от времени я делал вид, будто собираюсь убежать, или притворно барахтался в его хватке, хотя и боялся, что он выпустит меня, и приходил в ни с чем на свете не сравнимый ужас от мысли, что он может оставить попытки...

овладеть мной, и не осуществит своего заветнейшего желания. Но потом... потом я отдался ему, и безмерный, бессмертный восторг охватил меня, когда он сжал меня в своих смуглых объятьях и навалился, и вошел в меня своим солдатским членом, громадным, гибким, но крепким, разодравшим меня болью, отчего я сделал вид, что пытаюсь ускользнуть, и, извиваясь, пополз вперед, наверх, на край ямы, где лежал пистолет, к которому я со стоном приник поцелуем. «Хорошо?» – разобрал я тогда. Ему было двадцать три, совсем как тебе сейчас, Мышонок...

– И вот так вот все это и случилось? Ты знал...

– Это, Мышонок, моя сокровенная тайна. Меня об этом нельзя расспрашивать, ты не забыл?

– Но тебе тогда было... всего лишь...

– Мышонок, я понял, что Господь мой и Повелитель... будет солдатом... когда мне было шестнадцать... Или пятнадцать. Или четырнадцать. А может, я давным-давно это знал. Лет так, наверное, с семи.... Но тогда еще не было войны, и солдаты были не те, не настоящие солдаты, что идут в атаку сквозь ветер и дождь, дым и развалины, и любят друг друга под землей, в своих темных блиндажах и, раздобыв наверху что-нибудь вкусненькое, – при случае, пока молчит орудейный огонь – бережно, исполненные нежной заботы друг о друге, – то прыскают со смеху, то заходясь от хохота – стряпают на полуразбитой плитке добычу: краденую индейку или картошку из мешка, обнаруженного в старой церковной раке, – ведь это было бесценным даром там, в крошечном кровавом грязном месиве...

– Да, хорошо, но тогда, во время войны, знал ты кого-нибудь солдата?

– Когда я это узнал... когда совершенно убедился, уже была война, Мышонок, и нашу землю заполонили припленные солдаты со своим чуждым наречием, звучащим, как коронационный гимн вожделению. Других солдат не

было. Иными словами, Мышонок, выбирать мне было не из кого. Но я и не хотел выбирать, после того, как встретил Вольфганга. Ничего я больше не хотел, кроме того, чтобы армия Вольфганга, его страна, его народ одержали победу и чтобы весь мир впредь принадлежал им, всем этим десяткам, сотням тысяч, миллионам молодых людей в таких же новеньких скрипучих, беспощадных мундирах, и чтобы они каждый день, да, многожды на дню уводили меня с собой, в лес, или в яму, или в пещеру, или в сарай, или в амбар, один на один или вдвоем, а то и втроем, и раздевали друг друга, и один за другим исполняли со мной свое желание, которое так же было и моим, а после, каждый в свой черед, хлестали бы меня своими пахучими ремнями... Я бы ежедневно упивался жестокой любовью с героями-триумфаторами, со всеми ними, день за днем, а не раз в месяц, в два месяца, в двенадцать недель и всего лишь с одним Вольфгангом, с этим его свистающим солдатским ремнем и жгучим, истязующим солдатским оружием... А если бы он однажды не вернулся? Я любил немцев, их страну, их речь и песни, которых не понимал, но они должны были выиграть войну, чтобы никогда не уходить, а в своих шуршащих форменных брюках окружить лес, в котором я бы ждал их в той самой яме, уже голый ниже пояса...

– Да, но как же у вас до дела дошло, с этим Вольфгангом? Я имею в виду, вы же не сразу стали понимать друг друга...

– Есть вещи, Мышонок, которые понимаешь без слов. Помню, как-то раз в детстве, на мельнице, оборудованной под кинозал, один солдат усадил меня к себе на колени, хотя я уже, в сущности, был для этого великоват. Странно, что он держал меня на коленях, как малыша, и то и дело подсыпал мне в ладошку чищенных орехов из бумажного кулька, ведь я уже год как вышел из этого возраста, и к тому же мальчик, и все-таки меня это не удивило... Когда

в обтянутом потертым бордовым плюшем зале гасили свет, или по ходу фильма становилось темно, он прижимал меня к себе и ласкал, и я смутно догадывался о чем-то, хотя никогда не смог бы сказать об этом словами... Что-то крылось за тем, что он гладил меня лишь тогда, когда этого никто не видел, потому что это была тайна... тайна, которая развеивалась, выцветала, переставала быть тайной, когда фильм заканчивался и в зале вновь зажигался свет. Время от времени мы переговаривались, и вдруг он шепнул: «Тебе никогда не хотелось быть девочкой?» Почему он это спросил? Этот вопрос меня озадачил, поскольку, я полагаю, быть девочкой я не хотел, но желал угодить ему своим ответом. Думаю, что ему бы хотелось услышать «да», и в то же время «нет» – право, не знаю. Я ответил: «С тобой – да». Вот и все, что я сказал, прижимаясь к нему, сам не понимая, что означают эти слова. Он тихонько, чуть посапывая, рассмеялся и тыльной стороной ладони слегка провел мне по шее. И в то же время, мне кажется, это его как-то смутило. Внезапно я спросил: «Где твой пистолет?» – «В другой раз принесу». Тут экран посветлел, и в зале зажегся свет.

– Сколько тебе было тогда лет?

– Где-то семь-восемь.

– А потом? Кто он был такой? Ну, то есть он что, к вам домой приходил? Вы с ним были знакомы?

– Нет, он больше не вернулся. Как-то раз зашел к нам; всего однажды, в воскресенье, где-то в конце зимы. Молодой такой парень, приезжал на какой-то конгресс, антивоенный, что ли... Зачем это все было нужно...

– А больше ты ничего не знаешь?

– Нет, не знаю. Ни имени, ничего. Ах нет, вроде бы его звали Йохан... Так я и с Вольфгангом познакомился. Ничто не ново, Мышонок, – людские дела, людские слова...

– Ну вот, завел волынку.

– Ну все, все....

– Нет, но ведь этот Вольфганг, не домой же он к вам явился? Что ты мне тут плетешь, где вы с ним познакомились-то?

– Да на поляне в лесу, том самом, где я ему потом отдался, на той самой поляне в том самом лесу, Мышонок, в полдень это было, в субботу... я увидел его, он – меня... Стояла очень мягкая осенняя погода... Я разжигал огонь – в одиночестве, как всегда... Развел я костерок из мелких веток в старой банке из-под белой краски, и тут вдруг выходит он. Я перепугался и решил было скорехонько затушить огонь, но у меня ничего не вышло, хотя я на огонь и в эту банку охашку мокрой листвы вывалил. Поднялся страшный дым, сырой, мертвенный, и сделалось только хуже. Банка была без крышки, и под рукой не нашлось ничего, чем можно было бы ее прикрыть, ни какого-нибудь крупного бульжника, ничего. Поэтому я сам уселся на банку и затушил огонь собственным задом, чувствуя при этом, как горячий, влажный дым пропитывает мне штаны, и вот тут-то он передо мной и возник. Дыма больше не было, но он наверняка успел его заметить. Я хотел было сказать что-то, что разом бы все объяснило: что вот я развел огонь, но что теперь все в порядке, и что разжигал я его в банке, а не на земле... и что огонь отпугивает зверей, или наоборот, не знаю, я понятия не имел, что бы ему больше понравилось... Я уже раскрыл рот, чтобы выговорить: «Огонь», хотя он только что погас и вместе с дымом был запечатан в банке горячим штемпелем моей юной задницы... И тогда я выговорил: «Тайна...» Надо тебе сказать, Мышонок, что слово «тайна» на обоих языках означает одно и то же, из-за родства речи. Немцы в своих песнях военных летчиков тоже об этом пели: наши народы связаны кровью, это родство не на жизнь, а на смерть, хотя во всем этом не было, разумеется, ни слова правды, как я потом узнал дома. Но в то время, когда Вольфганг в лесной чаще хлестал меня своей крепкой

солдатской рукой, своим темным ремнем, в то время я верил, что это правда, навеки, навсегда...

– Ну, это все здорово, но что же он сделал, когда увидел тебя там, у костра, на поляне? Не сразу же он на тебя с ремнем накинулся? Что он сказал? Что сделал?

– Он рассматривал меня, Мышонок. Вокруг не было ни души, и мы смотрели друг другу в глаза, Вольфганг и я. Он еще так быстро огляделся, нет ли вокруг кого, потом опять посмотрел на меня и ухмыльнулся. Такой мимолетной, смутной усмешкой – она длилась всего долю секунды, но я уловил ее, я заметил ее – мимолетную, смутную солдатскую усмешку. И я, в свою очередь, бросил взгляд вокруг, но поблизости не было ни души. Я не сумел бы объяснить, зачем я в тот момент оглядывался, и не знал, зачем он – этот молодой смуглый немец, солдат, в своей поскрипывающей темной униформе – подошел ко мне и, стоя передо мной, зорко осматривался кругом – быстро, но вместе с тем очень внимательно. Лицом к лицу, на расстоянии не больше шага, мы продолжали разглядывать друг друга. Потом я встал. Я встал с этой старой банки, в которой дотлевал разведенный мною огонь, и последние тоненькие струйки дыма извивались за моей спиной, я знал это, но не оглядывался. Я смотрел на него, на Вольфганга. И он тоже не сводил с меня глаз. Я был тогда жутко застенчивым прыщавым юнцом лет пятнадцати, Мышонок, вечно заливался краской и отводил глаза, если кто-нибудь смотрел на меня, – странно, что в этот раз я не опускал глаз. И в сущности, странно было и то, что я вскочил с этой банки, в которой догорал огонь, и тем самым выдал себя, и все же я встал... потому что... он хотел смотреть на меня – да, иначе бы я это и не назвал... Его взгляд остановился на мне, и что-то приказало мне подняться, чтобы он смог рассмотреть меня в полный рост. И я не только видел – я чувствовал, как его взгляд быстро обшаривает мое

тело, задерживаясь тут и там. Нет, я не опустил глаз. Сердце у меня колотилось, рвалось, металось в груди так, что перехватывало дыхание, но я не опустил глаз, чтобы уклониться от его взгляда, потому что я не мог от него уклониться и не мог ни удрать, ни наговорить ему с три короба и... да я и не хотел этого, а почему – так просто не объяснишь. Он смотрел на меня так, как никто в жизни на меня не смотрел, Мышонок... никто... никогда... понимаешь?

– Ну ты даешь! Чего ж тут не понять? Я что, похож на слабоумного?

– Нет, просто я рассказываю в точности как все было, как он смотрел на меня... Он... он смотрел на меня, как смотрят на тебя парни и молодые мужчины на площади или на рынке, когда ты со мной, и они думают, что никто не видит, как они смотрят, но я-то вижу, Мышонок, зверь мой: как молодой шофер в этой своей короткой, до пролысин истертой кожаной куртке и линялых джинсах, спускаясь враскачку по ступенькам высокой кабины своего грузовика, мельком косится на тебя, не догадываясь о том, что его обращенный в твою сторону зад выпячивается при этом гораздо больше, чем надо бы... Вот так и Вольфганг смотрел на меня, Мышонок, хотя, разумеется, это было совсем не одно и то же... Я имею в виду, этакий юный красавчик-дальнобойщик, жаждущий, чтобы ты уложил его к себе на колено на пассажирском сиденьи и надавал ему по молодому, румяному, распутному, прыщавому задку, и... помчался по нему... в него, глубоко в нем, так, чтобы он забыл, где газ, где тормоз, где сцепление...

– Ну ладно, ладно, но этот Вольфганг... Нет, пусти...

– Суть в том, Мышонок, что... хм... можно, конечно, ходить кругами вокруг да около, но... я любил Вольфганга. Да. Просто любил, и все. Что, как, почему, я не знал. Знал одно – что люблю его, или, точнее, тогда я этого совершенно не знал... Нет, не знал, что люблю, но любил...

Боже праведный! Я, сам того не зная, любил его так, как никогда, никогда не сумел бы полюбить, знай и сознавай я в тот момент, что люблю...

(«На такой херотени далеко не уедешь, – подумал я. – А может, и наоборот. Молился, молился, а дождь не пошел: по всему видать».)

Дальше надо было мне, дальше, но опять прицепилась ко мне мысль, воспоминание, на которое у меня совсем не было времени, но от которого, тем не менее, было не отделаться, и которое ничего, ну совершенно ничего общего не имело с моим рассказом: как однажды, во время необычайно сильного наводнения в 196* году, когда вода, полностью окружившая дом поэта Нико В.¹ на краю фрисландской деревушки Г², стояла на полу в кухне сантиметров на пять, я втащил всю мебель на кухонный шкаф и старый стол, и как вид плавающей в коридоре тряпки и омерзительное чмокание моих резиновых сапог в ржавой воде на убогом, бывшем некогда паркетом мореного дуба полу гостиной вогнали меня в дикую тоску и ничтожество; и как в этом шкафу, на котором я пытался спасти все, что можно, я обнаружил в картонке яйцо, по меньшей мере 4,5 месячной свежести – примерно тогда Нико В. в последний раз появлялся в Г., – разбил его в чайную чашку и выпил, и вкус был отменный; и как потом, в другой комнате, из надбитой бутылки, стоявшей на нижней, едва видневшейся из воды полке буфета я налил себе полстакана красного вина и тоже выпил, и на первый взгляд оно было ничего, но потом я ощутил нечто столь тошнотворное, что ни тогда, ни потом был не в состоянии этого передать; и как потом, нахлебавшись этих могильных чернил, я разглядывал в окно стоящие в воде ивы на краю садика Нико

1 Николас Верхувен (1925 – 1974), поэт, друг Реве.

2 Греонтерп, деревушка в округе Вимбритсерадиль во Фрисландии.

в лучах позднего солнца и на миг представил себе, что если все это всерьез и надолго, и если вода так и будет подниматься, то все исчезнет под ней – крыши, деревья, башни и горы на всей земле... И было так холодно, так сыро, что я начал серьезно подумывать о том, чтобы забиться в уголок у окна, за батиковую занавеску, нижний край которой полоскался в воде, и малость побеспокоить свой заветный причиндал, но из этого совершенно ничего не вышло, весьма сожалею и т.д.

«Не надо бы так уж совсем от пристани отрываться, – подумал я. – И хватит хрени типа «я этого не знал, хотя я это и знал»; куда я так зайду? Потрепаться – оно, конечно, здорово, но так ведь, пожалуй, и засосет еще».

– Было прохладно, Мышонок, но я не мерз. Будто бы жар исходил от солдатского взгляда Вольфганга, и всем телом, от горла до паха, я ощущал раскалявшие меня волны зноя. Он рассматривал меня спереди, поскольку я стоял лицом к нему, но мне казалось, что он пытается повернуть меня взглядом, и ощущал этот зной, трепетом отзывавшийся у меня в шее и стекавший вниз по спине.

– Ну да, ну да. А что он тебе говорил?

– Ничего. Я хотел было сказать: «огонь», но сдержался и промолчал, и внезапно у меня вырвалось: «тайна». И он улыбнулся, мельком, и быстро огляделся. Он желал меня, Мышонок. Некогда я был юн и хорош собой, и тысячи мужчин на улицах мечтали обо мне, о чердаках, где бы они называли меня, о моем молящем о пощаде, хриплом юношеском голосе... «Не то, – подумал я. – Что дальше? Пощада?»

– Он что, вообще ни слова не сказал, этот Вольфганг?

– Сначала нет, ничего. Но я уже любил его. Я любил его отвагу и его жестокость, Мышонок, они были написаны на его лице. Он огляделся, не опасливо, но чутко, как вооруженный солдат, готовый к нападению, а не к спасению бегством. Он был не из тех, кто бежит, Мышонок. Он был из

тех, кто стреляет и убивает, кто в великолепии боя мощным своим сапогом попирает горло юного поверженного противника, перед тем как неспешно, спокойно, с безмерной нежностью всадить отточенный штык в его молодое, гибкое теплое мальчишеское тело, сперва легонько, быстрым коротким толчком, затем, не отводя глаз, медленно, глубже, до самой рукоятки... Когда же, когда же снова будет война, Мышонок? О, я люблю тебя, это несомненно, понимаешь? Можно мне чуть-чуть покусать тебя за попку, в счет будущего дня рождения, ведь настанет он когда-нибудь?

– Как он, в конце концов, выглядел-то? Нет-нет, не надо... Лучше давай-ка расскажи, как вы с ним пошли в лес.

– Ну что, я пошел с ним. Мы стояли там и смотрели друг на друга, и мне хотелось сделать все, все, что он скажет или попросит, или прикажет, или просто безмолвным жестом намекнет на то, что желает моего покорного повиновения. Был ли он красив? Он был весь мир, Мышонок. Он был солдат, вселенная, жизнь. Я хотел бы шить ему одежду, штопать ее, когда прохудится, начищать вороненую сталь его револьвера, серебряную, золотую, бриллиантовую сталь погон на его плечах, его матово поблескивающий клинок... Я хотел пасть на колени, уткнувшись лицом ему в пах, терзаемый одним-единственным страхом: а вдруг он не пожелает побить меня... Нет, я иду с ним в лес, прямо сейчас. Больше никаких непредвиденных отклонений от программы. Не волнуйся. Мне, правда, нужно еще кое-что тебе сказать. Ты спрашиваешь, был ли он красив. А я тебе говорю, он был сама жизнь. И я тебе расскажу, какой он в точности был. Но сперва – то, что я должен поведать тебе... должен сказать, чтобы никогда, никогда не быть понятым превратно, хотя я дыханием клянусь... кровью своей...

– Ну, ну. Успокойся. Зайдешь ты наконец в этот лес или нет? Там уж дело живой пойдет!

– Ах, Мышонок, да это совершенно не поможет.
– Ну рассказывай, брат. Братец Волк.
– Есть кое-кто, кто все знает и все понимает, но сейчас мы об этом не будем. Мне нужно объяснить, нужно хоть кому-нибудь рассказать. В крайнем случае какому-нибудь мальчишке, принцу в изгнании, которого трусливые заговорщики лишили отеческого трона, такому милому, нежному, ребячливому, царственному даже в лохмотьях, отработывающему свой кусок хлеба в цирке, в фургоне, в старом автобусе... Расскажу ему, и вместе с ним запечатлеем мы сей рассказ на таинственном камне, эх, да что там... («Ведь вот работенка, и все впусую», – пробрюзжал внутренний голос.)

– Я любил Вольфганга уже потому, что он... он был враг, Мышонок... Потому что его стройное гибкое тело облекала черная униформа самого лютого из существовавших вражеских подразделений... но и не только поэтому... Я любил его, потому что в битве за нашу крошечную страну на Северном море за несколько дней бессмысленного сопротивления пали два моих брата – один в первый же день войны получил пулю в сердце, посланную, быть может, рукой Вольфганга; другого взяли в заложники и замучили до смерти на какой-то ферме – его пытали, и вопли, доносившиеся из раскрытого окна, должны были вынудить его товарищей сдаться...

– О Господи...

– Да, Мышонок, было и такое... И все же я рад, что изучал не социологию, а жизнь как она есть.

– Ну так что же он собой представлял?

– Тот брат, с простреленным сердцем, или другой, помладше, которого истязали так, что он превратился в обескровленный, полуобгорелый кусок плоти?.. Нет войне, никогда!..

– Нет, я имею в виду Вольфганга.

– У меня не было времени его разглядывать, Мышонок. Он махнул рукой – короткий, рассчитанный жест – и указал в сторону леса. Я посмотрел туда и снова на него, как щенок овчарки, который изо всех сил тщится понять, чего хочет от него хозяин... И он опять махнул рукой. Его крупные, пухлые, как у мальчишки, губы машинально дрогнули, будто бормоча про себя некое волшебное слово, которого я не расслышал. Я повернулся к нему спиной и глянул на него через плечо. И вновь он сделал тот же самый жест – махнул в сторону леса, к которому я теперь стоял лицом, и я заметил, как его взгляд, на секунду встретившись с моим, медленно опустился вниз и задержался где-то посредине моего мальчишеского тела, на бедрах. По хорошо знакомой тропинке я сделал пару шагов в сторону леса, но сперва почти беззвучным пинком отшвырнул в сторону банку с тлеющими в ней остатками краски, будто тем самым давал понять, что не имею со всем этим ничего общего. Она отлетела далеко в сторону, эта старая раскаленная банка, сыпля искрами, громко стучаясь о пни... Вольфганг шел за мной: мгновенный взгляд через плечо убедил меня в этом, а также и в том, что он по-прежнему не сводил своих серо-голубых глаз с моей талии или чего-то чуть пониже, и что его солдатский и в то же время мальчишеский рот был слегка приоткрыт: крошечная щель между его властных, но молчаливых губ – как у мальчишки, что грезит об игре в индейцев, разметавшись в беспокойном сне душной спальни... Он шел за мной. Сперва он следовал в некотором отдалении, затем я внезапно услышал, как его шаги по хрусткому ковру из еловых игл и жесткого песка участились, и он поравнялся со мной. Плотная листва обступивших тропинку деревьев утопила ее в густой тени, но в то же время путь чуть раздался. Вольфганг шагал теперь прямо за мной. Через мгновение он нагонит меня, и мы пойдем рядом, и в тот

же момент я должен буду понять, чего он хотел. Его снедало некое страстное желание, и это было связано со мной; хотя я и не знал точно, что именно он замышлял, и, даже шагая впереди и не видя откровенного, распаленного взгляда его глубоко посаженных, обведенных тенью солдатских глаз, я ощущал его на себе всей кожей своих обнаженных голеней, словно щекотку длинных тонких травинок или метелок сухого тростника. Он хотел, он страстно желал чего-то, что касалось меня, и я, не зная еще, в чем дело, всем сердцем жаждал, чтобы его желание исполнилось, полностью и безусловно... Но вместе с тем меня одолевал нелепый страх: а что, если, поравнявшись со мной, Вольфганг пройдет мимо и никогда, никогда больше не обернется ко мне, а пойдет дальше и скроется из глаз на другом конце леса. Мне нужно было что-то сделать до того, как он догонит меня: что-то, что вынудит нас обоих остановиться и его – прикоснуться ко мне. Неважно как, неважно где, лишь бы он остановился и один раз, всего лишь раз, коснулся меня... Например, – подумал я, – притворюсь, что споткнулся, и он налетит на меня и случайно толкнет, и я упаду, и смогу незаметно припасть к его ногам и лизнуть кожу его сапога. Или я внезапно остановлюсь и повернусь к нему, будто желая что-то спросить, и ему, чтобы сохранить равновесие, придется ухватиться за меня – за плечо, за руку, за запястье, за... талию... Но что, если вдруг он, в тот самый момент, когда я обернусь, не остановится, а пойдет дальше, мимо: нет, в таком случае споткнуться и растянуться на тропинке было бы, вероятно, надежнее всего, потому что тогда ему придется дотронуться до меня, а может, и поскользнуться из-за меня, и тогда он в холодной солдатской ярости выкрутит мне руку, чтобы наказать меня. Теперь он был совсем близко. Почему только он не вцепился мне в волосы, не оттянул мне назад голову, не стал хлестать меня по лицу до тех пор, покуда я, хрипя и

моля, не сознаюсь в том, что осмеливался на столь дерзкие фантазии о нем?.. Его шаги теперь настолько приблизились, что я не только слышал их – они словно бы через землю отдавались в моих собственных ступнях и щиколотках... а я все еще ничего не придумал... Но, Мышонок, тропинка кончилась. И, ребятки, ведь вот же везение! Да: как-то вдруг сильно сузившись, тропинка пошла какими-то колдобинами и, наконец, оборвалась в неглубокую округлую яму. Я остановился на ее краю, вполоборота к Вольфгангу, и вытянул руки, будто бы пытаюсь предостеречь его от падения. Он застыл на месте, не сделав ни шагу ко мне. Так он стоял на краю ямы, рядом со мной, не дотрагиваясь до меня... Я еще раз хорошенько огляделся, но тропинка в самом деле кончалась ямой. Повсюду были густые заросли. Я испугался, что Вольфганг перепрыгнет через яму и по той же тропинке уйдет назад, один, так и не коснувшись меня... Но в следующий миг он опустил на корточки и присел на краю ямы. Стоя слева от него, я незаметно передвигал левую ногу на самый ее край, и вот рыхлая почва начала оползать, и я, утратив равновесие, поскользнулся. И, поскользнувшись, упал... Не в яму, а на Вольфганга, повалился грудью прямо в ноги. Он рассмеялся. Я обхватил руками его правое бедро и приподнялся, так что поясница моя оказалась у него на коленях... Мышонок, я боялся, что он столкнет меня. Но он только опять рассмеялся, на сей раз коротко, чуть сконфуженно. Я уткнулся лицом в его мундир и неожиданно ощутил губами черную кожаную ленту, наискосок перепоясывавшую его от плеча до поясного ремня. И в этот момент я почувствовал, как левая рука Вольфганга нерешительно, словно невзначай, легла мне на бедра, затем поднялась выше, до того места, где спина начинает называться иначе, и на мгновение задержалась там, на заднице моих штанов. Он опять рассмеялся, но теперь совершенно по-другому, как-то нервно. Рука

его дрогнула, пальцы сжались, будто хотели что-то схватить, но не схватили... Она опять опустилась и недвижно замерла у меня под коленками. Так я лежал, не шевелясь, и Вольфганг шевелился еще меньше, и я слышал, как колотится и грохочет под мундиром его сердце. Я лежал у него на коленях, его левая рука покоилась на моих икрах или чуть выше, я прижимался лицом к его груди, и все же... все же мы не касались друг друга, все еще нет, если ты понимаешь, что я хочу сказать... Это продолжалось очень долго, Мышонок, но не могло тянуться вечно...

– И вы что же, так и не полезли в яму? А я-то думал, вы с ним...

– Тогда еще нет... но я не остался лежать у него на колене. Я поднялся и уселся на край ямы, рядом с ним. Гулкового грома его сердца больше не было слышно, но я знал, что оно колотится все так же яростно... Причина того, что я сделал потом, признаться, темна и для меня самого. Я принялся водить руками по его униформе, трогать знаки ранга на рукаве и погонах – с хладнокровием, которого и сам не понимал, словно сугубо деловое любопытство двигало мной... И вот моя рука легла на нашивки на его воротничке, кончики пальцев на секунду коснулись кожи его молодой, светлой, худощавой солдатской шеи... Его будто током пронзило... и все же он не шевельнулся... Тогда я тронул узкий ремень на его плече, мои пальцы нащупали оба его кончика, спереди и сзади соединявшиеся с широким брючным ремнем никелевой застежкой в виде восьмерки; и, отщелкнув обе застежки, я снял этот узенький ремешок, сложил его вдвое и сжал в кулаке. Вольфганг попытался отнять его, но я отдернул руку. Он снова потянулся к ремню и схватил его, но я, не отпуская, изо всех сил тянул его к себе, и вместе с ним и руку Вольфганга – и вдруг наклонился вперед и укусил эту руку, как шаловливый, но чересчур разыгравшийся пес. Он так и сказал: «Собака» – ведь

на обоих языках это почти одно и то же, заметь, Мышонок. Он застонал от боли, и тогда-то слово и вырвалось, и я отпустил ремень, и в следующее мгновение он крепко ухватил меня за шею и опять швырнул к себе на колени, и вдвое сложенный, оснащенный металлическими защелками ремень со свистом опустился на мою спину. Так-так, ну, вот мы и снова дома, Мышонок. Чайник закипает, орудие наказания жужжит и поет в воздухе, и я ничего не могу поделывать: жалобы Господу надлежит подавать с заднего крыльца... Он бил сильно, Мышонок. Да, сначала я боялся, что он будет бить вполсилы, но он бил сильно, очень сильно – так, как до того, несомненно, частенько бивал совсем молоденьких солдат, только-только поступивших на службу и по молодости лет совершивших какие-нибудь мальчишеские промахи и проступки – мне казалось, существует какое-то особое слово для таких солдат, Мышонок... Высоко над нашими головами, невидимые в серой облачной перине самолеты, словно крылатые грузовики, монотонно-певуче гудели свои гимны героям... Свист и вой Вольфгангова ремня был подобен ликующей музыке некого благословенного народа, не знающего иных занятий, кроме войны и наказания Юношей, и оба эти звука отчетливо перекрывал его молодой, русский, неумный, исходящий жадной соития, беспощадный голос... Беспощадный... да, я надеялся, что он беспощаден, но так ли это было?.. Вот выпорет меня и уйдет. Никогда не видать мне такой униформы, как у него, не станет он часами томить меня, совершенно голого, перед тем, как позволить мне надеть ее, не скует меня потом цепями по рукам и ногам, чтобы я жил и умер с ним, рядом с ним, вместе с ним, при нем и у него, навеки...

– Ну хорошо, хорошо, но Вольфганг к этому времени уже половину увольнения отгулял. То есть, значит, я полагал, что вы с ним в яму...

– Да, да, верно, Мышонок. Мы... да, в яму, да... – Я отвечал, но мыслями унесся уже совершенно к другой, давнишней истории, которая, вполне возможно, была все о том же, и в которой тоже была яма, – история, рассказанная мне на днях в В. чертовски соблазнительным, но увы, не выказывающим ни малейшего энтузиазма в отношении моих Греческих принципов цветным красавцем Паулем В., супругом Анни В.: истории о том, как его матери, жившей дома, в нашей Индии, в то время как муж ее, отец Пауля то бишь, пребывал за тридевять земель в японском лагере для военнопленных, вдруг начал сниться один и тот же сон, и снился он ей три ночи подряд: будто бы возвращается он домой, муж ее, стало быть, и заявляет ей: «Мы скоро переезжаем. У нас будет другой дом». – «Это еще почему? У нас ведь такой хороший дом?» – всякий раз возражала она, но он, Паулев то есть отец, всякий раз звал ее прогуляться и приводил на одно и то же место – к краю большой ямы: «Вот наш новый дом». Она никак не могла взять в толк, что означал этот сон, пока, где-то года через два, не получила обстоятельного письма, извещавшего ее о смерти мужа: в начале ее первого сна он был при смерти, к третьему все было кончено. Королева живущих, благоспешите нам на смертном ложе. Матерь Смерти, поприветствуй нас.

– Что?

– Да, так вот, мы свалились в яму, продолжая барахтаться. Я брыкался и притворялся, что хочу сбежать, но изворачиваться начал только тогда, когда почувствовал, что Вольфганг накрепко вцепился в меня. Я извивался у него в руках, пока рыхлая земля не начала оползать и не увлекла нас за собой на дно ямы. Вольфганг растянулся на мне всем телом... и... взял меня. Он... я принадлежал ему. Он овладел мной...

– Что с ним случилось?

– Я тебе уже сказал. Он погиб. Я не знаю. Одному Богу известно.

– О.

– Да, Мышонок, он погиб позже, в чужой стране, один, и в пламени рвущихся снарядов его плоть, кровь и костяное крошево перемешались с влажной черной землей, с фонтанами грязи... Потом у него в ранце нашли клочок бумаги с моим именем, адресом и его последними словами ко мне. Так я узнал о его смерти, гораздо позже. Но тогда, в лесу, в яме, до всего этого было еще далеко. Тогда мы были вдвоем, и он снова оделся, после того как покорил меня, обнажил меня, овладел мной, сделал меня своей юной военно-полевой невестой... И при этом он не осрамил себя, Мышонок, он не осрамил себя... Сколь незавидна была участь его тела – сделаться всплеском грязи, воронкой от снаряда, обратиться в торфяное болото, в лужу гнили – столь же прекрасно было оно тогда, ниже пояса: его бедра, его срам, его безупречное, незапятнанное воплощение мужественности – светлый мужеский Жезл, которым он наказывал и терзал меня, и погонял, и навсегда сделал своим рабом, всесокровеннейшим, всепокорнейшим... Так он лежал тогда в яме, безмолвно, рядом со мной... Его галифе были вновь застегнуты, но мундир был все еще нараспашку, и я приник к его левому плечу, уткнувшись лицом ему в подмышку, его рука обвивала мои плечи, пола его мундира, будто крылом, прикрывала мне лицо... И я вдыхал крепкий, сокровенный запах его молодого пота: тайну мимолетного обручения и вечного супружества со Смертью... Он достал бумажник, из которого посыпались сложенные вчетверо письма, и небольшую пачку истрепанных по углам, сильно потемневших любительских фотографий: картинки домашнего быта, его кухня и садик; сад, явно не при доме – скорее, кусочек сказочного королевства в рамках домашнего садоводства, где никогда

не всходило и не заходило солнце, такая исключительная тьма царила на фотографиях, казавшихся темно-коричневыми, хотя это были фотографии как фотографии, какими и положено им быть, пока существует Господь... А одну карточку дал он мне разглядывать дольше остальных; он колдовал над ней, скрученной по всем четырем углам, обстоятельно, затейливо жестикулируя, как фокусник над игровой картой, и, зажав ее в ладони, держал у меня перед глазами, словно чудотворную икону. Можно было разобрать пару садовых стульев, столик, нечто вроде дерева, и невзрачную девицу или молодую женщину неопределенного возраста, с раскрытым, будто из-за насморка, ртом, в альпийской шляпке с вишенкой, с младенцем на руках, которого держали так, чтобы вошли в кадр его лаковые туфельки, с черным локоном на сердитом лобике – очевидно, мальчиком. Вольфганг, словно никчемной указкой, водил по фотографии пальцем свободной руки. Начало моросить. Вольфганг, не поднимая глаз, наговорил много всяких слов. «Сын, – слышалось мне. – Сын».

Глава четвертая

Все для имени

(Странные воспоминания – хотя, в сущности, чего же в них странного? Самое, на мой взгляд, жуткое во всем этом то, что, возможно, в них вовсе ничего странного нет – все совершенно естественно.

В тот год мне исполнялось тринадцать, я был записан в первый класс *** гимназии в А., и в первые дни учебного года новички небольшими группами должны были являться в кабинет замдиректора, чтобы занести свое имя и дату рождения в специальную книгу – на тот случай, если вдруг когда-нибудь впоследствии они прославятся – другой тому причины я, по крайней мере, не вижу. Книга лежала на низеньком столике, у которого нужно было присаживаться на этакую табуретку, дабы спокойно и без помарок вывести буквы и цифры. Книга эта была в своем роде замечательна тем, что книгой, по сути дела, не являлась, поскольку не содержала в себе ничего, кроме – в данном случае – несуразных каракулей сотен и сотен тупоумных отпрысков видных и отлично образованных родителей. Это был солидный том, здоровенный, что твоя конторская тетрадь, с обложкой, помнится мне, цвета небеленой холстины, выпуклым кожаным корешком и твердыми кожаными уголками. Страницы были из дорогой, очень плотной и очень белой реестровой бумаги, нелинованной, без строчек и колонок, хотя услужливая рука и расчертила карандашом – по образцу уже заполненных – полдюжины предназначенных для записей страниц, дабы у ревностных юных ручонок имелась некая канва.

Для сей процедуры замдиректора выдал свою собственную большую, толстую, раскрашенную под голубой мрамор целлулоидную чернильную авторучку, чье неровное перо скользило вверх-вниз бойко и гладко, но, выводя

параллельные линии, со скрипом цеплялось за бумагу. Сперва замдиректора отыскивал имя в некоем документе и выписывал его на клочке бумаги, следуя при этом определенному принципу – я имею в виду, то ли все имя, то ли только первое из них писал полностью, оставляя от всех последующих одни инициалы или же совсем их не указывая, а сложные фамилии – с предлогами, артиклями или же с теми и другими – напротив, вообще не сокращал, я уже не помню, однако в любом случае он сверялся с имевшейся у него версией имени сидевшего перед ним на табурете воспитанника, после чего оснащал юную руку своей солидной самопиской. Если запись в книге была произведена успешно, он комкал листок, как исполнившую свое предназначение и более не нужную шпаргалку, выкидывал его и делал следующую выписку. Весь ход дела был определенно неплохо продуман, невзирая на некоторые помехи, заключавшиеся в том, что время от времени замдиректора вновь завладевал своей авторучкой и там и сям что-то приписывал, всякий раз заново отвинчивая и завинчивая колпачок.

Сколько имен вместила эта книга, была ли она когда-либо заполнена, существует ли она до сих пор – мне неизвестно. Значительное количество страниц отделяли ту, на которой предстояло появиться моему имени, от той, на которой было запечатлено – как я слышал – имя Ниды Сенф, олимпийской чемпионки по плаванию, проучившейся в этой школе от силы месяцев пять. Человек предполагает, Бог располагает: все те, кто посещал эту школу и впоследствии вышел в люди и хоть чего-то достиг, оставили ее в первом, втором или каком бы то ни было классе, но в любом случае до выпускных экзаменов – считай, научно доказано. Текучка была сильная: большинство учеников в ближайшие полгода перебрались под крыло Углубленного Начального Образования, либо в школу Домоводства или в пансион для девочек, где учили, как правильно кушать

конфеты, или чистить грушу ножом и вилкой, или чего там еще, Бог весть, какая разница.

Мне пришлось потомиться, покуда замдиректора наконец добрался до моего имени в списке и я смог усесться на табурет. Записав мое имя на листочке, он положил передо мной четвертушку серой блокнотной бумаги. На руке его красовались золотое обручальное кольцо и золотой же перстень с некрупным овальным мшистым агатом, в точности такой же муаровой расцветки, что и его толстая самописка, только не голубым, а серовато-зеленым; а еще его руки были покрыты дремучей порослью – по крайней мере такой густоты, какая кажется непривычной мальчику, которому еще неведомо, что впоследствии эти волосы, покинув голову, перейдут на уши, вернее, в уши и ноздри, на плечи и грудь, с лихвой возмещая потерю. Кстати, он был лыс, наш замдиректора, лыс как яйцо: я имею в виду, никакой там контрабанды в виде начесов через плешь или пушистых чело-венчиков. Но я отвлекся. Я имею в виду, на клочке бумаги стояло мое имя, или, вернее, его там не было, поскольку оно было написано с ошибкой. Мое имя на этом листочке было исковеркано. Кто знает, может, из-за этого все так и получилось. Где там была ошибка, я уже не помню. Ненужный инициал моего второго имени? Артикль перед фамилией? За окном, в конце пустыря – поскольку школа была построена всего несколько лет назад и располагалась на тогдашней границе города – колотили по сваям, закладывая фундамент для очередной массы домов-уродов: было видно, как подъемный блок ухал вниз, и лишь потом раздавался удар, гул от которого еще некоторое время висел в просторных, высоких откидных окнах помещения.

Так же, как и многое в жизни предстояло мне совершить неверно – в тот день, в тот полдень, в тот час, в том помещении, у стола, с раскрытой на нем книгой, расписавшись в этой книге (рукой моей будто водила чья-то

воля, что я по сей день воспринимаю как благодеяние) – сделал я то, что должен был сделать: собственное имя, искаженное директором на обрывке бумаги, с ошибкой же переписал в книгу.)

– Который там у нас час, Мышонок?

– Без понятия.

– У меня тоже часов под рукой нет. Думаю, еще часа полтора-два, а там – вкусный вечерний бутерброд. И почему только мы с тобой не все время лежим в постели? Нам, в сущности, вообще бы вставать не надо. Читал я где-то что-то такое, Мышонок, в какой-то военной книге про солдат. Сидят они, эти солдаты, все такие распаленные, обсуждают, что они будут делать, когда снова наступит мир, и вот один и говорит: «Да я, наверно, никогда больше штанов бы не надел!».¹ Неплохо, а? Мне опять жутко хочется, Мышонок.

– Да уж вижу. И все же пора бы тебе научиться малость себя обуздывать.

– Да, легко сказать. Хорошо, что тут полы бетонные. Дощатые полы – катастрофа для любви, мальчик, – или уж тогда заводи себе настоящее любовное гнездышко в своем собственном доме. А знаешь, какая еще может быть беда? Хромоногая кровать. Вот это ужас! Бортовую качку в час любовной неги, конечно, можно упредить, но тогда приходится постоянно приноравливаться к такту, я имею в виду, обоим одновременно действовать то побыстрей, то помедленней, а это не дело, потому что если начнешь об этом думать, то какая уж тут любовь. Еще экзему наживешь или астму: если, скажем, не метено или перина не выбита, все такое. Значит, так: ты задвигаешь и думаешь, если еще можешь думать, разумеется: спокойно, начинаем потихоньку, не делать больно, будь ласков осторожно смотри в оба вон

¹ Реминисценция к роману Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен».

стоит чайник и стакан с поблекшими вялыми голубыми тюльпанами, и тот дома, и этот дома, там, внизу, но вот ты уже так глубоко забрался, что чувствуешь, что сам Господь Бог, Святой Дух и Матерь Божия с тобой заодно, и вот ты кусаешь, и кряхтишь, и стонешь, и воешь, и тебя больше нет, нет, тебя понесло... Ну да, естественно, что я тебе могу нового сказать. Но настоящий восторг, это кое-что. Когда ты снова со мной разок, Мышонок... я имею в виду: по-настоящему? О, мальчик, если я еще раз с тобой, я имею в виду, ну, если ты еще раз позволишь мне вознести тебя к вершинам наивысшего блаженства – да, это же так называется? где мне слов-то взять! – то это будет, как если бы ты был совершенно другой, сладенький свеженький похотливый белокурый новичок, за которым я полдня по городу пробегал, все улицы обрыскал, как пес во время течки, вот как это было бы. Не думаю я, что это когда-нибудь хорошо кончится. (Благодарю, нижайше благодарю Тебя также и за Смерть, Владычица, – почти вслух подумал я. – Ты так добра. Я никогда Тебя за это не благодарил.)

– Что скажешь, Мышонок? – продолжал я. – К столу пока что рано. Рассказать тебе про эту девицу из Школы Домоводства, которую я в городе В. сосватал юному Вольфгангу, с предысторией и со всем сопутствующим? Часа за полтора-два управлюсь. Тема и причина достаточно незатейливы: у мальчика встало на девочку, бывает такое, а то бы не было ни армии, ни дальнобойщиков, ни школы танцев, куда б можно было приткнуться...

– Принеси мне что-нибудь попить. Умираю – пить хочу.

– Да, сейчас. – Я прикрывлся ниже пояса и спустился вниз. В доме, кроме нас, никого не было, и по пути мне представилась полная возможность предаться размышлениям о происходящем, кратковременных и длительных остановках в различных местах, грустных ли, нет ли; но, совершая тупые, механические действия – наполняя стакан

тоником из нагретой в кухне бутылки, которую по оплошности забыли убрать в холодильник, добавляя в напиток кубик льда и от лени и с досады решив не возиться с нарезанием лимона («все равно не угодишь» – хотя Мышонок, в сущности, практически никогда не занудствовал в отношении еды), я думал только о самом доме, по которому сейчас бродил и который мне все же, в том или ином отношении, оставался чужим... Станет ли он моим последним пристанищем? Ну, конечно, не самым последним, а, скажем, предпоследним? У меня не было никаких предчувствий, никакой картины перед внутренним взором, и во мне, как это не раз случалось прежде, не звучало слова, вселившего бы в меня приличествующую случаю уверенность. Предстоит ли мне дожить здесь до последнего дня? Нет, этого не случится – в этом доме я не умру..

– Ты определился наконец с повесткой дня? Вот, опрокинь скорей этот великолепный, освежающий, прохлаждающий напиток – буль-буль-буль – в Мышонкино чудное, розовенькое, юное соловьиное горлышко.

– А ты что же?

– Э... не хочется... Смотреть, как ты пьешь – глюк-глюк-глюк, такое неопишное светло-серебристое журчанье – любую жажду утоляет, знаешь ли: я освежаюсь тобой. – Я опять осторожно улежся рядом с Мышонком. Осушая стакан, он сделал чересчур большой глоток, на мгновение застрявший у него в горле подобно крупной апельсиновой дольке, и, приподнявшись на локте, устался перед собой страшным взглядом.

– Это не ты для меня, Мышонок, это я – для тебя, так к этому и относись. Это я сочиняю, я придумываю все эти истории, укомплектовываю запахами, самобытными нарядями, все, все подбираю. Эта девица из школы Домоводства, которую я свел с Вольфгангом. Кто она? Случилось так: в большом городе В. встретился мне на улице

мальчишка, лет этак... знаешь, я даже не решаюсь тебе сказать, вообрази, Мышонок? То есть бреду это я по городу, все идет своим обычным артистичным путем, и тут вдруг откуда ни возьмись этот мальчишка... совсем молокосос...

– Сколько лет-то?

– Мышонок, мне стыдно... Давай я встану и натяну узкое тоненькое трико, и ты накажешь меня?

– Я спрашиваю, сколько лет. – Вид у Мышонка был такой, точно он собирался запустить в стену пустым стаканом из-под тоника, но он поставил его и отодвинул от себя.

– Одиннадцать, Мышкин-зверюшкин. Одиннадцать. А вообще-то десять с половиной. С ума сойти. А вскоре после этого повстречалась мне и его мамаша, которой было тринадцать с половиной, когда она забеременела им, потаскуха, и она тут же начинает строить мне глазки, что мол, в случае денежной компенсации... Я подумал: «Да ты просто изверг, тебя и человеком назвать нельзя, не то что матерью, раз ты собственного сына способна сдать напрокат этакому чудовищу». Я и говорю: «Что же ты сама на панель не идешь, чтобы заработать сыну на приличное образование»? А из себя она была, надо тебе сказать, будьте-нате – весьма смазливая такая сучка. Она говорит: «Нет, я такое не могу, у меня там все так болит». У нее воспаление одного из яичников, заявляет она. Полагаю, что не стану рассказывать это Вольфгангу, а то вся соль пропадет. Это ведь та самая девица из школы Домоводства. Точно тех же лет, что и ты, Мышонок, если посчитать вместе возраст ее сына и дату, когда она залетела: десять с половиной плюс тринадцать с половиной, получается, точка в точку, двадцать четыре. Его звали Патрик, этого мальчугана. И вот ты уже обречен. А у нее – благозвучное имя Люсилла, потому что она выросла в трущобах, но все зовут ее Коринна, самое то имя, чтобы под водой и на воде... с... бананами, бутылками из-под кока-колы, коробками фиников, кукурузными

початками, торшерами, САДОВЫМИ СТАТУЯМИ... (Я взвыл.) Помоги мне, Мышонок. Я с ума схожу от любви. От любви к тебе. Ошибки быть не может. Ты спросишь, как такое возможно: двадцать четыре года и все еще в школе Домоводства? А вот пожалуйста: она там уроки ведет. Уроки, вот так! Ну и какие же это уроки? А сам у нее спроси, у этой... этой...

– Мы же о Фонсике, – гнул свое Мышонок. – По мне, так ты бы лучше про Фонсика дорассказал. Что мне за дело до этой, как ее там, девахи. И Вольфганг этот твой мне до лампочки. Какой еще Вольфганг, что за Вольфганг... Ну, хочет он эту девку, пусть ее поимеет.

– Я это и имею в виду, Мышонок. Я и пытаюсь все это как-то связать. Если бы ты с Мышонком стоял разговаривал, в этой его униформе, я хочу сказать, с Вольфгангом, я бы на все для него пошел, на что угодно... Он немного похож на тебя, а вернее сказать, здорово похож, хотя волосы у него потемней, потому что ему столько же, сколько и тебе, Мышонок, девятнадцать с половиной, в любом случае, ему нет двадцати. Тебе кажется ненормальным, что я потерял голову от мальчишки, как две капли воды похожего на тебя и в точности такого же красавчика? Что, нельзя? Я хочу видеть, как его великолепная солдатская задница дрыгается на этой девке, да, честно признаюсь, к чему дальше вокруг да около ходить. Я на все готов для Мышонка, я все для него сделаю, то есть я хочу сказать, для Вольфганга. У него точно такой же милый и такой же беспощадный, и такой же красивый задик, как у тебя, только посмуглее. Его зад – это зад солдата, а у тебя – зад матроса. Потому он и кожей побелей, порумяней, я имею в виду, но у тебя точно такой же крепкий, беспощадный мужской зад, как у Вольфганга...

– Да что это еще за Вольфганг... – Голос Мышонка звучал весьма недовольно, и все-таки в нем слышалось желание получить ответ на свой вопрос.

– Вольфганг – это сын. Тот самый малыш с фотографии, которую его отец показывал мне в лесу, незадолго до своего отбытия в юдоль геройской смерти. Время летит, Мышонок... Война была окончена, но еще долгие годы спустя царили между нашими братскими народами ненависть и глубокое отчуждение. Мосты, границы, плавучие понтоны, железные дороги – все было закрыто. Травой поросли перроны и пролеты между ржавых рельсов у сонных, пыльных, заброшенных пограничных станций. Бесконечно долгие годы немецким мальчикам и молодым людям был воспрещен въезд в нашу страну, поскольку они оставались врагами, пусть даже и снявшими военный мундир... Они к нам не ездили. Но Вольфганг, сын Вольфганга, тот неустанно искал меня, разыскивал из своей страны, потому что в ранце его павшего смертью храбрых юного отца нашли мое имя и последние слова, обращенные ко мне и к наследнику от чресл его... Таким образом он разузнал, кто я такой, где живу, и искал возможности встретиться со мной, но приехать друг к другу мы не могли. Неподалеку от его поместья жил один травовед, так вот он написал за него письмо... Королеве. И тогда нам позволили кратковременную встречу на границе. Ему нельзя было в мою страну, а мне – в его, но мы могли поговорить на границе – в доме с разделенным надвое садом, в комнате, где пол был расчерчен мелом, и сад тоже пересекала черта из ракушек и белой гальки: нечто вроде ничейной земли, так это и называлось – Ничейная земля. Там росло дерево, не имевшее отчества. Время от времени раздавались выстрелы, но раненых не было. И мы сумели спокойно поговорить. Так тихо было в том старинном станционном зале ожидания с большими пыльными окнами, будто в церкви... Я немедленно влюбился в него, сразу, как только увидел. Увидел его и тут же подумал: я ведь его знаю, но это оттого, что он был вылитый отец, и еще потому, что он был похож на тебя,

просто поразительно: те же застенчивость, мальчишество и в то же время мужественность, свойственные тебе. Да, вот только одно, и тут уж ничего не поделаешь. Я сначала подумал: вот что, немедленно познакомлю его с Мышонок, но потом решил, что не стану приставать к парню, потому что он не такой. Его отец любил меня, любил мальчиков, но сам он, этот темно-русый юный Вольфганг, с которым я беседовал на границе, не любил ни меня, ни мальчиков, в любом случае, не в этом смысле: он любил девушек и молодых женщин, и в этом я хотел ему услужить...

– Ну, вечно ты что-нибудь придумашь...

– Мышонок, я не мог иначе. Он был такая прелесть. Сначала мы поговорили, узнали друг друга поближе. «Вы знали моего отца?» – «Да, я знал вашего отца». – «Вы служили под его началом?» – «Да, это так». – «Вы лежали вместе с ним в лесу, ведь правда, вы там окапывались?» – «Да, нам пришлось забраться очень глубоко в землю. Ваш отец был... герой... Да, он был очень храбр... Я надеюсь, что вы будете так же храбры, как он, если это возможно... Он сражался, великолепно сражался, ваш отец, пока не получил смертельного ранения... Я вынес его на собственной спине... И тогда он расстрелял последний патрон, и застал... Он умер... у меня на руках...» – «Он умер... у вас на руках?» – «Да...» И, Мышонок, его светло-зеленые глаза наполнились слезами. Точно с трона, поднялся он с простого казенного деревянного стула, желая почтить память отца... и, казалось, что все тело его скорбит, Мышонок, не знаю, как это сказать иначе: даже его бедра, его пах, и великолепный, скромный, целомудренный изгиб спины скорбел: такое величие...

– Какой он был из себя?

– Неслыханный. Невероятный. Потрясающий. Но позволь мне для начала рассказать, как он стоял там против меня, об этом его погруженном в скорбь великолепном

юношеском теле в гробовой тишине огромного, пустого пограничного зала ожидания, где я полюбил его, потому что он был так похож на тебя. Для нашей встречи он оделся просто: на нем был короткий черный матросский бушлат и поношенные, хотя и довольно тесные брюки цвета желтой меди, слегка переливавшиеся при движении, в зависимости от того, как падал на них свет, в точности как тисненая открытка, ну, ты знаешь. Таким он предстал мне; после первых приветствий он чуть повернулся к окну, раздумывая над моим рассказом об его отце, и сквозь пыльное стекло задумчиво загляделся на безмолвный простор пустынной приграничной полосы, словно заглядывая в прошлое, бывшее одновременно и будущим... И, когда он слегка повернулся ко мне своим упругим гибким телом, моему взгляду, на этот раз со стороны, открылся его торс и очертания его очаровательнейшего мужественного зада и выдающегося мужского естества. И по всей его чарующе прекрасной, скромной фигуре ниже пояса, лишь отчасти обращенной ко мне, однако со всею плотью его соскорбевшей, заметил я, что он любил девушек и женщин, и не так чтобы – или, в общем, совершенно – не любил мальчиков и молодых мужчин. И все же я любил его, я не мог отвести от него глаз, я боготворил его. Думаю, это оттого, что он так походил на тебя, точно, поэтому. Не знаю, насколько разумно это было с моей стороны. Что поделать – не всегда мы действуем по уму. Я совершенно потерялся в нем, Мышонок. Я думал: ты получишь эту девку и ты ее поймешь, уж я об этом позабочусь.

– Какую там еще девку?..

– Какую он хотел, разумеется. Какую же еще. Да, тогда я еще не знал, что много позже, тогда-то и тогда-то, в один прекрасный день и час, я вместе с ним, одетым в униформу, буду стоять около Католической Женской школы Домоводства и замечу его великолепный, безжалостный и все

же меланхолический взгляд, устремленный на это стройное, распутное, вызывающее, ловко затянутое в замшу девицье тело на мужском велосипеде...

– Да как же ты в В.-то попал?

– В большой город В., что в провинции Л.? Ну смотри, это относительно просто, – вновь завел я свою унылую шарманку. – Короче: после нашей первой встречи на границе мы немедленно начали сладостную борьбу за право первым вступить на чужую землю. Последовало очередное письмо Королеве, воздушной почтой, еще более душераздирающее, дышащее еще более пылкой мольбой о восстановлении и процветании дружбы и взаимопонимания наших столь близких по языку и укладу народов. И в конце концов, как водится, голос сердца одержал победу – когда, к удовлетворению законных властей, было упомянуто, какое отличительное значение для будущего обоих народов имела и будет иметь наша встреча. Сколь сильно было ожесточение поначалу, столь резко все изменилось ныне. Обе стороны наперегонки умоляли друг друга о почетном праве первородства на вступление в дружбу: страна Вольфганга жаждала первой поприветствовать меня на своей стороне, а моя собственная страна и народ желали, в свою очередь, принять в объятья Вольфганга, с воплями восторга и в слезах. В конце концов все решил жребий: Королева, закрыв глаза, бросила в пруд четыре яйца, и ни одно из них не разбилось... Вот таким образом Вольфганг прибыл ко мне в большой город В., по железной дороге. Это был первый поезд, прорвавшийся к нам с той стороны, под крики ликования, а посему его тянул паровоз, изукрашенный драгоценными фестонами. Поезд влетел на станцию города В. с таким грохотом и на таких безумных парах, что многие решили было, что он пролетит ее насквозь, но он остановился, проскрежетав тормозами, будто испустив

последнюю жалобу издавна лелеемой скорби, которой предстояло вскорости обернуться радостью... Машинист выбрался из недр своего черного, пыхтящего чудища и, пошатываясь, ступил на перрон... «Наши народы... навеки...» – было все, что он мог вымолвить, такая его чувствительность разобрала. Хотя поезд был длинный, привез он одного Вольфганга, но вагоны при этом были до самой крыши наполнены цветами и всяческими дивными кроткими животными... И тут еще я, с букетом в руке! Сперва я подумал: кто знает, он решит еще, что я рехнулся: мужчина встречает мужчину цветами, но мне-то что, привычно... Однако Вольфганг вовсе не нашел ничего ненормального в этом приветственном букете, что говорило о том, что он был благородных кровей, этот милый зверь... Мне хотелось припасть к его руке, но я подумал, что с этим лучше подождать. Вперед, Мышонок, выше голову! Когда там у нас еще праздник? Когда случится нам покурлесить? В этом, во всяком случае, обществе, где мы живем? Отпразднуем жизнь! И какой ассортимент! У нас есть ты, у нас есть Вольфганг, и покорного слугу не забыть. Вольфганг, он только на эту Коринну заглядывался, но еще этот ее сыночек одиннадцати с половиной лет, этот сопливый катамит, этот маленький выблядок, Патрик. О да! И Фонсик при всем при этом: он сопровождает тебя в большой город В., поскольку, само собой, сидит в машине у тебя на коленях, теперь еще красивей, просто с ума сойти, в буквальном и переносном. Вот этому Патрику только дай до Фонсика дорваться. И пусть эта шлюха, мамаша так называемая, Коринна, она же Лукулла, попробует пасть раскрыть, мы напустим на нее Фрэнки, черного Фрэнки, который ее отымеет в хвост и в гриву, если там еще есть чего иметь, разумеется, а не то придется ему взять кочергу да и припечь ей второй яичник, чтобы у нее раз и навсегда яйцеклад отсох...

Мышонка интересовал только Фонсик, тут уж ничего было не поделывать. В сущности, я уж и раньше это почувствовал, но он сам уже столько раз мне прямо об этом говорил: уж больно много поэзии – на этом я настаивал, – а также избыток родственных связей: эта Коринна, к примеру – уж конечно, имелся у нее еще младший братец, с которым она – порождение ехиднино, грязная шлюха! – водела шуры-муры, хотя в действительности, до боли и понастоящему, всем своим грешным и все же невинным сердцем, трагически любил он своего маленького племянника Патрика, с которым – что касалось плоти – мог делать что угодно, но чья душа, развращенная уже в материнской утробе, не знала привязанности. У этого влюбленного братишки Коринны было имя, которое мне теперь так сразу и не вспомнить.

– Давай-ка ты дальше про Фонсика.

– Да, хорошо, что... э-э... я и сам собирался. – Наскоком не сумел – пошевели мозгами. Но как же все-таки звали этого Коринниного братца? Он был сильно младше ее. Красивое было у него имя, великолепное – головокружительного, почти светящегося, лилового тона; имя, которым могли назвать и юношу, и девушку; или, проще сказать, такое редкое для мальчиков имя, изначально все-таки девичье: стало быть, девичье, которым иногда, в виде исключения, называют мальчиков. Но что же это было за имя? Я тряхнул головой. – Молчанье дышит, Мышонок.

– Что, где там еще?

– В лесу, где ты сейчас сидишь в автомобиле с Фонсиком.

– О, да.

– Фонсик встает с твоих колен. Вокруг никого. Ни единой души кругом, ни звука. Мертвая тишина... Можно, я вот тут руку положу? Нужно ведь мне, в конце концов, где-то ее положить, правда?

– Нет, нет, погоди...

– Ну, пусть она тогда тут останется. Не на самом спусковом крючке, а на патроннике, на магазине то есть, на твоей изящной оружейной башне со столь изысканной смычкой посередине, укрытой очаровательным юношеским мехом: сердечная сумка второй, белесой крови, что с тихим, почти бесшумным лепетом бьется меж бездыханных бедер наездника... Позволь моей руке немного полежать там, охватить ее ладонью, да, так... Это приносит счастье потомкам. Фонсик, он такой же милый, совсем как ты...

– Да, уж это точно. – Мышонок прерывисто дышал, посапывая, и вдруг закашлялся.

– Он встает, Фонсик, в твоём красном спортивном автомобиле, и в следующую секунду уже стоит во весь рост, у руля. Ты выскакиваешь, с быстротой молнии выскакиваешь ты, Мышонок, обегаешь машину и распахиваешь перед ним другую дверцу. Она – точно лепесток цветка, эта дверца. Машина полностью открыта сверху, в вышине – бесконечный зеленый лесной купол, и Фонсик застыл в твоей кроваво-красной машине, словно восстав из кроваво-красной, бархатистой чашечки лотоса, лона, его породившего, в белоснежной, неслыханной непорочности своего тонкого белого бумазейного свитерка над грешными, дивно прекрасными, черными как ночь, бархатными юношескими брюками, скрывающими его порочные и все же по изначальной сути своей невинные бедра и юношескую промежность: безгрешность от греха, Свет из тьмы багряной, которая, в сущности, сама есть свет... Положи этот свитерок на простертые ладони и вынеси его к людям, и пусть они закроют глаза и приблизят руки к этому свитерку, и ощутят исходящее от него сияние, и спроси их тогда: «Разве эта белизна не есть невинность вечная?.. невинность на все времена, невинность на веки веков? Чист? Чист!» А тот, кто будет болтать другое... осмелится... я тому башку оттяпаю... как нечего делать!

Мышонок лежал тихо, ничего не отвечая. Неясно было, понравилось ли ему такое продолжение. И было еще вопросом, смогу ли я довести до конца поставленную передо мной задачу, или же задачу себе поставил я сам, и ее нужно было решить... Это было так безбрежно, все это, одна дорога вливалась в другую, и выберусь ли я когда-нибудь на верный путь... А если еще учесть, что все должно быть записано в книгу, но так, чтобы не возникало разночтений, кто был кем... и кто кого любил, и почему, со всем сопутствующим нытьем по поводу того, что тот-то и тот-то сболтнул то-то и то-то да еще и пообещал, что несомненно вернется к этому страниц через сорок шесть-пятьдесят...

– А потом? Вы вышли... Фонсик вышел... и вот...

– Да, он шагнул к двери, которую ты распахнул перед ним, и задержался на краю, на миг, всего на несколько мгновений, перед тем как выйти. Отсвет красной кожаной обивки сокровенным пламенем сверху донизу облил его силуэт. И весь лес затаил дыхание. Ты все это время уже слышал, как дышит лес, но теперь воцарилось молчание, и ты услышал его... И среди деревьев ты заметил олененка, что глядел на Фонсика, желая погладить его ноги, колени, его межножье двумя своими пушистыми бугорками, которым еще предстояло стать рогами, – поскольку только так сумел бы он выразить свою глупую, бессловесную любовь... Но, встретившись с тобой взглядом, он опустил голову, прятнул ушами и с шорохом умчался прочь, назад, в темную чащу... И все прочее мелкое зверье, со своими пушистыми хвостами и темными бархатными мордочками желало сделаться ступенями лесенки, по которой Фонсик снизойдет из машины на землю. И ты бы тоже этого хотел, Мышонок... Ты тоже хотел бы, чтобы он ступал по тебе, попирая ту заветную частицу тебя, в знак того, что ты принадлежишь ему... Ты хотел бы опуститься на колено, сцепив руки подножкой, стремением, чтобы его нога, неуверенная,

словно охваченная трепетом благодати, совершила этот единственный шаг. Но больше всего тебе хотелось бы преклонить оба колена, Мышонок, и уловить его ногу, уже поднятую, и покрыть ее поцелуями, и пасть навзничь и утвердить ее... у себя на лице, Мышонок, прямо посередине, и паче упования возуповать на то, что он хотя бы на мгновение всем весом опустится на тебя, и какой-нибудь небывало острый камешек или отточенный металлический кончик шнура испяtnает, иссечет твои черты, превратив нос и рот в два багровых кровотокащих шрама... Но ты не бросишься на землю и не упадешь на колени. Этого ты делать не должен...

– Но вот именно этого мне бы и хотелось, встать перед ним на колени...

– Это чрезвычайно мило с твоей стороны, и в высшей степени объяснимо, Мышонок, но ты не должен этого делать – по крайней мере, пока не должен: он этого не поймет. Потом, потом... тогда можно... настанет такой день и час, на опустевшем подоконнике в кухне пропахшего гарью заброшенного дома, через который вы пробираетесь, как на войне, потому что опять война... И вот... вот начинается смертоносная бомбежка, и тогда ты внезапно опускаешься на колени, и больше никаких сомнений, даже в том, что...

(О, что подумаешь Ты, Владычица? Я не могу – один не могу. Ничего, совершенно ничего не получится, если Ты не поможешь мне. Я бы хотел Тебе кое-что предложить. Вся эта книга будет – для Тебя, посвящена Тебе, целиком. На первой странице я поставлю имя Твое, без сокращений, полностью. Я напишу Твое имя полностью. И никаких там: «Для» или «В честь», нет, я напишу: «*Эта книга посвящается*» – и затем Твое имя, которое есть Ты: в этом нет никаких сомнений, по крайней мере в том, что касается Тебя. Я скажу... Все, что в этой книге окажется удачного, я припишу Тебе... а все, что не удастся – себе. Воистину так.)

– А почему мы, собственно, выходим? Что там смотреть-то? То есть, для чего мы вообще туда заехали?

– Потому что так надо, Мышонок. Как только Фонсик уселся рядом с тобой и вы тронулись с места, за рулем словно бы уже был не ты. Вы мчались вперед, ты выезжал на перекрестки, сворачивал или проносился прямо, сам не зная почему. Кто-то другой управлял машиной вместо тебя... и вот так вы добрались до этого места в лесу. Священного места. Многие, многие годы здесь не бывало ни души. Поэтому звери и осмеливаются выходить на опушку и разглядывать вас. Невероятно любопытные, выглядывают они из темных, крупнолистных, низко стелющихся зарослей плюща. Повсюду – пары темных мерцающих звериных глаз, словно неподвижные раскаленные угольки. Они смотрят, теснясь и толкаясь, чтобы лучше видеть, малыши от нетерпения начинают проказничать, щекочут друг друга, а взрослые, пытаясь утихомирить их, то и дело дают им тычка... Скок-поскок, вот что им любо... И клекот, и писк, и гвалт... звери так разговаривают: они не умеют говорить, как мы...

– Боже, Боже, Боже праведный...

– Да, но ведь это же правда? У животных есть нечто вроде речи, но она не такая, как у нас. Разговаривать, как мы, они не могут. Конечно, существуют так называемые говорящие животные, тебе это известно, но ведь это не настоящая речь. Они могут произносить слова, но сами их не понимают. Мы слышим эти слова и говорим: послушай-ка, эта зверюшка умеет разговаривать, но в действительности ведь это не так. Мы эти слова понимаем, а сами звери – нет. Весьма односторонне. Знавал я одного попугая, так он целую строку из песенки мог пропеть. А жил он на Ондерлангс 4, или 14, Таундорп Ватерграафсмеер, хочешь, поди спроси. Не то чтобы такая крупная птица, так себе, попка. Он тут больше не живет, либо они переехали, либо уж он помер, хотя известно, что до таких лет они доживают,

невероятно. Как вчера помню: был у меня один знакомый попугай, так он столь глубоко скорбел о смерти нашей старой Королевы, что просто-напросто отказывался праздновать день своего рождения в какой-либо другой, кроме ее, в конце лета... Оденял детишек орехами и так слегка их поклеивал, но всегда тихонько, очень добродушно.

Мышонок взвыл.

– Глаза всего зверья устремлены теперь на Фонсика. Они следят за каждым его движением, в то время как он уже занес ногу, чтобы выйти из машины. Из-под своих длинных мальчишеских ресниц он медленно обводит взглядом лесную опушку. Он не видит зверей, поскольку свет падает на скрывающую их темную листву, но всякий раз, когда он, сам того не зная, встречается взглядом с одним из них, зверь, не в силах выдержать его взора, опускает глаза, и, отступаясь, неловко пятится назад. Такова сила Фонсикова взгляда, скользящего по кромке леса, – подобно волне или дуновению ветра, заставляет он листву трепетать. Его нога касается пружинящей, сухой, устланной хвоистым ковром земли, и словно грозовым разрядом пронизывает весь лес, и звери в высшей степени предусмотрительно, совершенно бесшумно, отступают на семь шагов назад и замирают там... Фонсик стоит теперь рядом с тобой, на этой прямоугольной заброшенной лесной поляне... Какие только мысли не проносятся в твоей голове, Мышкин-зверь... Это такая поляна, знаешь ли... очень отдаленно похожая на то место в ***ском лесу, стоянка, помнишь, где мы вышли с тобой вдвоем и... тот тип еще медленно так выкруливал перед тобой на своем роскошном зеленом моторе, он на тебя просто слюной исходил, но рожа мне его не понравилась, он не то чтобы старый был, просто с ходу очень здорово напомнил мне такого, знаешь, уличного молодца: «мешалки-взбивалки-продам-для-мадам!». Но в другой раз, Мышонок, в другой раз... Я сожалею, что придержал тогда вожжи твоего

беспощадного вождения... В следующий раз, когда мы с тобой выйдем там погулять и я поставлю там грузовик, в мой очередной выходной, когда я вернусь после одного из этих длиннющих чертовых перегонов в Льеж и Авалон... тогда... тогда... Да, Мышонок, нельзя натягивать лук до бесконечности. Небольшое отклонение от программы. Жизнь – не всегда сказка. Вернемся-ка к действительности и нормальной, обычной повседневной жизни. Мы идем на эту поляну, и ты, в своей кожаной куртке, позволяешь своей жертве увязаться за собой. Они, это трусло забитое, смываются малость пораньше со своей каторги, между четырьмя и пятью часами пополудни, наврав шефу что-нибудь этакое, а домой им нужно по крайности к без четверти шесть, как раз к тому времени, когда картошка начнет развариваться... Они думают, что у истинной любви бывают определенные приемные часы – по рабочим дням, с четырех до пяти-полшестого, с соблюдением служебной тайны и все такое. И вот они прокрадываются по лесным дорогам в своих заляпанных или, наоборот, нелепо приближенных, чуть дороговатых авто, останавливаясь, снова трогаясь, нерешительно петляя между деревьев... Ты выискиваешь какого-нибудь трусоватого представителя, перемазанного клеем и средствами для его отмывки, чем они там его отмывают, в грязной зеленой машине, дома у него жена и двое вечно хнычущих отпрысков. Нельзя сказать, чтобы красавец, на плечах у него этакая тыква с чересчур аккуратным пробором, но ничего, сойдет, с этой его квадратной задницей асфальтоукладчика, упакованной в чересчур просторные, надо сказать, модные зеленые брюки, дающие, однако, наглядное представление о его коммивояжерском сиделище... На нем – куртка, в сущности – скорее джемпер типа «вроде-как-в-моде», купленный на распродаже, из тех, какие приличная публика надевает, чтобы в воскресный день погонять в мячик с сынишкой или посидеть у горящего камина... Ладно,

это все не суть... Он следует за тобой, забирается в мой грузовик, но там еще и я, и он шарахается прочь, но я успокаиваю его: «Давай сюда свою куртку...» и аккуратно вешаю ее на плечики. А потом задергиваю занавески в кабине. Дверцы – на замок. Я говорю: «Снимай туфли». – «Зачем?» – спрашивает он. Я говорю: «Ковер попортишь». Он малость смущен, но складывается пополам и развязывает шнурки. Он нагибается, Мышонок... Он стоит, согнувшись, и мы созерцаем его обтянутую брюками задницу... Я преакуратнейшим образом задвигаю его туфли в уголок... Куда нам спешить, верно? А потом командую: «Спускай штаны». Он медлит и мычит и несет какую-то херотень. И вот тут я хватаю его, заворачиваю ему руку за спину и приступаю к допросу: «Имя? Где живешь? Место работы, точно? Ах, вот оно как?.. Где документы? Чья машина?» Такова жизнь, Мышонок... Те басни, которыми я тебя тут кормлю в постели, они – охотно допускаю – вполне съедобны, но жизнь, как она есть, это все-таки нечто невероятное, я имею в виду, просто все, что ты переживаешь, как работник умственного или там физического труда, или домохозяйка... Я хочу сейчас... сам... да, все во славу твою и честь и величие твое, послушай, я люблю тебя, не о том речь, я ничего такого ни с кем, кроме моего законного... но если ты мне позволишь... я тут слева... я подержу тебя за мешочек, но можно мне еще руку тебе под попку, знаешь, мое запястье у тебя почти в самой расселинке... да, вот так... а теперь я своей левой сам с собой поиграю? Я уже почти готов... Вопрос двух минут... Никаких больше поправок или заявлений недоверия, будьте любезны. Что скажешь? Если мы в будущем это сделаем, как предполагается... сделаем вместе... ты их притягиваешь... Ты молодой, светловолосый, красивый... Они бегают за тобой, с колотящимся сердцем... И вот, когда он у нас в грузовике, кузов обклеен чем-то там в цветочек, и там ночнички, и занавеси с кистями, и часы с кукушкой, штаны у него ниже

колен и я устраиваю ему допрос с пристрастием, для тебя, любовь моя, милый, можно? И я... если позволишь... но только если ты хочешь, тогда... я врываюсь в него сзади, дабы наказать его, за то, что он смотрел на тебя... Я ударяю... для тебя, я вталкиваю в него своей такой матерой, шипастой, узловатой, для тебя... набухшей до невероятных размеров дубиной и терзаю его: ей-богу, я шурую в нем, пока там у него не занимается пламя, в самых недрах, и щиплю его чахлые мехи, внизу, там, где я тебя сейчас держу, но его я там щиплю, для тебя, так, что он взрывает... Я беснуюсь в пляске, я ударяю в него своим изощреннейшим единомужерогом, незапятнанным, для тебя, поскольку я не сплевываю, нет, я не плюю в него... Нет, я использую свой рог только и исключительно для пытки, потому что он принадлежит тебе, и потому что я принадлежу тебе, и потому, что моя для тебя и в твою честь занесенная полицейская дубинка – только для тебя, только твоя... Я плюну лишь потом, много позже, совсем рядом, рядом с тобой, только с тобой... но не в него. И ты... ты... ты не коснешься его, Мышонок... Ведь ты – принц, принц крови... Ты тормозишь себя, потому что я умоляю тебя об этом, продолжая терзать его, все жесточе... покуда... ты... ему... не плюнешь... прямо в лицо... и не ударишь... и я... и я вижу твою попку в зеркале... я вижу... Тебе нравится... зверь... юная bestия... тварь...

– Ну, как там... Э-э... свершилось чудо?

– Да... свершилось...

– Быстро ты.

– Да. Здоровье – главное богатство. Ах, он – ничто иное, как трепещущее здоровье, дышащая красота, Фонсик, и сияющая юность, когда он стоит вот так перед машиной, Мышонок, рядом с тобой на ковре из сосновых игл, устилающих эту четырехугольную таинственную поляну. Он стоит все еще так близко к твоей огненно-красной

спортивной машине, что заливает его сзади сиянием, словно он стоит в огненном море видения...

– Брр, ну и холодина. Фу, какую ужасную топь ты устроил в постели.

– Да. Полдела – не дело. Любить так уж любить. Вот что я тебе скажу. Можешь хоть в газете пропечатать.

– Ты любишь меня, Волк?

– Э-э... я... это... полагаю, что да, знаешь ли...

– Ну, давай дальше.

– Только теперь ты, наконец, разглядел, до чего Фонсик хорош собой. Он не только удивительно красив, он еще невероятно мил, ужасно мил. У тебя, Мышонок, при виде него просто слезы наворачиваются. Ты поглядываешь на него искоса, но не решаешься толком смотреть на него. Ты стоишь к нему лицом, и твой взгляд невольно задерживается на его бедрах, а затем... на межножье, там, где его юная пастушья свирель горной грядой вздыбливается под застегнутыми черными бархатными брюками, и внезапно слева на его штанине ты замечаешь овальное влажное пятно, где он в стремлении к наисладчайшему блаженству, к исполнению своего наивысшего желания, при свершении чуда, излил белую свою кровь...

– О, как хорошо, Волк... как ты красиво рассказываешь...

– Врешь, поди?

– Да нет, что ты. Мне в самом деле очень нравится.

Очень, очень красиво.

– Он восхитительно хорош, Фонсик, и очень, очень мил. Но тебе он нравится гораздо больше – если это вообще возможно, – когда ты замечаешь, как смущает его это влажное пятно на брюках, от которого ты не в силах отвести взгляда. Он опускает глаза. Тебе хочется что-то сказать, как-то действовать, но как? Фонсик делает несколько неловких шагов вперед, так что перед его брюк исчезает из твоего поля зрения, и теперь он стоит перед тобой,

рядом с тобой. Что бы тебе хотелось сделать? В тебе пробуждаются неясные мысли, они постепенно захватывают тебя, а ты, лишившись дара речи, глядишь на юношеский изгиб его спины... У тебя тот же взгляд, какой я часто замечал прежде, когда ты смотрел на мальчишек возле школы, с их выгнутыми колесом спинами – они ведь не работают, Мышонок, они стоят и чешут языки с девицами, нагло регоча, и по твоему лицу я читаю, что ты думаешь, что ох заставил бы ты их расплатиться сзади тем, что они воображают получить спереди...

– Кейс...

– А? Что?

– Кейс... он... тоже... он тоже так стоял... спина у него...

И смеялся так же, спиной ко мне, а сам с кем-то болтал... Я видел его со спины.. Он... ну, давай дальше...

– Ты смотришь на Фонсика, на восхитительный, чарующий изгиб его спины, и вот твой взгляд спускается ниже, на два темных бархатистых холмика. Горло тебе перехватывает, и ты осмысливаешь что-то, неясное тебе самому, и мысль эта не отпускает тебя, хочешь ты того или нет. Тебе хочется... так или иначе... схватить Фонсика... вновь прижать к себе, но теперь для того, чтобы... Ты пытаешься отделаться от овладевших тобой фантазий, отмести их, и встряхиваешь головой... потому что не хочешь этого, хотя желаешь, всем своим существом, всепожирающей страстью к нему...

– Ну и чего же я такого хочу?

– Ты хочешь его... высечь, Мышонок. Высечь, прямо там... Ты хочешь бить его, пороть, мучить, стегать, так, как никогда не стегали и не мучали ни одного мальчишку, потому что никогда еще ни один мужчина не любил мальчишка так, как ты теперь... любишь Фонсика... Тебе уже слышатся свистящие, задыхающиеся, рыдающие звуки ударов, которыми ты осыпаешь его золотисто-белое, обнаженное

Юношеское тело, а он извивается и воеет, прикованный к изукрашенной цветами брачной постели, целиком повторяющей форму его тела... Есть такое бичевание, столь беспощадное и столь продолжительное, столь безмерно длительная пытка во имя любви, что сумевший перенести ее и выжить навеки будет предан своему возлюбленному палачу... Тебе это известно, потому что втайне ты знаешь многое, ведь это дар одного подземного духа, коим ты одержим... Ты хочешь безостановочно хлестать его ремнем для мальчиков, таким темно-красным ремнем, оставляющим при каждом ударе мерцающую кровавую полосу, что искрами переливается на его светлой, бархатистой, замшевой коже, пока, запекшись, не потемнеет... Он всхлипывает, рыдает, содрогается, покуда все его юношеское тело не покрывается кровью и пронзительные, острые вскрики не переходят в хрип и прерывистые вздохи и затем в молчание, и, хотя он все еще вздрагивает при каждом посвисте бича, не исторгает более ни звука, впав в беспамятство, и умрет, если ты не перестанешь хлестать его... Но ты, ты уже просто не можешь остановиться, Мышонок... Ты тоже обливаешься слезами, всхлипываешь, с каждым ударом... Ты знаешь, что он умрет, если ты продолжишь терзать его, но знаешь и то, что прекратить этого ты не в силах... И вот Фонсик умолк, и теперь хрипишь, воешь и стонешь ты, и твои вопли – словно глухая, исполненная мольбы жалоба, слезы безвинно мучимого щенка... И ты хлещешь и хлещешь, судорожно втягивая в себя воздух, и вот безжалостная кожаная лента готова в сто сорок седьмой раз со свистом пасть на его беззащитные юношеские плечи... как вдруг некая невидимая длань перехватывает твою руку и, сотрясаемая дрожью, удерживает ее. Фонсик еще жив... и будет жить, для тебя... и на всю жизнь теперь он будет твой, и даже в смерти не разлучит вас Господь... как говорится...

– Я и впрямь его исхлещу? Фонсика?

– Ты оглядываешься по сторонам, Мышонок, готовый сорваться с места и вновь схватить его в объятия и тогда... тогда... Но он оборачивается и смотрит на тебя. И вновь тебе сжимает горло, и словно шумным, хлестким порывом ветра запирает тебе в груди дыхание... Он стоит там, Фонсик, это все, что ты знаешь... И хотя машина принадлежит тебе и вы так далеко углубились в лес, что самому ему оттуда ни за что в жизни не выбраться, – несмотря на все это, ты опасаясь, что он... захочет уйти... уйдет... Ты хочешь сказать хоть что-нибудь, вроде: «Ведь ты же... ты не уйдешь... Фонс?» Но, разумеется, не говоришь. С языка твоего рвется сумбур, путаница бессмысленных звуков. «А славно тут, в лесу, да?» – можешь ты сказать, к примеру. Или: «Здорово, что ты здесь». И ты чуть не произносишь: «Какой ты красивый, Фонс...» – но спохватываешься и не говоришь этого, и немедленно начинаешь сожалеть, что не сказал, что не достало тебе духу, и вот ты уже совсем перестаешь соображать, что говоришь, и несешь что попало. Ты говоришь: «Хорошо здесь, правда?» Тогда как ничего тут хорошего нет. Я хочу сказать, ты ляпнул такую глупость, что тебе становится неловко... Можно было бы придумать что-нибудь этакое, а ты плетешь всякий вздор. Но есть, однако, некое очарование в твоей манере произносить лишённые смысла слова, так что кажется, что они все же что-то значат... потому что при звуках твоего голоса Фонсик расцветает улыбкой. И кивает, и его светлая пушистая челка чуть вздрагивает, и на миг ее тень мягко падает ему на веки и вновь исчезает. Он кивает и снова делает несколько шагов влево, к краю поляны, где стоит камень, эта четырехгранная усеченная колонна или же невысокий обелиск, и ощупывает обращенную к нему сторону, где, похоже, проступают остатки текста, некогда вырезанного или же высеченного в этом глубоко изъеденном временем камне. Текст занимал всю его поверхность, сверху донизу, поскольку сквозь щербин

проглядывает рисунок из горизонтальных линий. Действуя рукой и ногой, Фонсик отскребает поверхность камня, и зеленовато-серая, сухая, намертво сцепившаяся со мхом каменная шкура крошится на землю. Ты подходишь ближе, Мышонок, и глядишь на него, на дивные, завораживающие движения его светлой юной руки и обутой в баскетбольную туфлю светлой юношеской ноги. Теперь он не должен уходить... нет, больше никогда... Но как ты сможешь воспрепятствовать тому, что он станет великим скрипачом или прославленным футболистом: юный гений-универсал, «юноша с золотыми руками и ногами», как будет именовать его благожелательная пресса... Слава Богу, у тебя есть знакомый врач, юный красавец-хирург – столь же, как и ты, страстно влюбленный в Фонсика – с которым у тебя вечное соглашение, так что Фонсик усыплен и похищен, а очнувшись, обнаруживает, что у него отняты левая кисть и левая нога ниже колена – в высшей степени аккуратно, так что его осиротевшие левые запястье и лодыжка оканчиваются двугорбыми костяными холмиками, как на табличке «не влезай – убьет», или на этикетке от яда, так что, заключая друг друга в объятия на ложе вашей безграничной, бесконечной, чудовищной любви, ты нащупываешь и трогаешь эти холмики на месте бывшей кисти, и другие два, там, где была ступня, и можешь ласкать их ладонью, прижиматься ногой, ощущая истину его дважды-два-четыре маленьких всхолмлений, отчего оба его крутых холма навсегда будут принадлежать тебе, а не бескровной концертной публике или всегда готовому крушить и метать быдлу спортивного стадиона... Ты созерцаешь светлые бугорки запястий его покрытых серебристым юношеским пухом обеих – еще целых – рук, выступающих из рукавов тонкого белого свитерка, и разглядываешь костные выпуклости на внутренней стороне его щиколоток, защищенных резиновыми кружочками поверх холстины баскетбольных туфель, в которых ерзают

обе ноги, все еще его собственность... Расскажешь ты ему потом, что это ты, не кто иной, как сам ты, велел свершить над ним это двойное изуверство ... расскажешь ему?.. Фонсик царапает и скребет ногтями и жестковатой подошвой своей холщовой туфли по поверхности каменной колонны. Все больше выцветшей каменной крошки и мха сыплется с камня на землю... Он расчистил верхнюю половину и почти отскреб нижнюю, и справа, и слева, но буквы, цифры, сам текст, по-видимому, больше не разобрать. В центре шероховатая корка приросла намертво, и Фонсик подбирает плоский камешек, чтобы использовать его как скребок. Линии теперь видны отчетливей: проступают края, некогда образывавшие строку, но больше их нет, нигде... Теперь он отскабливает посередине последний кусок шелушащейся шкуры и вдруг испускает сдавленный крик: буква, одна-единственная буква, заглавная. «Смотри, – говорит он, – это „М“. Видишь? Это „М“!»

(В памяти моей вновь кое-что всплывает. Ах, как давно все это было... Внезапно мне вспоминается, что, записывая на белоснежных страницах того толстенного кондуита ***ской гимназии города А. свое имя и дату появления на свет, я обнаружил, что между ними мне полагалось вписать слово *natus*. Не просто «родился в...», а именно *natus*: *natus* для существ мужского рода, *nata* – для женского. Можно было бы на мгновение предположить, что я по ошибке или из-за того, что моему имени надлежало появиться сразу после имени какой-то девочки, я чуть не написал слово *nata* вместо *natus*. Но нет, я написал просто и без тени сомнения – *natus*. Ну да – просто? Вообще-то я каким-то образом чувствовал, что это полная чушь, что в целом тут что-то не так, что я с тем же успехом могу сей же час покинуть школу; но я никогда не сумел бы облечь это чувство в слова, как бы страстно я этого ни желал.)

Глава пятая

Один в постели

– Итак, Вольфганг стоит рядом со мной на углу улицы, на самом краю широкого тротуара, наискосок от школы домоводства. Мы стоим подальше от входа, чтобы не бросаться в глаза. Он замечает ее, когда она выходит из широких ворот школьной велосипедной стоянки – в тот самый момент, когда мы проходим мимо школы. Заведя велосипед на край тротуара, она остается у входа, а мы проходим дальше. Я вижу, как Вольфганг смотрит на нее, как его взгляд обшаривает ее фигуру. «Не знаешь, кто это?» – «Узнаем, Kommandant¹». Мы говорим по-немецки, поскольку благодаря моей открывшейся к тому времени способности к языкам я понимаю все, что он говорит, и по-немецки же излагаю ему все мои собственные соображения. Мы проходим еще немного и там, на углу, где-то через дом-другой, останавливаемся и оборачиваемся. Она все еще там. Только теперь я замечаю, что велосипед у нее мужской. Не знаю, уделяет ли Вольфганг особое внимание этому факту. Но он смотрит на нее, ведь смотрит, Господи боже... Разглядывая ее, он вдруг смущается, и им овладевает беспокойство.

– Здесь мы можем стоять совершенно спокойно, – говорю я ему по-немецки. – Куда нам спешить? Побудем здесь. Любуйся, сколько хочешь. – Признаки собственного помешательства уже явственно заметны у меня в штанах, в носовом кубрике, когда я смотрю на Вольфганга, не сводящего глаз с гибкой, вызывающей девичьей фигуры у входа на стоянку. И, в свою очередь, обегая взглядом его ловкое, молодое солдатское тело, я замечаю, что ствол его штурмового тарана под мягкой тенью застежки щекотно-шершавых

¹ Командир (*нем.*)

и все же бархатно-мягких военных брюк уже приведен в полную боевую готовность.

– Она кого-то ждет, – говорю я, и это, похоже, в самом деле так. «Тебя», – разумеется, подмывает меня добавить, – «тебя», – и, разумеется, я этого не добавляю.

– Мне это не так чтобы уж очень интересно, – сообщил Мышонок.

– В этот момент, Мышонок, совершенно случайно – а может, и нет – именно в эту самую секунду, когда мы с Вольфгангом стоим и пялим глаза на углу, в каком-то метре от школы, мимо проходит этот самый мальчик. Он тоже останавливается. А вообще-то нет, это была не случайность.

– Какой еще мальчик?..

– Ее брат. Младший братишка, которого она использует и гнуснейшим способом унижает, заставляя его служить инструментом для ублажения ее греховного, распутного сластолюбия, – это сокровище, бедный, несчастный голубочек, Мальчик-одиночество...

– Ну и как же его зовут?

– Э-э... Братишка... Ну, конечно, это не имя – да ведь мы же все равно пока не знаем, как там его кличут... Я говорил тебе, Мышонок, что Вольфганг поразительно хорош собой, и малыш Патрик – блядовитая маленькая тварь, разъебай одиннадцати с половиной лет, сынок этой домоводческой шлюхи, Коринны – я имею в виду ту самую, которую Вольфганг восхотел столь беспомощно, – он тоже красавчик, эта мокроногая продажная задница – одиннадцать с половиной! – он такую неукротимую страсть в тебе разбудил бы, если б ты его увидел, но все это – ничто, ничто по сравнению... с... Братишкой... Нельзя сказать, что Братишка красив... Да, хорош, дивно хорош, ослепительно хорош, конечно, – да ведь никаких слов тут не хватит. Его наружность – не просто человеческая внешность... Его явление – это откровение, хотя и остается видением

сокровенным... Мышонок, послушай... Вольфганг, тот просто голову потерял от этой Коринны – в любом случае у него на нее просто фатально стоит, на эту шалаву дешевую, а мы с тобой, оба – ты и я, разумеется, – немного влюблены в Вольфганга, хотим мы того или нет, – это более чем нормально; что до меня, то я, согласно собственному грешному пристрастию, просто заболел этим маленьким проблядком неполных двенадцати лет, Патриком, который и в тебе вызвал бы головокружительную страсть, если бы ты только увидел его, Мышонок, потому что ты – мужчина, никуда не денешься, и ничто мужское тебе не чуждо... но... послушай... Возлюбим Братишку втайне... будем оберегать его и... поклоняться ему... даже если он нас... отвергнет... я имею в виду... – внезапно я совершенно отчетливо вспомнил, как звали Братишку в действительности. У него было два имени. Оба они мне были известны, но что-то – к счастью, с достаточно убедительной силой – подсказывало мне, что называть их, по крайней мере сейчас, нельзя.

– Откуда он взялся? Сколько ему лет?

– Он появился именно в тот самый момент: это она, Коринна, так ему велела. По ее приказу он должен в это время, не раньше, не позже, ждать ее у школы. Каждый божий день он обязан ее хоть раз... Я должен тебе сказать, Мышонок, должен признаться – перо мое отказывается выводить чудовищные слова, описывающие их деяния – в том смысле, что язык мой вряд ли осмелится выговорить... Каждый божий день он должен... с ней... своей собственной сестрой... для этого они сбегают в пустое заброшенное здание бутылломоечной фабрики... И он, Братишка, наш Братишка... должен подчиняться ей и творить с ней беззаконие, которое она, ненасытная вурдалачица, жаждет и вымогает у него, и он не смеет ей отказать, поскольку больше всего на свете боится, что тогда она воспрепятствует ему встречаться с малышом Патриком, которому он предался

всем своим юным, невинным, незащитным сердцем... Ведь он любит малыша, который ни на волосок не лучше его потаскухи-матери... и он так печален, Братишка... но до чего хорош, до чего мил, этот Юноша воистину красоты все печальнейшей...

– Сколько ему лет?

– Э-э... двадцать. Еще год до совершеннолетия. На первый взгляд его можно принять за Вольфганга, но нет, он другой. Чуть тоньше в кости, в нем больше мальчишеского, хотя и мужского немало... Его снедает тоска, но сила духа у него – неслыханная, так что держится он молодцом. У него – изумительные темные, глубоко посаженные глаза... Движения его гибкого юношеского тела слегка скованны, я бы даже сказал – неловки, и все же исполнены неслыханной мужественности – я бы так это назвал. Он подходит к школе и останавливается – премило одетый. Почти всему, что он носит, присущ довольно глубокий, очень темный оттенок лилового – чуть ли не черного, какой бывает, когда солнце ненадолго скрывается в тучах. Но туфли у него совсем черные... На нем – простые, темно-лиловые холщовые брюки и самая обычная короткая курточка из той же ткани и того же оттенка, что и брюки, а также белая рубашка и серый галстук. Никаких излишеств в туалете: этакая царственность, возносящая его над толпой...

– Этого еще не хватало, господи Иисусе...

– Не знаю, Мышонок, любишь ли ты людей вообще. Мне кажется, ты вполне довольствуешься улаживанием сексуальных нужд своих гениталий – вот этих самых штукочек, что болтаются у тебя между ног. Сомневаюсь, чтобы ты в действительности, в глубине души, еще где-нибудь, кроме как вот тут ... – тыльной стороной ладони – в сущности, сильнее, чем намеревался – я дал Мышонку крепкого тычка в предмет его мужской гордости, так что он чертыхнулся и, скорчившись, быстро отпрянул на край постели.

– Вечно ты... Вечно этот бред собачий... это хрен знает что типа «вот входит такой-то сякой-то» и «там стоял тот-то и тот-то»!..

– Тут я с тобой совершенно согласен, Мышонок. А знаешь, почему? Потому что «верность» для тебя – иностранное слово. Ты вроде того что втюрился в Фонсика, но горе ему, если он осмелится хотя бы взгляд в сторону бросить! **Я** люблю Вольфганга – признаюсь честно и откровенно. В первую очередь, разумеется, потому, что знал его отца, погибшего с моим именем на устах, но я люблю его, как его одинокий друг, как слуга, как раб. Я люблю Вольфганга. Ни словом сказать, ни пером описать. Я у Вольфганга ничего для себя не прошу. Я существую для того, чтобы служить ему. Куда бы он ни шел, за ним устремляю я стопы свои. Вот так. Он не знает, как и насколько я его люблю, и, возможно, никогда этого не узнает и не поймет. Но если он стоит там и смотрит на эту девицу, и всей своей темной, яростной звериной похотью истекающей юной плотью вожделеет ее, и жаждет обладать ею – я буду с ним и не оставлю его, если только он сам того не пожелает. Хочешь ты знать, что происходит, или не хочешь знать, что происходит, Мышонок? Хочешь... увидеть наготу Братишки? Это я так, к примеру. Хочешь заняться им, немного позаботиться о нем, ну, то есть, взять его себе под крылышко? Только не рассказывай тут сказки, что одобряешь, как эта шлюха принуждает своего собственного младшего брата осквернять его дивное юношеское тело, пихая в ее дыру... Вот повстречайся тебе Братишка – он бы расплакался и все тебе рассказал – и о малыше Патрике тоже, о своей пагубной любви к нему... Короче... Полежим еще чуть-чуть?

– Нет, я встаю. – И действительно, Мышонок вскочил и потянулся за одеждой. Я не мог решить, был ли он в самом деле не в духе, и если да, то потому ли, что заседание, по его мнению, слишком уж затянулось и ему просто

захотелось обратно, вниз – встретиться лицом к лицу с насущной обыденностью дня – да уж, иначе не назовешь. Пока он одевался, я не спускал с него глаз. Бывает, что, одеваясь, человек отдаляется от тебя, а, раздеваясь, становится ближе – это все очень общие, умозрительные вещи, поскольку бывает и так: обнажаясь на твоих глазах, человек внезапно и полностью отчуждается от тебя, и его нагота – враг, так что, лишь призвав на помощь ненависть, сможешь ты разжечь в себе желание, которое приведет тебя и его к запредельной вершине блаженства. Но как же все это было непросто!

Наблюдая за Мышонком – прежде всего в те моменты, когда он, беспомощно застыв на одной ноге, всовывал другую в трусы и брюки, – я не мог определить, отдаляется ли он от меня, одеваясь. Он и в одежде казался мне очень красивым – вот это я мог сказать наверняка.

– Ты и одетый невероятно хорош собой, – приподнявшись на локте, сообщил я Мышонку, совершенно безвозмездно. – Надо бы тебе разок поиметь какого-нибудь мальчишку прямо так, не раздеваясь. Только спереди чуть-чуть ширинку расстегнуть, на одну пуговку. На груди у тебя, привинченные к мундиру, все твои геройские медали, с их острейшими – что вороньи когти – алмазами, а спереди, на форменных брюках – короткие, но остро отточенные гвоздики, внутрь головками вбитые в тугую форменную ткань – прежде всего у колен и на внутренней стороне бедер – так что, оседлав нагое юношеское тело, ты боронишь, и вспахиваешь, и засеваешь его – он беременеет болью...

Мышонок не отвечал. Я продолжал рассматривать его, больше не сопротивляясь одолевшим меня обычным, бессмысленным вопросам. Любил ли я его – любил ли я его, истинной любовью? Любил ли Мышонок меня – по настоящему? Умел ли я вообще кого-нибудь любить – и,

разумеется, он, Мышонок, – мог ли он любить кого-нибудь по-настоящему; но я застрял на первом вопросе, касающемся меня самого, и не мог на него ответить.

(К тому моменту мне было сорок восемь, в этом году исполнялось сорок девять. Большинство из моих братьев-художников, совершивших деяние – пустивших себе пулю в лоб или принявших яд, – сделали это давным-давно, гораздо раньше – по преимуществу в середине тридцатых, начале сороковых годов. Не было ни дня, более того – ни часу, чтобы я об этом не думал. Делай, либо не делай – и малоутешительным было осознание того, что, похоже, это была единственная мысль, сумевшая пережить все остальные банальности и клише: прочее было бахвальством, предрассудками или же поверхностными суждениями. Я не знал, на чьей стороне была правда. Вопрос заключался в том, имелась ли существенная разница в выборе: спустить курок – осушить склянку с отравой – или писать то, что писал я. Мне можно было писать – и не стреляться; можно было застрелиться и не писать. Можно было и не писать, и не стреляться – но, сдавалось мне, третья возможность к рассмотрению не принималась. А еще можно было какое-то время писать, а уж потом только пустить себе пулю в лоб. Что ж, пожизненно – увидим. Но, родившись на свет и прожив на нем так, как я, большой разницы не наблюдаешь, подумалось мне. Не исключено, что те, кто совершили деяние, воображали себе, что таким образом сумели добиться чего-нибудь или привести в движение некие механизмы, и считали, что тем самым оправдали собственное существование: купил револьвер да и шлепнул того, другого или же себя самого – но я подозревал, что дело как раз было совсем не в этом; да, вот тут и крылось самое обидное: полагаешь, что совершаешь поступок, тогда как в действительности ты всего лишь рабочий сцены, подряженный режиссером

пальнуть за кулисами в пьесе, написанной и разыгранной кем-то другим, – ты в ней не актер и даже не статист, – в то время как пьеса является столь идейной и общественно-реформаторской по духу своему, что в целом нет никакой разницы в том, когда грянет выстрел, и даже в том, грянет ли он вообще – стреляй, не стреляй, заплатят в любом случае.)

Мышонок к тому времени уже полностью оделся, вышел из комнаты и спустился по лестнице. Я остался лежать, прикрыв глаза, без устали тиская свою Штуковину, в поисках хоть какой-нибудь мысли, способной ниспослать мне утешение, но ничего не являлось мне – ни строки, ни сценки, ни лица, ни облика – ничего, и я вновь раскрыл глаза и уставился в потолок и серое небо за окном, на макушку березы позади дома, на верхушки ветвей, трепетавших на легком ветерке не то позднего полудня, не то раннего вечера – называй как хочешь. Я все еще сжимал в кулаке свое таинство, но перестал его тормошить – мне было слишком грустно. В который уже раз я задумался о несостоятельности человеческой любви. Ко скольким Мальчикам или юношам из тех, кого я знал по имени, испытывал я вожделение, и во скольких из них я был влюблен – всем моим трепетным сердцем художника? (Одному из них, шестнадцати с половиной лет, я даже посвятил определенно скверные строки с громким названием «Стихи моему сыну Р.». Моя сокровенная, сугубо частная жизнь, в которую я никого не посвящал, в сущности, всегда протекала в высшей степени сложно. Вероятно, я совершал ошибку, практически всегда начиная забрасывать избранника объяснениями в оснащенных марками почтовых конвертах – о том, как получилось, что его стройное сложение и обворожительный облик ввергли меня в столь неопишное волнение и восторг, – мастер пера и слова, это да, однако теперь я полагал, что метод себя не

оправдывал: многих мальчиков это просто-напросто ввергло в панику.

*И вот уже закрыт сезон,
Прохлады воды, небеса пустыньны
В безгласной влаге мириадом слез.
К величью вечному Господь себя вознес.*

Нет, хорошими стихи эти, бесспорно, назвать было нельзя – напротив, скверные стихи. Но жизнь продолжается, и не стоит увлекаться самокопанием и вновь возвращаться мыслями к одному и тому же, даже к плохим строкам, – хотя почему нет, объяснить я не мог. Подобно «Стихам моему сыну Р.», «Из моей жизни» тоже обернулись совершенным безобразием.

*Та немка, что кричать у фризов научилась,
Желает мне трехтомник одолжить:
Там говорится, где взялось всему начало.
В глубоком сне является ночами
Мне Дева Славная. Я обещаю ей
Отправиться в паломничество, в Лурд.
Но дня не называю – не желаю
Быть связан сроками.
Мчусь, задыхаясь, я,
И по пятам несется Смерть моя.*

Государыня, я навлеку на себя позор дурными стихами и прозой, вышедшими из-под моего пера. Но есть также строки, написанные в честь Твою и дабы возвеличить имя Твое, – если и дурные, то непреднамеренно. Да будет мне дозволено в сем упорствовать, да соблаговолишь Ты с этим посчитаться. Того, что действительно достойно труда – немного, Ты и сама это знаешь, Государыня. Но «Assumptio» и иже с ними – стихи, думается мне, и впрямь неплохие.

*В краю, где Розе вечно цветъ дано,
Дождусь раскрытья лепестков невинных
И в сердце ей проникну – там, где дно
Чернеет в море Крови – Тайна, что
Сводя Себя на нет, Себя же порождает.*

Хотя не исключено, что я ошибаюсь.)

Похоже было, что верхушка березы в саду за домом, чьи ветви я сейчас созерцал, пробудила во мне одно воспоминание, хотя я и сам не понимал, каким образом, поскольку не видел ничего общего между ветками и переживанием, вдруг всколыхнувшимся в моей памяти.

Некий Дух, или Кто бы то ни было, снизошел ко мне и увлек за собой, и оставил на верхнем этаже Дома «Трава» в деревушке Г. – в точности так же, как в тот летний полдень года, с большой вероятностью 1967, на рабочем чердаке (восточная половина верхнего этажа была оборудована под столярку и ремесленную мастерскую) у широкого верстака под слуховым окном, в обществе скандально юного Фредди Л.; тогда я тоже смотрел на полоскавшиеся на ветру ветки – не из постели, как сейчас, но стоя, – мы оба еще в одежде – поскольку, в какой бы пыл и горячку не повергало нас вспыхнувшее взаимное чувство, мне – по причине обстоятельств, которые в свое время будут изложены подробнее, – ни разу за всю идиллию не довелось увидеть упомянутого Фредди Л. полностью обнаженным. В тот полдень мы с ним, уединившись на чердаке, стояли у верстака – Фредди Л. спиной к слуховому окну – так что рассеянное солнце чарующе играло на его гладких, небрежно зачесанных и тем не менее спадавших ему на лоб, как у киногероя, довольно темных русых волосах, – а я лишь стоял и глядел на него, и мимо него на колыхавшиеся, гнувшиеся на ветру ветви тополей за окном, что мотались над самым унылым, самым заброшенным ландшафтом Западной Европы.

И вот я стоял и глядел на Фредди, а он – на меня, на том самом чердаке, и я то и дело бросался к нему, чтобы со стоном прильнуть, покрыть поцелуями его лицо и губы и вновь отпрянуть, и в то же время мы прислушивались к шаркающей поступи снизу, уже подступавшей ближе – через Большую Гостиную, на кухонной лестнице и к нашему укрытию, – к шагам Альберта С., официального друга Фредди, лет тридцати трех без малого, которого я удобства ради именовал «стариком» и который питал в высшей степени упорные, однако не вполне безосновательные подозрения в отношении событий этого дня, и это определенно начинало докучать. Когда «старик», приподняв тяжелый чердачный люк над своей и впрямь старообразной башкой – отчего противовес, укрепленный на веревке скрипучего блока, со стуком рухнул на пол, – возник в нашем укрытии, я схватил первый попавшийся под руку не то шуруп, не то какой-то штифт или сверлышко и сказал Фредди: «Смотри. Значит, если высверлить коническое отверстие... Ты же знаешь, что такое «конический»? То есть ты делаешь дырку, неважно каким образом, главное, чтобы она сужалась к концу: что потом туда ни забьешь и не ввинтишь, уже не вывалится – насмерть будет сидеть, скажу я тебе –»

«Старик» приблизился к нам, и кусочек металла, глухо звякнув, выпал из моей руки в пластиковую коробку, набитую железками, о назначении большинства из которых я не имел ни малейшего представления. «Пытаюсь разьяснить кое-какие технические детали, – громко поведал я подошедшему к нам «старикку» Альберту, – но, похоже, вы оба не очень-то разбираетесь в технике. Вас больше интересуют дела духовные, правда?» – «Правда», – своим скрипучим, крикливым голосом подал ответную реплику Альберт, пронизав нас обоих острым взглядом птичьих, полных смятения, однако горящих ревностью глаз. Я был уверен, что он сожалел о том, что его дружочек Фредди не

пользуется губной помадой – которая и впрямь восхитительно смотрелась бы на его красивых некой животной красотой юных губах, – это помогло бы ему, «старика» Альберту то есть, прочесть на моем лице знаки наших тайных амуров. Так же как и сейчас, ничего такого вменить нам было нельзя: обворожительное личико Фредди сияло все так же нежно и ослепительно, а мое собственное – я чувствовал, как напряжено и обессилено оно страстью и внешними признаками лихорадки – могло выдать разве что мое плотское, беспощадное и все же осмотнительное вожделение к Фредди, однако найти доказательств большего преступления было бы затруднительно. Вот так и стояли мы втроем, в полуденном свете, заливавшем чердак дома «Трава», в рассеянных солнечных лучах: я – опьяненный любовью к юному Фредди Л., едва держась на ногах из-за ненависти, исходящей от «старика» Альберта, который не был лыс, но так или иначе казался таковым. «Пусть все идет, как идет, – чуть было не сказал я тогда вслух, – но рога я тебе-таки наставлю: как, каким образом, пока неясно, это пункт второй, посмотрим, я тебе еще покажу, что ты думаешь, нет Бога на небесах?» Короче говоря, таков был ход моих мыслей, в полдень на чердаке дома в Г., именуемого «Трава», – но почему, почему я думал об этом сейчас? Потому ли, что березовые ветки на задворках дома напомнили мне те, на которые я глядел тогда через чердачное оконце? Ясно, что воспоминание это было неким образом связано с ветками, но не этими самыми – с другими, и все же я не мог сообразить, с какими именно. Может статься, меня осенит потом. Как бы то ни было – сейчас, в постели, размышляя и еще не разгоревшись любовным пылом, но уже определенно на пути к некоему экстатическому состоянию, я схватился за свою штуковину, думая о Фредди Л. и вновь переживая все тогда случившееся. Как я познакомился с ним? Что ж, это опять целая история. Впервые я увидел его

у Пасхальной Всенощной, предположительно в 1967 году в храме Спаса-на-Солдере в А., – мы были там вместе с Тигром. Как правило, в церкви я садился наверху – на боковом балконе, во втором этаже, справа – сверху и наискось от алтаря, но на этот раз по какой-то причине остался внизу. Обычно я усаживался в центре, ближе к правому проходу, но тогда мы прошли довольно далеко вперед – во всяком случае, прилично удалившись от середины и сравнительно близко к левой стороне. У нас не было особых причин садиться именно там, поскольку мы, как всегда, явились слишком рано, и практически любое приглянувшееся место было доступно. Церковь постепенно заполнялась народом, и я разглядывал многочисленные артистические, отмеченные печатью вырождения католические физиономии художников и их еще более артистических жен в сопровождении несносно глупых, однако нередко весьма и весьма привлекательных сыновей с недовольными, разбалованными задками и сутулыми юношескими спинами, испорченными сеансами самоублажения, в облегающих коротких, домашнего пошива тесных ветровках – покроя в высшей степени демократического, довольно незатейливого и, как следствие, весьма популярного.

Все это была чрезмерно юная плоть – лет двенадцатитринадцати, – к коей я вождедел надо полагать, не столько из-за пороков самого избранника или недостатка совести с моей стороны, сколько из-за предполагаемого противодействия в лице родителей, опекунов и совершенно правомочно поставленных над нами Господом властей, хотя кое-кто и пробовал подбить меня на демарш в отношении одного мальчугана лет тринадцати-четырнадцати с половиной, который всегда ходил к службе вместе со своей еще достаточно молодой матерью, вдовой, – его облик на несколько месяцев совершенно вышиб меня из колеи; мой доброхот заверил меня в том, что эта сколь

благонадежная, столь и благословенная дама «весьма свободно смотрит на такие вещи» и что, несомненно, ей скорее польстит, нежели воспретит горячий интерес господина с таким благородным характером, внешностью и заслуживающей восхищения известностью к плоду ее чрева; и действительно, пару раз в комнатке, где по окончании службы подавали кофе с бисквитами – поскольку это был поистине весьма либеральный, проникнутый новаторским духом приход – я чуть было не подошел к ней с вопросом: «Сударыня, ваш братишка – я имею в виду вот его, это же братишка ваш, так ведь? – ах, до чего славный, прелестный и милый мальчуган, если позволите, да простит меня Господь за эти слова, Вы знаете, *что* я такое, но сердце мое открыто для тех, кто пожелает ранить его, сударыня; человек я порядочный, я его боготворю, вашего братишку, я готов оплатить его образование, все что угодно – уроки музыки и фортепиано... – Это мой сын, сударь. – Ваш сын? Кто бы мог подумать?» – и так далее, потому что, согласно моему советчику, вполне имело смысл еще некоторое время потерпеть и для начала, не щадя подметок, расшаркаться перед этой такой еще моложавой, цветущей мамашей – чрез Марию к Иисусу – остальное гарантировано, но до подобного диалога и развития событий дело так и не дошло, поскольку всякий раз мне, трясущемуся, бледному, обессиленному лихорадкой возжелания приходилось срывать и мчаться домой, чтобы там, лепеча и задыхаясь, извлечь свой Отросток и, уставившись взглядом на бессмысленные крыши бессмысленных домов, сделать его своей Вечно Отсутствующей Невестой, женихом, Владыкой, рабом и Братом и кем бы там еще ни было. К тому Навечерию Пасхи он, хвала Господу, не явился – ни со своей еще столь моложавой и целеустремленной матерью, ни в одиночестве – насколько я мог в том убедиться, бросив быстрый взгляд вокруг и прежде всего назад, хотя мне как-то уже заметили, что подобное

поведение в католическом храме совершенно не пристало. Я не был пьян, хотя намерения мои – в этот день и вечер не пить – полностью пошли прахом; мне удалось продержаться часов до девяти, половины десятого вечера, после чего я все-таки употребил и теперь находился в состоянии плачевном и достойном сожаления, поскольку все же выпил, хотя и не намеревался, а выпив, не надрался в стельку; и, приняв сравнительно мало, пал достаточно глубоко, пробудив прежде всего скорее окончание нежели расслабление организма: король Алкоголь одновременно и притушил, и раздул мои сомнения и отчаяние, и я встрепенулся и довольно живо осмотрелся со своего места в церкви, ощущая себя в то же время окостенелым почти до полного паралича. С тем же успехом мог я деньги, вложенные в содержимое бутылки, спокойно оставить в этой бутылке, а не пропивать их, и в положенный час по обыкновению забиться в свою берлогу, вместо того, чтобы в глухую полночь тащиться в этот школярский балаган без музыки. Вновь я сгорал от стыда за то, что сидел в этой церкви, и пытался обрести утешение в ободряющих мыслях о, например, многочисленных – будем надеяться – юных святых мужского пола, которые, невзирая на их примерное целомудрие – а может, и благодаря ему, – подвергались истязаниям своих сокровенных частей – спереди и сзади, под нескончаемые пляски, музыку и песнопения в исполнении хора бесполох ангелов. Они должны были существовать, такие святые Мальчики, во всех этих летних лагерях; огороженные лагерные пляжи были набиты ими – несомненно, стоило только поглубже покопаться в анналах этого чудовища, Церкви, нашей Пресвятой Матери.

Сразу позади нас, чуть правее, сидели появившиеся незадолго до начала службы вышеупомянутые Альберт С. и Фредди Л. Насколько мне помнится, я заметил их еще раньше, когда они возникли в левом боковом проходе и,

переговариваясь приглушенными из вежливости голосами, продвигались к трем еще не занятым местам. Тогда-то, глянув через левое плечо, я их и увидел. Фредди шел первым, из чего я заключил – как выяснилось потом, преждевременно, – что из них двоих он усядется в наибольшем удалении от нас и, кроме того, уже счел, что из трех пустых стульев они выберут два от нас самые дальние – следовательно, пропустив первый; но я ошибся. С неким беззастенчивым отчаянием я провожал их глазами через левое плечо по мере того, как они подходили слева, и затем, повернув голову направо, когда они проходили прямо за нами. Мой взгляд встретился со взглядом Фредди, возможно, всего лишь на секунду-другую, и я отметил, что он в какой-то степени заинтересовался мной, хотя я не осмеливался позволить себе утвердиться в этой мысли. Как я уже сказал, он ступил в проход первым, сразу же за ним последовал Альберт С., но, подойдя к первому из трех пустых стульев, он грациозно отклонился назад, пропуская приятеля вперед с тем, чтобы тот занял следующее место.

Тигр сидел справа от меня. Рядом с ним расположилась среднего возраста дама с громадными глазами актрисы, а непосредственно за дамой сидел теперь Фредди Л. Сиденье Тигра нигде, кроме воображаемых углов, не граничило с сиденьем Фредди – правый задний уголок сиденья Тигра и левый передний уголок сиденья Фредди соприкасались в некоей внепространственной точке. Между мной и Фредди был только Тигр и сидящий позади Тигра и, следовательно, слева от Фредди незнакомец.

Я чувствовал себя больным и бесконечно усталым. Я не знал, уместно ли было бы продолжать оглядываться – что, если столь упорные взоры поколеблют мои любовные шансы? Но, уставясь прямо перед собой, я не видел ничего, кроме только что представшей мне юношеской фигуры и очертаний лица, словно едкой жгучей кислотой

вытравленных и навсегда запечатленных во мне, и отделаться от них я уже не мог. На нем была, полагаю, светло-серая курточка из рубчатого вельвета – короткая, вроде ветровки, и темно-синие, изящно пошитые бархатные брюки того покроя, который ни в коем случае не назовешь ни вызывающим, ни распутным, и от которого тем не менее – у меня, по крайней мере – спирало дыхание. Лучшим описанием этих брюк – очень темных, чуть ли не черных, однако даже в таком вечернем свете с распознаваемой синевой – было бы заключение о том, что они ему шли, пусть даже и звучит это по-дурацки, и что, хотя и облекали его члены, бедра и ноги – при малейшем движении на мгновение полностью открывали их взору. Я мельком – возможно, всего лишь на секунду – увидел его ступни, когда он пробирався к своему месту, и мне показалось, что обут он был в замшевые туфли цвета не то небеленой холстины, не то охры, украшенные на подъеме кожаной кисточкой либо кожаным язычком – кажется, с одной стороны бахромчатым и слегка закрученным, – а также, допускаю, с крупными, металлическими – явно ни к месту – пряжками: на ногах одного оснащенная подобными пряжками обувь смотрится чудовищно, на ногах кого-то совсем другого – являет собой благодать и божественнейшее украшение, словно бы выражающее и провозглашающее суть боготворимой особы – поистине, даже будучи сброшенной с ног и задвинутой в угол, она покажется его воплощением – самым возлюбленным королем мальчиков. Это были наипрекраснейшие туфли, обувавшие наипрекраснейшие ноги из всех, какие я когда-либо видел, и не имело ни малейшего смысла оспаривать перед самим собой эту истину. У туфель, подозревал я, были довольно толстые каблуки и подметки из мягкой, эластичной и практически бесшумной резины, и – увы, увы – не было у них каблуков и подметок из подбитой острыми гвоздиками темной, жесткой деревянистой кожи, столь

подходящих для того, чтобы с рычанием водружать их на обнаженную шею, бедра и даже лицо беззащитно расprostертого на полу юноши и возить, возить ими, пока не брызнет кровь, но еще до того, как брызнет она... ах, были бы эти подметки... ах, мог бы я быть там – одним из этой россыпи бесчисленных, как по волшебству возникших мелких красных цветков, в тот момент, когда одна из его ног будет вершить свое небрежно-беспощадное деяние... Нет, нет... Не той я пошел дорогой, – ведь я искал Любви, а тут, скажите на милость, какая-то обувная лавка, так дело не пойдет.

Когда он пробирался по ряду мимо сидящих, я спереди, сбоку и затем – после того, как он прошел позади меня – сзади разглядел его бедра – их облегал протянутый в петли брюк какой-то плетеный пояс в виде двойной кожаной цепочки, который, если уж быть точным, в действительности следовало бы назвать девичьим или детским, но на его царственном теле он смотрелся мужским, исполненным нежной мужественной жестокости. Его рубашки и галстука я толком не разглядел, но теперь думаю, что рубашка была бледно-розовая, почти белая, украшенная какими-то кружавчиками, – а наличия галстука я не припоминаю. Когда он проходил мимо, от его темно-русых волос, то и дело с трепетом касавшихся сзади воротника куртки, до меня донесся, отчетливо помню, смутный шепот аромата, от которого – возможно, благодаря этой его неуловимости – у меня на секунду помутилось сознание, словно от неслыханно интимной тайны, тогда как это, разумеется, было не что иное, как дешевенькая, резкая отдушка апельсинового магазинного туалетного мыла.

Священная служба началась – в высшей степени серьезном, сиплом исполнении моего крестного отца¹, которому,

¹ Ян Хендрикс, капеллан Веертерского прихода в городке Кейнт.

как было заведено, ассистировал какой-то среднего возраста скульптор с зачесанными наперед волосами, в очках с золотой оправой, и двадцатидевятилетний, с огромными залысинами, невзрачный студиозус чего-то там, по имени Клеменс М., которому уже многие годы ввиду высокого давления нельзя было пить кофе, но который до сих пор не мог с уверенностью сказать, был ли он «из этих самых», и которого мы с Вими много лет назад, еще в бытность мою кандидат-католиком, не то до службы, не то после нее славно отмузузили на постели, время от времени выкручивая ему руку и таская за вполне в то время пригодный для этой цели волосяной покров, так что соседи, ко многому, вообще говоря, привыкшие, потом говорили, что чуть было не подняли тогда тревогу, дабы отныне и навеки он свыкся с мыслью, что не для собственной радости на свете живет, а еще и просто оттого, что он их утомил – вечно строил из себя кокетку и жутко занудствовал, совершенно при том не стоя того, чтобы из-за него ломали копья, а уж в те времена и подавно меньше, чем сейчас.

Я заерзал на месте и усердно завертел головой, пытаясь привлечь внимание этого самого Клеменса, – и, поймав его взгляд, принялся с дружелюбными кивками демонстрировать ему воздетый в приветственном жесте кулак, большой палец которого торчал между средним и указательным, – покуда он его не заметил и, с багровой рожей и враз еще более подскочившим давлением, устремив куда-то вдаль уязвленный, исполненный скорби ввиду столь вопиющего святотатства взор, не погрузился в елейное складывание ладоней и коленопреклонение пред алтарем, возведши очи горе, словно на картине Тооропа¹. Фредди Л., сидевший наискосок позади меня, должно быть, заметил мои ужимки,

¹ Ян Тоороп (Jan Toorop), (1858 – 1928), голландский художник-символист.

поскольку в точности из этого направления послышалось одобрительное фырканье, бывшее, надо полагать, кульминацией долго сдерживаемого хохота, – и, следовательно, своим оскорбительным и определенно вульгарным жестом я добился желаемого, поскольку действия мои были направлены исключительно на то, чтобы произвести впечатление на него, Фредди Л., – я придерживался некой теории, сводившейся к тому, что нужно довести человека до колик или до слез, либо заставить его поперхнуться так, чтобы чай, кофе, фруктовый сок, или что он там пьет, брызнул у него из носа: завоевание любовью или страданием: изнасилование либо щекоткой и хохотом, либо истязанием и слезами – нащупывание подхода иным способом, если можно так выразиться, может сильно затянуться.

Я попытался вновь взять себя в руки и, скажем, до времени не оглядываться, однако в намерении сем долго не продержался и в промежутке меж двумя неимоверно затянутыми песнопениями, которым почти ни одна живая душа не подтягивала, все-таки глянул через плечо, переключив выражение лица на «нейтрально» или «сторожко» – слегка прижав уши к основанию черепа и немного склонив голову влево. Я созерцал их обоих: Фредди Л. и Альберта С. – так их, как потом выяснилось, звали – поочередно перебегая глазами с одного лица на другое через голову незнакомца. Напряжение ушло из моего восторженного, вмиг повеселевшего взгляда, и можно было почти не сомневаться – хотя я заведомо продолжал пребывать в сомнениях почти болезненных, – что я так или иначе прочел в его глазах благосклонность. Я немедленно восполнил недостаток информации относительно его гардероба: на нем была рубашка цвета светлой охры или беж – и впрямь достаточно утонченного покроя, и галстука на нем не было, а под рубашкой, в распахнутом вороте, виднелась темно-красная футболка, надетая прямо на голое юное тело. Полагаю, можно

было с уверенностью сказать, что он побывал уже на многих службах и определенно не ворочался по ночам в постели, размышляя об удельном весе Господнем: дитя природы, что еще скажешь; мне понадобилось некоторое усилие, чтобы представить его жестоким; но, может быть, алкоголь, лесть и зажигательные рассказы могли бы подвигнуть его на то, чтобы он с гибким ремешком или ротангом погонялся за тем-другим мальчиком – со временем это удалось бы, думал я, с трудом отрывая взгляд от его губ. Его дружок в это время тщился сделать вид, что упивается торжественностью момента, и всячески изображал на злющей своей роже вымученный, никогда не бывший искренним интерес и, прежде всего, уважение к бредовым идеям «инакомыслящих»; и оценка эта впоследствии оказалась верной, поскольку он был воспитан в совершенно иной вере и, так сказать, вырос этаким кривобоком болотным насосом, этаким ивой плакучею, и имелся у него брат, реформированный дьякон и неврастеник, и другой брат, который постоянно пытался наложить на себя руки, и еще брат, который их-таки на себя наложил, и еще один, алкоголик, псих и самоубийца, хотя и не дьякон, но который, однако, с треском и навсегда провалил экзамен на инженера. У меня сложилось стойкое впечатление, что ему весьма умеренно нравилось мое весьма неумеренное усердие в отношении его дружка, этого маленького жизнелюбивого Юного Зверя.

Служба тянулась. Мне удалось вновь надолго овладеть собой и не оглядываться, внимая ритуалу службы, которая казалась мне нелепой – но которая вместе с тем, как бы то ни было, захватила и растрогала меня; из какой-то двойственности чувств, в конце концов, сжалась во мне великая ненависть, препятствовавшая моему восприятию и внушившая мне некое смутное осознание того, что еще долгое время мне придется томиться здесь, чтобы основательно проникнуться муками и радостями этого пыльного кукольного

балагана, пока не настанет момент, когда я смогу воздвигнуть свой первый собственный Алтарь истины и сам смогу начать действовать.

Орган испустил сдержанную имитацию вопля восторга, что в наших умеренных широтах долженствовало означать экстаз, и от огня, «из камня за церковью высеченного» – от пламени большой Пасхальной Свечи – Жезла всех Жезлов – священник возжег другую, обычную; от нее он запылил свечи обоих служек, и они втроем оделили огнем первый ряд ликующих душ, кои, в свою очередь, обращиваясь к сидящим сзади, передавали им огонь своих свеч. Из мертвых восстал, отряхнув пелены, из опустелой могилы поднялся – все согласно Писанию, и я бы хотел, очень хотел верить в это, если бы только мог, но все же по этому поводу не страдал и думал о чем-то совершенно постороннем, хотя, возможно, в целом все это было как-то связано.

К нам приближались с огнем – и, когда подойдут, мне придется зажечь свечу от свечи кого-нибудь впереди сидящего и передать полученный огонь сидящим позади, и теперь я обдумывал шанс, некую определенную возможность, которая, однако, представлялась мне ничтожно малой. Господь мог все: допустить над собой суд и истязание – пусть даже, увы, это касалось лишь верхней части тела – дать убить Себя и, как ни в чем ни бывало, ожить, подобно хамелеону, – ведь тот, согласно Леонардо да Винчи, «взмыв в воздух на высоту 300 метров и спев восхитительной красоты песнь, умирал в уксусе и вновь возрождался в оливковом масле», но то единственное, что было у меня на уме, выхлопотать для меня он не мог, хотя для него это, надо полагать, была сущая мелочь, пара пустяков. Огонь и Свет были уже рядом, и вот уже через мгновение моя свеча вспыхнула огнем, полученным от кого-то с переднего ряда. Я повернулся вправо. Тигру еще никто огня не передал. Повинуйся тогда своему желанию и своей Крови, я бы – я это знаю

наверняка, так же как и то, что никогда бы не позволил себе паясничать у престола Господня, – пропустил бы Тигра и не дал бы ему огня, а немедленно протянул бы руку со свечой к свече в руке того, кто виделся мне сейчас как сквозь дымку, в правом углу моего поля зрения, за спиной большеглазой дамы, рядом с незнакомцем, сидевшим позади Тигра. Но я не сделал того, что хотел, и не послушался зова Крови. Не знаю, что двигало мной, и двигало ли мной что-либо вообще, но сперва я передал огонь Тигру. «Чтобы ты треснул, черт подери, когда только твоя свеча загорится», – все же подумал я при этом. Рука моя дрожала, когда я отвел фитиль – определенно чересчур поспешно, поскольку пламя свечи Тигра, без поддержки моего, разгоралось неохотно. Как много невосполнимого, неповторимого и на веки вечные оставшегося неиспользованным времени пропало даром! Я чуть ли не рывком протянул руку назад, не стыдясь незнакомца, и Фредди Л. совершенно естественным жестом, словно и не держал в уме возможности иного хода дела, потянулся навстречу моей руке – весьма стремительно, весьма откровенно, весьма недвусмысленно и совершенно беззастенчиво – и, прямо перед лицом незнакомца, которому он неминуемо подпалил бы шевелюру, не обладай тот уже основательной плешью, – перенял от меня свет Мира. Только тогда я передал огонь незнакомцу, который, как мне потом сказали, был не то композитором, не то музыкантом, и за которым, в любом случае, уже бодрым шагом шла по пятам Смерть – голова его с несколько желчным выражением лица дергалась от трясучки, словно он пересчитывал мелочь или дирижировал неким диковинным миниатюрным оркестром страдальцев атаксией¹. Орган плавно парил в диминуэндо чего-то вроде «Вечерняя тишь у ручья». Мне удалось – но что, в сущности, удалось-то?

¹ Атаксия – нарушение движений, расстройство их координации.

И чего ради, кого ради, и почему – все это?.. Я не знал, и никогда не узнаю. Может быть, может быть, вся эта чушь какой-нибудь смысл да имела. Может быть, и нет.

Возжигание огня, невероятно трогательное, отнюдь не привело нас туда, куда нам хотелось. Возможно, все то, что, казалось бы, складывалось столь восхитительно, было всего лишь игрой, и этот пригожий молодой человек принимал как должное уж не знаю какое внимание и предупредительность, вовсе не обязуясь испытывать при этом хоть какие-то чувства – к примеру, ронял кошельки к ногам поклонников, дабы со спертым в груди дыханием, дрожа, заикаясь, получить их назад, на деле не ощущая ничего подобного, – поскольку такие юноши существовали. Что же он был такое, этот мальчик? Я вновь оглянулся, и он улыбнулся мне – глаза его были полуприкрыты. Он был очень, очень милый мальчик, это мне было ясно, я уже уверился в этом, но для него Любовь означала не то, что для меня: тогда бы улыбка его была иной – более лихорадочной, более напряженной, короче, исполненная большей муки, и глядел бы он не прищурившись – он приковался бы ко мне взглядом широко распахнутых глаз. Смог бы он все-таки, все-таки смертельно влюбиться, и влюбиться в человека определенного типа: заметно старше себя и, тем не менее, все еще весьма видного и привлекательного; человека, непристойно глумящегося над Господом и все же, словно школьник, преклоняющего перед ним колени; человека, пусть и исповедующего Греческие принципы, тем не менее являющего собой великолепно сложенный тип: отважный, мужественный – прежде всего духовно – и в то же время решительный; кого-нибудь вроде меня, добавил я поспешно. Нет, нельзя было совершенно исключить того, что он, при столь вялом ленивом сердце, смог бы впервые в жизни влюбиться, после того, как я поцеловал его в первый раз – так бурно, так неловко. Выше голову: не падать духом.

Ite, missa est. Священник и служки – через боковой притвор, кофененавистник Клеменс М. – за ними, тут уж он никогда ничего поделать не сможет – как я подозреваю, он так кособочился из-за только сейчас замеченного мною вулканического прыща на шее.

Те, что сидели в одном ряду с Фредди Л. и Альбертом С., пробирались теперь к правому выходу, а души с нашего ряда, восстав со стульев, немедленно возжелали во что бы то ни стало покинуть ряд через левый выход. Церковь была полна, и наши тела, которые могли соединиться столь трагическим и столь фатальным образом, неким течением разносило теперь прочь друг от друга. В церкви имелось три расположенных подряд выхода – какой же он выбрал? Он то появлялся, то исчезал из виду; мы с Тигром уже пробрались далеко вперед, и он не оглядывался: это на него оглядывались, пронеслось у меня в голове. В следующий момент он пропал из глаз, не дав мне возможности заметить, через какую дверь он ушел. Он ушел, и я смотрел вслед, и в течение нескольких недель руки у меня будут полны дела: семь раз на дню, качая и спуская, я стану взывать к запечатленному на сетчатке моего третьего глаза образу его – одетого, полуодетого, без одежды, и как бы она пахла его темно-русый потом, и как бы надо было ее сложить или повесить, чтобы она не помялась, – и, стоя передо мной в комнате нагим, стал бы он стесняться – сильно, совсем не стал бы, или все же так, немного, и так далее.

Мы вышли за дверь в вечерний воздух невеселого района Амстердама, в котором я прожил несколько лет – в квартале продажных женщин, где любой – только не я, ни разу за все эти годы – мог бы найти для себя нечто захватывающее, романтическое или любопытное. И в этом же районе, в тогдашней моей квартире на Аудезийдс Ахтербургвал, в задней комнате на третьем этаже, я пробовал писать. Я писал уже десятки лет, если я правильно помнил, но что

в том было проку? Моя первая книга при стечении обстоятельств в высшей степени трогательном принесла мне приз Рейны Принсен Хеерлигс¹, а именно: я был достаточно легкомыслен, чтобы в последний момент, даже значительно позже истечения срока подачи рукописей, умудриться с помощью одного человека, с которым я был на дружеской ноге, тайком вручить рукопись одному из членов жюри, так что приз достался мне, но при этом все остальные, действительно стоящие призы, тут же ушли из моих рук. Вообще-то нельзя было сказать, что ежегодные слухи об этих так называемых «поощрительных призах» соразмерялись с величиной присужденной победителю денежной суммы, а именно: «суммой 200 фл, прописью двести гульденов» стало быть, однако после этого Учредительница этого приза, госпожа Принсен Хеерлигс, на ежегодном Празднике Книги всякий раз, из года в год, останавливала меня вопросом: «Вы по-прежнему пишете книги?» – «Пишу, сударыня». – «И по-прежнему такие же грязные?» На шестой раз я подумал – ну все, сейчас устрой что-нибудь, неважно что – буду час визжать, а то возьму да и спущу эту бабищу вниз по мраморным ступенькам – но на тот, седьмой раз, она на Празднике не появилась, а после того я уж и сам не ходил, ни разу, поскольку жизнь сама по себе была не праздник – так мне думалось, – и посему я больше не имел возможности надлежащим образом выразить мою горькую обиду. Двести гульденов прописью в те времена ушли, разумеется, только на черный напиток² для приема, и к началу праздничного

1 Ежегодный приз, учрежденный в 1946 г. родителями Рейны Принсен Хеерлигс в память погибшей на Второй мировой войне 20-летней писательницы. Присуждалась молодым литераторам.

2 Скорее всего, в виду имеется кофе.

оживления другая парка – подруга по эпистолярному жанру г-жа Дж. ван С.-В. – прислала мне набор стеклянных изделий: графин и полдюжины, а может, и дюжину бокалов, большинство из которых дошли до меня в виде осколков – разумеется, в этом она была не виновата, – не больше чем в том, что ровно двадцать четыре с половиной года спустя в одной неслыханно передовой газете сослалась на мою работу как на «гадость». И мальчик, на которого я только что перенес мой свет и мое Пламя, ушел, и я мог писать об этом, и мог не писать, и если бы писал, это было бы чем-то вроде развлечения – да, назвать это как-то иначе было бы затруднительно.

Глава шестая

Великая удача

Как это частенько случается, оказалось, что удача благоприятствовала мне более чем в одном отношении. (Моя история – история моей жизни. Это все равно что искусство игры на скрипке: про себя думаешь – по струнам души смычком водишь, а на самом деле – пиликаешь по обычному конскому волосу.)

Фредди Л. вовсе не исчез. Когда мы с Тигром прошли уже довольно порядочное расстояние и завернули за угол к нашей машине, он внезапно вынырнул откуда-то справа, из толпы зрителей и любителей великолепия ночной жизни большого города А. Я шел по левую руку от Тигра, уже глубоко погрузившись в неотступные раздумья о былом, о тех давних временах, когда я жил в этом невеселом квартале – жил, и выживал, и боролся. «Прежде я частенько водился с дурной компанией», – чуть не вслух подумал я, как раз в тот момент, когда он, Фредди Л., вдруг возник справа от Тигра, сопровождаемый своим «стариком» Альбертом С., который – из-за узости прохода между домами и каналом и сонмища автомобилистов, что, перескакивая со скорости на скорость, пронзительно гудя клаксонами, прокладывали себе путь сквозь толпы ночных зевак, – тащился не рядом с ним, а позади. В тот самый момент, когда я увидел Фредди, они оба переместились чуть левее, ближе к нам, и я немного придержал шаг, чтобы Фредди смог идти рядом со мной. Он взглянул на меня – лишь слегка повернув голову, однако обратившись ко мне лицом. Когда он говорил, его темно-русый мальчишеский рот виделся мне преимущественно сверху. Он что-то сказал. Звук его голоса пронизал меня дрожью – зародившись в коленях, она отозвалась у меня глубоко в горле. Мне показалось, что не только я – все кругом затаило дыхание.

Важно было теперь только то, что я понял и осознал произнесенное им. Его голос звучал иначе, чем я его себе представлял, и все же это был его голос, его восхитительная собственность, так совершенно воплощавшая его самого – как можно выразить словами подобные вещи? Голос Фредди был глубже и темнее, чем в моем воображении, но при этом все же горячее и ярче – с такой ноткой, будто его обладатель совершенно ясно осознавал свою власть и свое фатальное призвание – жестокостью приковывать к себе мужчин и Юношей. Когда он говорил, мне казалось – было ли это наяву или только в моем воображении, – что я вижу движения его голоса под светлой, бархатистой кожей горла в распахе воротника, и я изо всех сил отгонял от себя все другие мысли, чтобы сосредоточиться на его словах, и не думать – нет, сейчас ни в коем случае не думать о том – что может приказать, к чему может побудить этот голос и это горло и что я мог бы приложить руку и, может быть, даже губы к этой гортани, когда голос этот – в нескольких словах, пусть даже слогах – обречет на мучение, наказание или пытку, или на всеунизительнейшее обнажение какого-нибудь Мальчика, или мальчиков и мужчин – так что порожденный его гортанью голос, обратившись в звуковую волну, не упоминаемую ни одним учебником физики, несколькими мгновениями позже заставит другой мужской голос, другие юношеские голоса в других глотках реветь, визжать, скулить и выть и искаженными, задыхающимися словами молить о пощаде.

Мне было необходимо понять, что он говорил, Фредди, – сейчас было важно только это. А произнес он всего четыре слова: «У вас есть машина?» Банальность этих четырех слов в его устах лишь подтверждала его царственность, убедился я. Сейчас я попытаюсь изложить читателю, в чем было дело: после событий – таких, как, скажем, нынешняя Пасхальная служба, в этом артистическом

приходе было принято отправляться на другой конец города, в частный клуб, устроенный на верхнем этаже католической начальной школы, чтобы посидеть там в славной компании и – если служба затягивалась далеко за полночь – вместе более или менее празднично позавтракать. Небольшой зал представлял собой вытянутое чердачное помещение, примерно раз в два месяца освежаемое добровольцами-любителями; там имелось фортепиано, сцена, занавешенная тяжелым черным суконным занавесом и, наконец, уставленный круглыми садовыми столиками и складными стульями маленький зал для публики; оштукатуренную деревянную панель покрывали перенасыщенные розовым прогрессивные католические росписи на общие религиозные мотивы, предметами которых были: античное торговое судно; ваза с фруктами; собственно роковое яблоко; земной шар или округлая схема города со всем его (замкнувшимся на себя) сиротством – все в соответствии с собственным, самоприемлемым истолкованием видения желаемого – тип искусства, к которому я никогда не мог привыкнуть: то, чем принято украшать стены в Нидерландах, всегда является собой крикливое воззвание к гуманности, взаимной сопричастности и необходимости делиться нашим скандальным богатством с неимущими; урожай, потом и кровью отнятый у Земли-мачехи; громадный боб какао или ребенок, примотанный полотенцем к черной спине; моление о мире; мост между странами, народами и людьми – в сущности, равными между собой, правда это или нет, – но искусством – нет, искусством там по какой бы то ни было причине никогда и не пахло.

Меня, в общем, не огорчало, что каждые два-три месяца на стенах поверх прежних фресок появлялись совершенно новые – об этом меня информировали, поскольку сам я не обращал внимания на смену декора, – ведь это были все те же руки, воздетые в молитве – о хлебе, о милосердии, о

труде, о счастье, о мире – тощие, костлявые, с чересчур длинными ногтями, в точности как на старинных открытках, изображающих первое причастие, или на картинках в катехизисе. Зальчик этот именовался *Мансарда Муз* – название говорило само за себя. Но я вновь отклонился.

Некоторые души обладали автомобилями, другие нет, а расстояние от Храма Спаса-на-Солдере до этой самой Мансарды Муз было, вообще говоря, пешком не покрыть – посему предполагалось, что автовладельцы предложат подвезти безлошадных.

По сути дела, мы с Тигром совершенно не собирались после службы тащиться на посиделки на этом артистическом чердаке, а – не сговариваясь, словно это само собой разумелось – намеревались тихо-мирно вернуться в нашу бетонную коробку в Осдорпе, предместье Амстердама – и забраться в гнездышко. Уже самой Службы – всей этой фиготени – и созерцания моих католических собратьев – служителей муз, с трудом умеющих написать собственное имя, в совокупности с чрезвычайно проникновенной и доброжелательной проповедью моего крестного отца (который насмерть отстаивал свою веру в то, что смерти нет – тогда как все вокруг, стоило лишь оглянуться, указывало на обратное) – с нас было более чем достаточно; уж для Тигра-то точно, учитывая его на зависть здоровое отвращение к религии и обрядам.

– Да, мы на машине, – торопливо ответил я. – Вон она стоит.

Мы пригласили их обоих в машину. Я распахнул дверцу, по привычке чуть было не ступил в машину сам, вновь торопливо отступил, пригласительно махнул рукой, но забыл, что для того, чтобы пробраться на задние сиденья, необходимо было сложить передние. С какой-то животной страстью я жаждал очутиться на заднем сиденье рядом с Фредди Л., но в то же время не хотел этого, поскольку не

представлял себе, как бы мог взглянуть на него, испытать прикосновение его плеча, бедра, колена и тут же не лишиться рассудка и уже с самого начала не впасть в какую-нибудь дикую ересь. Я проклинал себя за свой идиотский маневр со свечой: этот мальчик не любил меня и никогда не полюбит – для этого он был слишком юн, слишком красив и, прежде всего, слишком безмятежен и прекрасно знал, что может получить все, что ему нужно – а я ему ни в коей мере нужен не был.

После изрядной мешкотни и суеты мы все, наконец, разместились в машине. Фредди Л. уселся впереди, справа от Тигра, а мы со «стариком» Альбертом – позади: я слева, то есть за Тигром; он, Альберт С. – справа, за спиной своего очарованного принца – такого бесконечно прекрасного, такого миловидного, такого слишком сказочно жестокого для того, чтобы когда-либо счесть его, «старика» Альберта, достойным – даже при условии полнейшей неприкосновенности Фредди – быть рядом и позволять ему заботиться о себе.

Разумеется, мне нужно было о чем-то говорить. Для начала я представил Тигра и представился сам. «Куда направляемся?» – продолжил я тоном, полным такого безразличия, что сам на мгновение поверил в него, как и в то, что мне совершенно по фонарю, кто там любит Фредди и в кого он когда-нибудь и сам влюбится. – «Сперва на этот артистический чердак? Или окажете нам честь и отправимся прямиком в наши пенаты, на чашечку кофе? Или чего-нибудь другого, разумеется: полки в шкафах ломаются от бутылок, графинов и кубков с изысканнейшими напитками. Я богат, как вам известно; и все же во многих отношениях моя одинокая жизнь по-прежнему пуста».

Фредди Л. обернулся и взглянул на меня, и я почувствовал, хотя и не смел в это поверить, что между нами возникло нечто вроде понимания и что мои слова пришлись

ему по душе. Следовательно, существовало, как бы это выразиться, некое провидение. «Тебе даже не нужно раздеваться, – думал я. – Мне совсем, совсем не обязательно видеть твою наготу, чтобы служить тебе. Внимать шуму воды за дверью, когда ты умываешься; прислушиваться к стуку сбрасываемых тобой туфель, к шороху брюк, которые ты вешаешь на спинку стула в комнатухе наверху, – и твой голос, ловить звук твоего голоса, хриплого от похоти, – голоса, которым ты приказываешь темно-русый, как сам ты, мальчикам обнажиться, дабы послужить тебе седлом, сделаться твоей невестой, и я охраняю тебя, о принц».

– Вообще-то нам нужно в Мансарду, – объяснил Фредди Л. – Мы там кое с кем договорились.

«Старик» Альберт, сидевший рядом, до сих пор не раскрыл рта и все еще ерзал, умащиваясь на своем месте, причем его тонкий серый нейлоновый дождевик, соприкасаясь с обивкой, ежесекундно издавал чудовищный скрип и писк. Скосив глаза, я осторожно разглядывал его. Мне вовсе не нравился скрипучий шорох его дождевика, и сам он тоже мне совершенно не нравился. В общем, он был достаточно непригляден – хотя и ни плешив, ни тучен, ни близорук – и все-таки он был из тех, кому приходится зашибать бабки и пахать как проклятому, чтобы поддерживать дело на плаву, да еще и радоваться, что ему позволяют давать копеечку этому великолепному юному зверю, который, вполне возможно, благодарил его пинками и затрещинами, когда этого никто не видел, – кто знает, видел ли это кто-нибудь вообще; кстати, ничего не имел бы против, подумал я. Я попытался утишить свою ненависть – что с нее толку – и принялся изучать его. Можно было обладать такой наружностью, как у него, и все-таки, по некоей непостижимой милости, удаиваться чести пребывать в одном доме, в одной комнате и, как знать, в течение нескольких редких часов или минут в одной постели с

ним, Фредди – я уже знал его имя и то и дело с пересохшим горлом беззвучно шептал его, – даже если это последнее Фредди допускал изредка или вовсе не допускал, отговариваясь усталостью, головной болью или расстройством живота, в то же время со скучающим и критическим видом ощупывая новенькую золотистую, безумно дорогую рубашку и брезгливо поводя носом. «Такова жизнь, Альберт», – чуть ли не вслух подумал я. – «Тебе нужно на работу, но сперва ты варишь кофе для Фредди, который выпихивает тебя пинком из постели – да, любовь моя, пинка ему, делай ему больно, где только можешь, мой милый зверь, ты красивый, – и тут ты выходишь за дверь, Альберт, и не знаешь, что будет вытворять весь день этот белокурый зверь, а вечером не решишься спросить, но он тебе сам расскажет, будь спокоен. Тварь, любимый, зверь мой Фредди, ты же выложишь ему все прямо в харю, правда? Что ты безумно влюблен в такого-то и такого-то мальчика и, может быть, скоро уйдешь – капай ему на мозги, слышишь, не останавливайся, продолжай, очарованный принц мой, – как его ни топчи, ему все мало, что он может сделать, ничего он не может сделать, кроме как опять купить тебе что-нибудь дорожее». Ах, если бы только Господь дал, если бы позволил... «Поедешь со мной... пожить в палатке, Фредди? Бродить со мной в дюнах, рука в руке, а старик все оплатит, все, все, даже цветные блестящие открытки, которые мы ему будем посылать. Ты должен поехать со мной, Фредди, пусть даже ты меня и не любишь, неважно, ведь я тебе буду рассказывать все, что захочешь, всякие сказки...»

– Что-что? – спросил Фредди.

– Да, на чердак, – сказал я. – Ты не слишком устал, Тигр?

– Нет, нет.

– Или вы хотели сразу домой? – участливо поинтересовался Фредди.

– Неважно, – ответил я и быстро продолжил: – То есть мы тоже хотели на чердак, ко всем этим художникам, я хочу сказать...

Фредди улыбнулся. Страшно банальные, но при этом и страшно приятные мысли пронеслись у меня в голове. «Я словно годы уже знаком с тобой, такое доверие ты излучаешь», – подумал я про себя.

Мы отправились по адресу этого общественного зальчика и ступили в ночи на лестничную площадку окутанной тишиной школьного здания – после того как нам, по нашему звонку, на изготовленном из кухонного полотенца парашютике сбросили из чердачного окна ключ. (Об этом обычае толковали повсюду – он считался весьма артистичным; и еще долго будет ходить слух о том, как епископ собственной персоной, вознамерившись почтить собрание своим присутствием по поводу не то пяти-, не то десятилетнего юбилея существования Мансарды, позвонил снизу и получил ключом прямиком по центру своей лысой черепной коробки, поскольку его сверху не узнали – а может, именно потому, что узнали: католическое бесстрашие и существование, чреватое опасностями.)

Мы поднялись вверх – я не вполне представлял себе, как мне держаться. Мне хотелось быть с Фредди Л., остаться с ним, сидеть с ним рядом, но я был слишком близок к отчаянью, чтобы начать какие-либо пассы. В гнусной моей, истрепанной, загнанной жизни я волочился за бесчисленным количеством Мальчиков, но почти все это была ложь и грех нечистый, и вот теперь – этот Фредди Л.: я любил его – обреченно сознавал я, и потому желал приблизиться к нему не с реверансами, но с распахнутой душой и обнаженным кровоточащим сердцем – хотя лучше бы уж было мне этого не начинать, а еще лучше – просто удавиться. Господи, до чего же я был измучен!

Мне удалось на лету поймать ключ, прицепленный к парашюту для надгробных ангелочков, и мы с Тигром и двумя другими прошли по громко цокающим каменным ступеням через старое, скудно освещенное школьное здание, выложенное страхолодной керамической плиткой, по коридорам, заставленным длинными рядами алюминиевых вешалок, многие из которых напоминали полованные в схватке рога молодых животных. Я чуть замешкался, давая Тигру и Фредди возможность обойти меня на лестнице, а затем вновь прибавил шагу, чтобы оказаться позади Фредди и впереди Альберта. Что мне сказать, что сделать, когда мы окажемся наверху? Созерцая изгиб Фреддиной спины, движения его бедер и ступней, которые он опускал так, как никогда еще ни один Мальчик, ни один муж не опускал на землю, на камень, на ступеньку, на человеческое горло – нет, никогда еще!.. – я чувствовал, что мужество и сила духа оставляют меня. Почти вся воля, все жизненные силы и мужество истекли из меня, и все же ток крови повелевал мне – собрав то малое, что еще оставалось в жилах, те ничтожные остатки сил, которых мне едва хватало, чтобы держаться на ногах, – вновь завести речитатив, запеть арию великой любви.

Когда мы добрались до верха, чердак был уже наполовину полон. Где-то неподалеку от центра зала оставался еще свободный столик, окруженный четырьмя металлическими стульями, – я, словно в предчувствии обморока, поспешно устремился туда, и мы уселись как попало – а может, как раз наоборот: я – прямо напротив Фредди Л., так что между нами оказался круглый белый металлический стол, справа от меня – Тигр, а слева – старина Альберт. «Местечко занято. Присмотрите? Я тут свой бумажник положу». Я устроил на сиденьи своего стула изящную композицию из носового платка, расчески и когда-то кем-то подаренной мне прошлогодней синей кожаной

записной книжки и направился к буфету, откуда вернулся с литровой бутылкой красного вина и четырьмя стаканами. Вроде бы все шло хорошо, и тем не менее что-то было не так – я это чувствовал, и лучше бы ничего не начинать, говорил мне голос – кстати, хоть и напомнивший о себе впервые за последние два года – в основном, даже почти всегда, оказывавшийся прав. Ведь я был счастлив с Тигром, я хотел лелеять его и оберегать, для него я пытался заработать как можно больше Денег, моя последняя – прошлогодняя – книга все еще хорошо расходилась, и мы были обладателями дома в деревне, в Г., и вообще все было замечательно? (Хотя и дивились мои соотечественники, что этакий ящер, распахнув пасть, кощунствует и вещает о великом, и приписывали мне заявление о том, что Бог – осел¹ – причем правдой это было не больше, чем то, что ученому Дарвину удалось доказать их происхождение от обезьяны – хотя стоило только глянуть вокруг, чтобы убедиться, что именно так оно и есть.) Нет, на этот раз довольно, только не этот бред, Герард, подумай о матери.

Я вернулся к нашему столику и водрузил на него большую бутылку темного стекла, уже откупоренную и вновь нетуго заткнутую пробкой, и по-домашнему расторопно расставил стаканы. Фредди Л. глазел по сторонам и, похоже, изнывал от скуки. Возле установленного на краю сцены старого, выкрашенного в розовую, уже начавшую крупными кусками шелушиться краску фортепиано пристроилась чья-то божественная супруга в серьгах, и не то чтобы явно

¹ В 1967 г. Reve навлек на себя судебные неприятности своей статьей, в которой, в частности, говорилось: «Если бы Господь вновь явился нам в земном обличи, он принял бы вид осла, с трудом умеющего произнести пару слогов, – неузнанного, гонимого и поношаемого, – но я бы проявил участие к нему и немедленно возлег бы с ним...» (цит. по: Bert Voelaars, «Koninklijke jaren – De Weerter periode van Gerard Reve»).

фальшивым, но пронзительным и неблагозвучным голосом завела под собственный аккомпанемент «*Ты – мой идеал*» – чересчур, на мой взгляд, подчеркнуто бросая кисти на клавиши и вжимая их в инструмент, словно он был органом из какого-нибудь фильма и ему надлежало гудеть вместе с ней – во всем этом, как бы то ни было, присутствовал некий элемент безумия, что было очевидно даже мне, ничего не смыслившему в музыке.

Выступление это началось вдруг, стихийно, ее совершенно никто об этом не просил – уж точно не этот ее заметно более молодой супруг, брат или любовник, угрюмо примостившийся на краешке стула у самой сцены и внимавший ей с видом человека, лишённого выбора, – в действительности же ему явно ничего так не хотелось, как убраться отсюда подальше, но который – если не удастся надоесть доказательств её интересного положения – возможно, позволит удержаться себя музыкой, поддавшись чарующим тактам посвященной ему любовной песни, и ловушка вновь на какое-то время захлопнется.

У буфета теперь царила толкотня, официанты распаковывали большие текстильные коробки, в которых громоздились разложенные на картонных тарелках бутерброды с колбасой. Фредди почти одновременно со мной заметил, как раскрывали коробки и выгружали их содержимое. «Вы, наверно, не откажетесь от бутербродов?» – спросил он. Это были его первые слова с того момента, как мы вошли в здание. Его слова, незначительные, как незначительна может быть горсточка малосодержательных звуко сочетаний, тронули меня, словно рассыпавшийся рядом со мной в воздухе непостижимо прекрасный фейерверк, и на долгие секунды исчезло все – вся скверна моей жизни – в фонтане светящегося, мерцающего бархатно-зеленого дыма. Вот мысли, что примиряют с действительностью. Фредди, опередив меня, уже поднялся с места. Горло мое не могло

издать ни звука, а он, мой Фредди Л., был уже на пути к буфету. «Нет-нет, я все принесу, – упавшим голосом пробормотал было я, но все же встал и с отчаянной решимостью подался за ним, к буфету. – Можно мне с тобой?» Может быть – думал я, труся рядом с ним в рабском, страстном уповании некоего унижения, – яви он мне подобную милость – может быть, мне ляпнуть какую-нибудь банальность, что-нибудь вульгарное, простецкое, из-за чего он навсегда отвернется от меня. Выдать что-нибудь тошнотворное, что ни в одни ворота бы не лезло, – вот тут-то он меня и отошьет.

У буфета нам пришлось несколько минут подождать, чтобы нас обслужили, поскольку народу прибавилось. Некий голос гнусил, тьякал и ныл во мне и искушал меня – весьма навязчиво и весьма отчетливо. «Зануда», – почти вслух объявил он. Из-за небольшой давки Фредди вынужден был придвинуться ко мне так близко, что его левое юношеское бедро легонько, однако отчетливо и ощутимо, прижалось к моей правой ноге, отчего тепло его сквозь одежду передалось моему телу. Переменив позу, он не отклонился своим гибким телом – хотя, даже якобы неумышленно, вполне мог это сделать – и прочно и неподвижно застыл на месте, слегка расставив ноги, ни малейшим движением не давая мне понять, что прикосновение ему приятно. Он был не из тех, что готовы перепихнуться в уголку – нет, ведь он был юный король, он был принц. Он обменялся несколькими словами с женщинами за стойкой, и я уловил дрожание его голоса – начавшись у него в бедре, оно отозвалось выше и отдалось в костном мозгу моего скелета. «Четыре. На четыре персоны», – было все, что он произнес, лишь эти четыре ничего не значащие слова, но произнес он их так, как я еще ни разу ни от кого не слышал, и меня удивило, что окружающие не умолкли или хотя бы не понизили голоса. Подошла

наша очередь, но тут кто-то влез перед нами, и его, конечно же, обслужили первым – и, глядя на ушко Фредди у моего лица, уголок его рта и полоску шеи над воротником, я пытался понять, как это возможно, что некто, чья очередь еще не подошла, тем не менее осмеливается опередить Фредди и – еще непонятнее – как можно уделять внимание такому типу, вместо того чтобы указать ему на его ошибку: семьюжды семь с тебя за заказ – как в лютом, долгом бичевании, седмижды семь ударов хлыста, рукой Фредди или у него на глазах – нет, как все же странно устроен мир.

В ожидании нашей очереди я глазел по сторонам и старался не думать о левом бедре Фредди, от прикосновения с которым – случайного ли, намеренного – как тут докажешь? – мое тело тлело на медленном, мучительном огне. Да: определенно было бы лучше, если бы я нашелся и сболтнул что-нибудь такое, что разом уничтожило бы мои шансы, и из-за чего Фредди с презрением навсегда отшатнулся бы от меня, – но что? Например, я мог бы сказать, что здесь нет ни единого хорошенького мальчика, кроме него – это было бы, я полагаю, достаточно серьезно и достаточно мерзко, – или просто задать вопрос ради вопроса: например, правда ли это, что старик Альберт – его постоянный друг? Вполне сошло бы, с точки зрения банальности формулировки, и должно было бы сработать – но я просто не мог заставить себя спросить нечто подобное.

Чем он, в сущности, занимался, Фредди? Вопрос внезапно заинтриговал меня. Художник? Ну тогда, верно, не настоящий. Скульптор, в мастерской которого не сыщешь ни крошки мрамора, но который, к примеру, сооружает «Буквальные Объемы» из старых телефонных справочников, очечных оправ и слуховых аппаратов? Нет, для этого у него был чересчур милый, чистый, естественный и честный вид: он умел только то, что умел, и не мог того, чего не мог, но мозгов, во всяком случае, никому не пудрил.

Может, он и вовсе не имел никакого отношения к искусству, а был всего лишь дружкой «старика» Альберта – тотто как раз слыл человеком искусства, композитором – из тех, что намертво застревают на верхней нотной линейке, до половины исчерканной карандашом и вновь до дыр вытертой ластиком. Нет, я знаю, – осенило меня: Фредди играл на лютне, скорчившись или облокотившись на старый подоконник, вот оно что.

– А знаешь, тут ведь ни одного симпатичного мальчика нет, – отчетливо и намеренно чуть громче, чем следовало, заметил я. И вслед за этим подумал, что после поправки, которой я так определенно настроился снабдить свое замечание, мое высказывание окажется несправедливым по отношению к Тигру.

– В самом деле? А мне кажется, ничего, вполне приемлемо, – сказал Фредди. Возможно, это был единственный имевшийся у него в запасе ответ, к которому он прибегал чуть ли не всякий раз, когда высказывание требовало некоего размышления, но от звука его голоса меня вновь бросило в дрожь. Откуда он был родом? Был ли его акцент каким-то особенным, или же это был самый обычный амстердамский говор плюс какой-нибудь курс «выступление перед аудиторией»? Как бы то ни было, как ни хотел я испортить все, перебороть себя, и, осквернив, сделать невыносимым – вновь его голос мощным потоком пробил-ся ко мне. *«Как ветер: поднимется он – и щebet смолкает, и звон»*, подумал я. *«Ты музыкант, я – поэт. Наши жизни дол-жны быть одно»*. Меня мало волновало, было ли заметно, что глаза мои чуть увлажнились.

– Ну да: ни одного-единственного хорошенького мальчика – это я, разумеется, в самом общем смысле, прошу за-метить, – заныл я. – Как бы там ни было, тут все же имеет-ся одно бросающееся в глаза исключение, – бубнил я, до-вольно откровенно оглаживая взглядом фигуру Фредди. –

«Теперь он знает, что я такое, – подумал я. – Вот это самое я и есть: моя жизнь, и он это видит, и отвращает лицо свое, и так тому и быть».

Со стороны сцены раздался хлопок. Артистическая супруга в серьгах у фортепьяно мужественно отыграла и мужественно допела и, с преувеличенной тщательностью человека, всеми силами старающегося не выдать своего опьянения, попыталась опустить крышку пианино – но увы, за несколько сантиметров до цели крышка все-таки вырвалась из ее рук и упала. Дама встала, но теперь, с еще бóльшим трудом удерживая равновесие, столкнула со сцены в зал стоявший у нее за спиной фортепианный табурет, где он с еще бóльшим грохотом, стуча и перекатываясь, приземлился на пол.

Фредди Л. взглянул на меня, и по губам его скользнула неторопливая усмешка. Смеялся ли он над непреднамеренной музыкальной клоунадой или над примитивностью моей лести, определенно прозрачной и тем не менее приятной ему? Внезапно, движением поначалу весьма смутным и тем не менее достаточно сильным, чтобы показаться недвусмысленным, он прижался бедром к моему – не откровенно, а скорее нежно и зависимо, как некий доверчивый зверь.

Я не достиг того, что должно было бы означать исполнение моего желания, – а может, как раз наоборот. Я знал, что Фредди Л. не отвергнет меня из-за пустых слов, банальностей и грубостей и что он и впрямь хотел бы, чтобы у нас было что-то, что – с его стороны – со временем превратилось бы в нечто постоянное.

И вот я ощущал, что обладаю миром, которого не хотел. Или все же хотел? Чего же я хотел тогда, в конце концов?

Глава седьмая

Тяжелее воздуха

Довольно скоро лед был сломан, языки оттаяли, и между нами завязалась оживленная болтовня. Кругом царил немолчный гвалт – зальчик мало-помалу заполнялся. Подобно захлестнутому волной купальщику, что взывает к Господу и клянется впредь никогда не заплывать так далеко, я изо всех сил сопротивлялся порочному человеческому пристрастию к алкоголю, пытаюсь не позволить голубоватой винной лиловизне пропитать меня насквозь и, ударивши в голову, превратить ее, и без того уже далеко не юную, в зрелище и подавно жуткое и неприглядное.

Нам, всем четверем – Тигру, Фредди, «старик» Альберту С. и мне – приходилось повышать голос, чтобы расслышать друг друга через круглый террасный столик. При этом обнаружилось, что Альберт был весьма туг на ухо, но никакими медными ушными трубками или слуховыми аппаратами, разумеется, не пользовался – хотя в ответ на практически каждую реплику исторгал скрипучее «А?» или «Чего?», приставляя ладонь к глуховатому уху.

В изломанной моей, многогрешной жизни порой встречался мне Мальчик, столь безоглядно преданный своему братишке или полубратцу, дружку, юному дядюшке, а то и какому-нибудь все еще моложавому хозяину гаража, что с ходу и не скажешь – «это еще что такое?»; и в подобных случаях никогда не составляло большого труда от души приударить также и за другой партией, а то и ринуться в лобовую атаку псевдолюбовного поединка на уже, как правило, находящегося на последнем издыхании от ужаса смерти, презрения и забвения и посему практически не сопротивляющегося спутника жизни обожаемого существа; однако теперь того, что в другое время было бы приятным развлечением, у меня не получалось. Слишком уж

я его ненавидел, этого старика Альберта, слишком глубоко было мое к нему отвращение, то и дело сменявшееся волнами великого сострадания и нежности к Фредди, силой принуждаемого предавать свое золотистое юное тело на поругание этой глухой тетере.

– Отчего он оглох, старик твой? – почти с отчаянием прокричал я во Фреддино прелестное темно-русое ушко, ощущая губами тепло, излучаемое юношеским его лицом. – Небось лечили тят-ляп, какой-нибудь дешевый доктор-торопыга, да? Восемнадцать душ детей! Ранняя старость! Судьба пролетария! С таким же успехом мог бы и вовсе помереть, за те же деньги.

– Нет, это у него какая-то болезнь, – с улыбкой пояснил Фредди. Становилось заметно, что я уже едва сдерживался.

– Он с тобой хорошо обращается? Подкатывается небось к тебе раз-другой на дню, а? Дорогущими подарками заваливает?

– Ты чего это вдруг разорался? – заметил Тигр.

– Он мне ни в чем отказать не может, – чуть понизив голос, поведал Фредди, потупившись и разглядывая наружный край своего ботинка. – Это он сам так говорит.

– А? – вклинился тут и сам Альберт.

«Ну и приходится же тебе горбатиться, – пробормотал я про себя, с несколько кривой ухмылкой разглядывая Альберта. – Содержать еще трех-четырёх хорошеньких Фреддиных дружков. Одевать их, кормить, приносить чай в постельку, пока Фредди тешит свою юную похоть с этими сладкими игрушками – в дождливые дни, весь полдень напролет. Здесь часто дождит».

– Он спрашивает... – начал Фредди, отвечая Альберту. – Что ты спросил-то? Ах да, он спрашивает, хорошо ли я с тобой обращаюсь. Или нет – хорошо ли ты со мной обращаешься.

– Кто с кем вращается? – протрубил Альберт.

– Нарывается, чтоб ему совсем мозги заплели, – объявил я в голос. Теперь я несколько подчеркнуто обратился к глухарю. – Ты в своем роде интеллигент!

– Вроде... или... я гей? Ну да, я и не отрицаю.

– Нет, я не это имею в виду.

– Что я не гей, значит?

– Ты – интеллигент! Интеллектуал!!

– Да, кто же спорит.

На этом мы забуксовали. Через пару столиков от нас в окружении трех-четырёх собеседников стоял мой крестный отец; наши взгляды встретились, и он кивнул мне. Я встал, решительно направился к нему и приступил к обстоятельным расспросам.

– Ты что-нибудь о нем знаешь? – без обиняков начал я, на словах обрисовав место Фредди за столиком, хотя и не избежал при этом неловкого кивка головой в его сторону. – Я имею в виду вон того темноволосого красавчика.

– Ты вечно насчет красавчиков, а?

– Я – служитель красоты. Иначе бы таких дивных книг не писал, верно? Ты его знаешь? Кто он? Я имею в виду – чем он занимается?

– Чем занимается... – Было похоже, что мой вопрос его смутил. – Я к нему захожу иногда. К его родителям, – поправился он.

– Он еще дома живет?

– Да.

– А что там у них дома? – продолжал насесть я.

– Отец у него – художник. И даже довольно известный.

– О... тот самый Л., – проговорил я совершенно удовлетворенным тоном. – А не сын ли он... – Я знал одного преподавателя бухгалтерского учета с такой же фамилией, но никогда не слышал о художнике по имени Л. – А братья и сестры у него есть?

– Есть. Два брата.

Казалось, моим расспросам конца не будет, но тут мой крестный извинился и нырнул куда-то в толпу. Я вернулся к нашему столику, где Тигр как раз предложил не засиживаться допоздна. Была допита уже вторая бутылка, и я утомленно и грозно глянул сквозь стекло, зеленое, как вода в бассейне. Тигр протянул мне свой полупустой стакан. – Новую не бери, – сказал он. – У нас дома еще полно.

– Мы вас подбросим до дому, – предложил я Фредди и Альберту. – Но, может, все-таки заглянете к нам, на четверть часа, на полчаса? Посидим в тишине, правда ведь, чтобы хоть не кричать. Посмотрите, что называется, как мы живем... А там – в объятия Морфея. – Я был измотан и, хотя мне и хотелось, чтобы они посидели у нас перед тем, как отправляться домой, я пожалуй, предпочел бы обратное. Слишком я был стар и слишком мне было не по себе. «Старик» Альберт был одиннадцатью годами моложе меня, и я задался вопросом, на что может походить в этом бессонном дыму моя одурманенная башка. А Фредди... Да-да, сударь...: Фредди было восемнадцать.

Мы отправились домой и, толком не заметив, как это вышло – полагаю, однако, что Фредди Л. в определенный момент попросту отпихнул в сторону своего старого спутника жизни – я вдруг очутился на левом заднем сиденье машины, так же как и по дороге сюда – но на этот раз не со «стариком» Альбертом С., сидевшим теперь впереди, рядом с Тигром, а, вообразите себе, с Фредди Л. по правую руку. Пока наша машина беспрепятственно катила по довольно тихой в это позднее время улице, я – пока что украдкой – искоса поглядывал на лицо Фредди, время от времени затеняемое уличными фонарями, в сущности, немногим отличавшимися от полуденных телеграфных столбов, мелькавших за окном вагона, в котором сидел юный пассажир – герой какого-то не то итальянского, не то

шведского киноэпоса. Мы свернули с улицы, на которой только что развлекались, и въехали на главную магистраль квартала, где ночной ветер раскачивал развешенные над ней бесконечно печальные эмалированные железные чаши фонарей – совсем как прежде, в ранние годы моей юности, когда я жил в этом же самом квартале, в одном из выходящих на эту улицу домов, – и я подумал: как все же странно, что никогда в жизни не жил я в иных кварталах, кроме печальных.

Лицо Фредди то и дело омывала волна бледного сияния, и, когда она затем вновь отступала, четко вырисовывался лишь его рот и чуть погода – снова все лицо. Ночь будто бы целовала его, мог бы я сказать – и уж точно подумал бы, находишься я тогда в большем подпитии. Захмелев, мы почувствовали, что нас влечет друг к другу, Фредди Л. и меня – и, сидя рядом, в машине, в ее неверной полутьме, в которой непоправимым обернулось бы все, что могло случиться между нами – мы, согласно порядку вещей, должны были пощупать друг друга между ног, и, сопя, начать возню с застежками, и, скажем, малость полизаться – но я лишь глядел на него, в его лицо. Он был красив, Фредди, и я пытался понять, что привело нас друг к другу, и почему я впал из-за него в такое буйное помешательство, и что двигало им, все это время столь охотно шедшим навстречу моим попыткам сближения. Сидя по-прежнему неподвижно, я лишь слегка шевельнул правой рукой и, вытянув ее, приласкал кончиками пальцев его ухо и то ныряющие в тень, то выплывающие из нее темные пряди на висках и темени. И, вместо того, чтобы действовать дальше, я задумался, и вновь моему взору предстала не относящаяся к делу картина – это было на рынке, далеко, в другой стране, во французском городе Монтелимар, года два назад: на водительском сиденье в сером фургоне, припаркованном около рыночного ларька, торгующего пластиковыми и

кожаными сумками и прочей ерундой, заметил я женщину – по моей оценке лет тридцати, с короткими завитыми, очень темными каштановыми волосами и лихорадочным острым лицом, – одетую, насколько я мог видеть, в длинную черную кожаную куртку: правой рукой, глубоко ушедшей в сжатый пах, она усердно трудилась над свершением чуда, а левой, облокотившись на верхний край окна машинной дверцы, пыталась прикрыть свой страдальческий, безотрывный взгляд умирающего от жажды узника. Куда она глядела? Первый раз в жизни я наблюдал возбуждающую себя женщину и, пытаясь вычислить, угадать, на кого было направлено ее желание, протянул из ее страждущих глазниц воображаемые линии к стоявшим у киоска разнообразным личностям, разглядывавшим и приценивавшимся к товару, но не заметил ни одного юноши, ни одного молодого мужчины, способного, с человеческой точки зрения, явиться объектом хоть какого-нибудь желания, – поскольку народу у киоска по случайному стечению обстоятельств почти не было, а среди находившихся там – так уж вышло – не оказалось ни одного мужчины. И вдруг я увидел, в ком было дело: в некрасивой, длиннющей девице или женщине, полуарабке лет 20-30 – прыщавой, с жирными, тусклыми черными волосами, – которая, со своей стороны, тоже полная страстного желания, склонилась тощим, упакованным в драный, изношенный оранжевый свитер телом над какой-то бросовой сумкой и без конца мяла и ощупывала ее – однако цена этого барахла определенно превышала ее покупательские возможности. Что навело меня на эту мысль теперь, в машине?

Я опустил руку и, чуть сдвинув ее вперед, провел ею по губам и нижней кромке Фреddieного носа. Он сжал мою руку в своей и довольно звучно чмокнул ее. Когда он ее выпустил, я, в свою очередь, взял его за руку, но не стал целовать ее, как это сделал он. Мне хотелось сделать что-то не

столь банальное и дешевое, но исключительно нежное и ласковое, что не могло бы не тронуть его возвышенностью моего чувства. Я положил ее к себе на колени, ладонью вниз, и погладил по тыльной стороне, как на картинке в детской книжке гладят по голове ребенка, вернувшегося домой с отличными отметками за учебную четверть или с головоломными жизненными вопросами. Глядя на его руку в изменчивом сиянии пролетающих мимо уличных фонарей, я расширил территорию моих ласк – забрался под мягкий рукав его светло-серой вельветовой курточки, чуть выше запястья; и представил, как отчаянно пытался бы он высвободить эту руку, зажатую в крепко прикованный к каменной стене наручник, или схваченную кожаным шнурком пыточной сети, или защемленную в деревянном отверстии пыточной скамьи – и вот начинается беспощадное истязание: его руки – или хотя бы вот эта его рука – будут искромсаны так, что он впадет в беспамятство, тогда как все его оставшееся неприкосновенным, непоруганное, прекрасное животной красотой юношеское тело будет плясать и содрогаться, как у безумного, в балетном соло Боли. И теперь, когда я в одиночестве лежал в постели, в комнате наверху, на ***лаан, в ожидании возвращения Мышонка, мне опять внезапно вспомнилось, что примерно те же самые мысли, та же игра воображения не давали мне покоя многие недели после той памятной ночи, на чердаке Дома «Трава», с Фредди Л., там, у большого верстака; поскольку мы были уже вполне на дружеской ноге, и, после посещения ими той же ночью нашего бетонного приюта самоубийц в Осдорпе и последовавшего вслед за тем ответного визита к ним – они жили у родителей Фредди, в южной части Амстердама, – Фредди со своим стариком Альбертом и вправду на несколько дней приехали к нам в деревню Г., в дом «Трава» во Фрисландии. И тогда, на чердаке, куда по неизвестным причинам увлек меня Дух, мной вновь овладели

те же самые мысли, в то время как мы – Фредди Л. и я – лихорадочно пытались успеть как можно больше в объятиях друг друга – до того, как старик Альберт – который, как некий наделенный совершенно бесполезным для него интеллектом и умением ориентироваться на местности варан, повсюду шаркал за нами – не явится составить нам компанию. Фредди немного отступил назад и стоял теперь почти под самым чердачным окном, я – около верстака, а старик Альберт С. только что влез в наш любовный спектакль из оркестровой ямы или суфлерской будки, как влезал бесчисленные разы до этого – из левой боковой двери, из правой боковой двери, неспешно из-за правой кулисы, «осторожно спускается вниз по правой лестнице», – поскольку наши с Фредди сладкие игры продолжались уже несколько часов, и вновь я был молод, но уж если злосчастье таскалось за мной по пятам – ступенька за ступенькой, в комнату, в закуток, и вновь из закутка, из угла, откуда ни возьмись, – то таскалось с большим энтузиазмом: старик, похоже, был просто неугомим. С любовью вечно все не слава Богу, ну а от ревности и вовсе житья нет – это нужно было принять как данность. И вот уже в который раз мы опять стояли втроем, и я глядел на правую руку Фредди, еще несколько кратких мгновений назад лежавшую у меня на шее и перебиравшую мои волосы, словно я и вправду был мил и желанен ему, – теперь она, полусплетенная с другой рукой, целомудренно прикрывала его темно-оранжевый или светло-коричневый пах. Я невольно вообразил, как зажал бы эту наипрелестнейшую, еще несколько мгновений назад всеблагоую руку в верстачные тиски, здесь, на чердаке, и потом терзал бы ее, наипрелестнейшую юношескую длань, пока топот и чечетка боли, причиняемая пыткой, не зазвучали бы как цокот конских копыт под неким юным красавцем-всадником, тщетно пытающимся укрыться в тупике расщелины от караулящих его злодеев, охотников за мальчиками, – и

мысль эта была сначала сродни той, тогда, ночью, в машине, и все же была чуть иной, поскольку в этот раз, на чердаке Дома «Трава», я подумал о замечательной возможности – терзать не одну только руку, оставив неприкосновенным тело, а, напротив, мучить все его юношеское тело, пощадив эту самую руку, продетую в отверстие в деревянной стене, прикованную за запястье, – я целовал бы эту руку и с бесконечной нежностью ласкал бы ее, в то время как с другой стороны деревянной стены, невидимый для меня, однако вполне слышимый черный парень терзал бы и предавал поруганию все светловолосое, ученически-светлое тело Фредди.

– Пойду-ка еще кофе сварю, – только и сказал я, и мы втроем спустились в кухню. День, как и жизнь, клонился к закату, и вновь наступал вечер, когда мы вчетвером усадемся в Большой Гостиной и станем болтать о том о сем, попивая красное вино. Это был второй или третий день их пребывания в Г., но ни на одно мгновение старик Альберт дольше чем на минуту нигде не оставлял нас наедине с Фредди – ни ночью, ни днем, ни вечером. Выходить нечего было и думать: со дня их прибытия бушевал ветер – холоднее, чем обычно в Г. для этого времени года – хоть и без дождя, и было довольно солнечно, но и закаленному человеку погода показалась бы слишком суровой для прогулок. Так что этот день тоже прошел в разговорах, за едой и выпивкой. Тигр провел несколько часов в другом, меньшем доме, располагавшемся на краю деревни и служившем нам чем-то вроде садового домика, который мы окрестили Летним Дворцом, – в свое время Тигр собирался основать там горшечную мастерскую; мы, разумеется, разок наведались туда все вместе, но и там старик ни на секунду не упустил из виду своего бархатного принца.

После обеда опять последовал треп, вино и, наконец, ужин, для чего мы с Фредди отправились на кухню жарить

яичницу; но не успел я проткнуть желтки, как опять притащился старик. «Наша любовь – любовь преследуемая, Фредди, – тихо сказал я. – Нашей любви негде голову преклонить». Старик вопрошающе прокаркал, что это я там сказал. «Да вот говорю Фредди, что юность несказанно прекрасна, – ответил я, довольно сильно повысив голос. – Мы с тобой – стариканы, и уж давно не поем партий в любовной опере. Волосы наши тускнеют, от нас скверно пахнет, зрение падает, слух слабеет – все идет вразнос. Верно, это для тебя мука и немалое испытание – жить с таким сказочным красавчиком. Но я на твоём месте поступал бы точно так же: караулил бы его день и ночь. А на его месте, Альберт, на месте Фредди, я хочу сказать, я бы только одно делал, только одно бы в мыслях имел: как бы как можно чаще, как можно безжалостней и как можно бесстыднее наставлять рога своему приятелю. Ведь не ты же хозяин всех этих престелей, и уж точно не ты один, тугоухий переперщик с языка могильных червей?! Он ведь изменяет тебе, этот зайчик, с чемпионами по плаванию, кинозвездами, ковбоями, скаутами, молоденькими военными летчиками, солдатами и... девчонками?» На последнем слове я содрогнулся, и мне пришлось слотнуть. В пуганице скорби, ярости, несогласия и смятения «старик» неуверенно затряс головой. «Я забочусь о том, чтобы всегда быть рядом с ним», – дрогнувшим голосом заявил он, не сообщив, однако, ничего нового. Говорить больше было не о чем и, поскольку наши разговоры в Большой Гостиной ходили по тому же кругу, никаких сюрпризов ожидать больше не приходилось. У самого «старика» Альберта была способность к никому не нужным языкам, и он за гроши переводил на дому какую-то напасть с той или иной мертвечины, от которой и впрямь никому никакого проку не было, – с этрусского или со староперсидского, – и знал, например, все о трудах и жизни знаменитого английского царя поэтов Лорда Ноэля Байрона.

Фредди, милашка, очарованный зверь – ему стоило бы семь раз отмерить, поскольку он сам – хотя прямо об этом сказано не было – ничего вообще не делал, это мне было совершенно ясно, хотя он и «баловался красками и кистью», и занимался – так это называлось – изготовлением керамики. У него было еще двое братьев, старший и младший, – судя по фото, оба тоже довольно хорошенькие, причем старший точно был «из этих», а в отношении младшего с «этим», по-видимому, пока не определились. Один с треском провалился в университете, другой два раза пытался сдать выпускные экзамены в школе, и оба раза безуспешно. Сам Фредди тоже ходил в какую-то школу в большом городе А., но в какую, и чему в ней в точности обучали и чему не обучали, я так и не узнал, но там «постоянно бывали вечеринки», а еще они там занимались танцами, и учились творческому самовыражению, и получали общее развитие, – но либо у школы не было никакого названия, либо мне его не сообщили. После того, как я высказал соответствующее пожелание, Фредди заявил, что изготовит и обожжет для меня керамическую статую Святой Девы, которую я смог бы вмуровать в нишу в садовой стене, и даже пообещал представить соответствующий эскиз – и действительно, на следующий день по прибытии в Г. он развернул передо мной большой лист серой чертежной бумаги, которая, однако, примечательнейшим образом не содержала абсолютно ничего, кроме весьма смутно намеченных мягким карандашом в нижнем левом углу контуров пятки и двух пальцев ноги – лиха беда начало, – и рулон куда-то засунули, потом смахнули и оставили валяться в углу.

Из-за необузданной моей похоти, все нарастающей и никак не получавшей выхода, я постепенно раздувался, распухал, и, мало-помалу, не без помощи вина, во внутренностях моих беззвучно, но явственно стали скапливаться газы. Время от времени я выпускал их, не особенно заботясь о

том, где нахожусь, за столом ли, за беседой, – я, однако, старался делать это как можно тише. Больше всего мне хотелось бы внезапно пальнуть из задницы прямо в рожу «старика», но для этого мне нужно было бы забраться на какое-нибудь возвышение, а он, «старик» то есть, должен бы был находиться прямо под прицелом; или же пришлось бы попросить его нагнуться и исследовать какую-нибудь воображаемую дыру на задку моих брюк – но ввиду крайней своей подозрительности он, скорее всего, вряд ли купился бы на такой старый трюк. Кстати, все получается как надо, когда в этом нет особенной нужды – это да; но, когда нужно, в решающий момент ничего не выходит, кроме еле слышного, простуженного неряшливого вздоха. Жизнь складывается не так, как обещает, и все, за что ни возьмешься, буксует и заходит в тупик, не так ли? И вот еще что: в меня начинало закрадываться темное подозрение, что Фредди Л. как раз этого самого и хотел: чтобы за ним все время таскались, и то, что «старик» постоянно вваливался к нам, его не раздражало, а скорее возбуждало. Им уже скоро уезжать, думал я, когда мы, поужинав бутербродами, вновь беспечно усаживались за красное вино в Большой гостиной. Господи, о чем еще было нам говорить? За выпивкой я, как правило, распространялся о том, что можно было пить, а что нет, и как часто, и как много, и что хорошо шло с тем-то и хуже – с тем-то, до тех пор пока всем, включая Тигра и меня самого, это не осточертевало. В беседах я много внимания уделял своему пристрастию к алкоголю, которое все еще надеялся преодолеть или взять под контроль, но старик Альберт С. об этом и не заикался, а просто хлебал все, что ему наливали, все подряд, как старая коняга, способная умять не только хлебную корочку – пригоршню корок, да что там – колыбельку корок, ванну, комнату для гостей, набитую корками. «Он все это испаряет, – подумал я, – старик-то, тем и сыт, а что касается

телесной стороны любви – он уж, наверно, и не может больше ничего – и кто знает, не от того ли одолевает его эта поистине знаменательная, возможно, и в самом деле пьяная ревность».

– А ты недурственные стихи писал, – вдруг во всеуслышанье обратился я к старику. – Я все эти годы за ними следил, их в разных газетах печатали. Есть очень хорошие. – Старик Альберт С. был тоскливец и пьянчуга и благодаря своему дару никчемных языков переводил за гроши чужие, такие же никчемные книги, и в Бога не верил, хотя по любой травинке, дереву, любой твари можно было видеть, как все растет, и, учитывая все эти злосчастья и измены его красавчика дружка, не дано было ему писать изумительную прозу о мужской любви – у него были лишь весьма средние поэтические способности, которые, из-за его пристрастия к каламбурам, никогда не будут переведены ни на какой чужеземный язык даже теми, кто одарен талантом к живым языкам. Отравить бы его – раз, и готово дело. Однако чего бы ему такого в стакан напузырить?

– Ты находишь? – пронзительно каркнул он в ответ голосом, исполненным тщеславия и недоверия.

– Ну да, – сказал я. – Но тебе бы надо побольше воспевать невозможную, безнадежную, трагическую и безысходную любовь. Этот предмет как раз для тебя.

– Делаю, что могу, – в замешательстве уныло и нерешительно поведал старик Альберт.

– Как жаль – в определенном смысле это даже трагедия, – что художник не может прокормиться своим трудом, – рассуждал я.

– Но ты-то можешь, – вмешался Фредди, сияя всем своим оживленным, слегка захмелевшим лицом. Алкоголь все усугубил, или, напротив, улучшил, или – как это сказать: в точности как господь Бог, страстно ненавидящий нищету и самый воздух, которым дышат бедные, оделяет

богатых всем тем, что отнимает у бедняков: богоподобная красная винная Кровь делает юность и красоту еще моложе и красивей, уподобляя их цветущей розе, но дерьмом и торфом загустевает в жилах старости, обращая ее пурпурный лик в еще более зловещую и отталкивающую маску.

– Очень многие поэты допились до смерти, – считал я необходимым просветить общество. – Жерар де Нерваль¹, Герард ден Брабандер², Герард Слауэрхофф³, Герард Блум⁴, Жерар Верлен⁵ и так далее.

– Верлен... Жерар?

– Это его второе имя; Рембо его всегда так называл. Но это они из-за абсента. Частенько думают, что это одно и то же, но тут чертовская разница, что пить. Вино – лучше всего.

– Вино лучше всего, – унылым эхом отозвался старик.

– Да, я тоже так думаю, – поддержал меня Фредди чуть шероховатым от вина, попеременно то темнеющим, то хрипнувшим юношеским голосом. – А ты разве нет, Виллем? – с предупредительным вниманием обратился он к Тигру, который держался несколько отстраненно.

1 Жерар де Нерваль (1808 – 1855), псевдоним французского поэта-романтика, драматурга и прозаика Жерара Лабрюни, покончившего жизнь самоубийством.

2 Герард ден Брабандер (1900 – 1968), псевдоним нидерландского поэта Яна Герардуса Йофрита. Пивший запоями, ден Брабандер погиб в результате несчастного случая.

3 Герард Слауэрхофф – скорее всего, имеется в виду Ян Якоб Слауэрхофф (1898 – 1936), нидерландский поэт и романист, умерший от последствий малярии и запущенного туберкулеза.

4 Герард Блум – по-видимому, Якобус Корнелис Блум (1887 – 1966). Нидерландский поэт, эссеист, критик. Умер от кровоизлияния в мозг.

5 Поль Мари Верлен (1844 – 1896) жил в крайней нищете и в долгах, много пил, мучился кошмарами, серьезно болел. Умер от воспаления легких.

– Да, я тоже, – отозвался тот. – Оно вкусное.

– У каждого напитка есть свои плюсы и минусы, – продолжал рассуждать я. – Вот и Королева тоже. Она ведь что раньше пила? Молодую можжевеловку, потом херес. А теперь полностью перешла на сухое красное. Поэтому у нее в последние годы такой хороший вид, и фигура стала гибкая, здоровая и стройная.

– Королева? Стройная? – уточнил старик тоном, недоверие в котором граничило с оскорблением королевского достоинства.

– Да, Королева очень постройнела, – встал Фредди на мою сторону, и старик окинул нас чуть ли не убийственным взглядом.

– Да, это правда, – сказал Тигр так внезапно, что я чуть не вздрогнул.

– А все почему? – гнул я свое. – Потому, что вино тяжелые и медленные соки из тела вытягивает. От вина хорошо выпекаешь – пирожок, конечно, черней чернил, но зато выходит тик в тик, каждое утро, и не по крошечке, не кашей, а этаким крепеньким корнишоном, огурчиком – и мочишься от этого тоже хорошо, от вина, так-то вот. А тяжелая слизь обращается в тяжелый газ, который покидает тело известным образом. – Вытянув губы трубочкой наподобие некоего воображаемого кларнета, я издал совершенно непристойный звук испускаемого ветра.

– Говорят, он гореть может, – оживился Фредди, ожидавший, по всей вероятности, что по программе предполагались фокусы. – Вверх поднимается. Совсем как газовая плита, – туманно добавил он. – Хоть поджигай.

– Нет, он тяжелее воздуха, – настаивал я. – В сосуде он стелется ко дну. Он не поднимается.

По какому-то случайному счастливому совпадению я – словно в ожидании явления Спасителя или Ильи-пророка – поставил на низкий кофейный столик лишний бокал, и он

остался чистым и нетронутым. – Если я напушу в бокал газу, он в бокале и останется. Он его заполнит, но останется внутри. Наверх не поднимется. – Я встал, слегка расставил ноги, чуть нагнулся, приискал для округлого широкого отверстия бокала место, наиболее подходящее для проведения опыта, и, держа его строго горизонтально, плотно прижал отверстием к раструбу своего бомбардона¹, который, к счастью, кроме трусов был прикрыт всего лишь саржей панталон, довольно рыхлой, – и спустил курок. Из моего мужского грота раздался сперва ничтожный, застенчивый посвист, за которым, однако, немедленно последовал глубокий, громкий, очень краткий и, тем не менее, полнозвучный, могучий раскат фанфар. Старик Альберт все еще не мог поверить в происходящее, но я намеревался быстро положить конец его сомнениям. Подавив нетерпение, я еще несколько секунд крепко прижимал бокал к заду, затем с неимоверной осторожностью потихоньку отнял его, очень медленно перенес на него свободную руку и, мгновенно прикрыв его ладонью, выставил перед собой, держа его одной рукой за ножку, а другой – плотно закрывая отверстие. Изнутри бокал казался покрытым неким жирноватым туманом.

– Есть он там или нет его? – спросил я и, поднеся бокал к лицу «старика» Альберта, сунул его прямо ему под нос, отняв прикрывавшую отверстие руку. – Тяжелее воздуха, само за себя слово говорит, – воскликнул я. «Старик» Альберт, вольно развалившийся на стуле, зашелся ужасным кашлем и попытался, вскочив, уклониться. Фредди Л. хохотал так, что потерял равновесие и свалился со стула, приземлившись локтем на коврик. Из стакана в ноздри

¹ Бомбардон (*фр.*) – басовый духовой инструмент с тремя или четырьмя пистонами, по форме и звуку напоминающий басовую трубу. Прототип современной тубы.

мне ударила неопиcуемая, не оставляющая никакой человеческой надежды сортирная вонь. «Поистине несслыханным здоровьем надо обладать, чтобы ухитриться исторгнуть из себя этакую вонищу и вовремя остановиться», – пронеслось у меня в голове.

– Ну, есть он там или нет его? – снова спросил я, не давая себя провести. – Он там, или нет, скажите?

– Боже праведный. – Отрицать этого было невозможно, и старик Альберт, кашляя и отхаркиваясь, вынужден был прохрипеть согласие.

Глава восьмая

Темная ночь

Пришло махом, ушло прахом. Это все было, разумеется, достаточно забавно, но и что с того? Пригоршня дурного воздуха, негигиеничный мыльный пузырь, тошнотворный газ: все было суета и погоня за ветром. В целом мы достигли немногого, если не считать того, что Ночь вновь объяла нас, даруя покой тем, кто был способен его изведать, и тревогу бессонным. Я все еще никак не мог заснуть. Нашу спальню наверху, почти посередине дома, с западной стороны от мастерской, мы отдали Фредди и его «старика» Альберту С., поскольку там был водопровод. Тигр и я спали в меньшей комнатке, расположенной целиком в западном крыле дома, над Малой Гостиной. Хотя обе комнатки находились на одном и том же чердаке и располагались довольно близко друг от друга, их разделяла каморка примерно в метр шириной, где мы держали краску и малярные принадлежности. Шум и скрип в одном помещении иногда были слышны в другом, но из-за расстояния и разделявших комнатки двух деревянных стен толком ничего разобрать было нельзя. Чем занимались они, Фредди и Альберт, – там, в просторной двуспальной кровати, которую я намертво сколотил из разломанных ящичков из-под стекла и для защиты от жучка пропитал нафтанатом меди (отчего она все еще немного пованивала)? Или, вернее, что делал «старик» Альберт С. со своим – посредством Злата, расчета, глухоты и умения приbedняться – превращенным в жалкого раба принцем Фредди? Что, если он заставил Фредди полностью раздеться и, перед тем, как позволить ему забиться сладким сном под одеялом, ставит и укладывает его сейчас в разнообразные унижительные позы и, задыхаясь и хрипя, тискает его в своей грязной похоти? От одной мысли об этом кровь бросалась мне в голову и, благодаря

изрядному количеству принятого вина, безумно колотилась в висках. От любого треска, любого легкого стука или удара, производимого, несомненно, стулом в их спальне, я судорожно втягивал носом, и дыхание мое учащалось. Не могло же быть... Фредди ведь не станет... не позволит своему тугоухому унижителю и приставале... дойти до крайности... меж золотистых холмиков его Нижних Альп...? Ведь он же не допустит, он же ведь никогда, нет, ни за что, он же ведь никогда не позволит, мой Фредди, мой милый Фредди, чтобы этот «Альберт» – даже в мыслях я заключал его имя в иронические кавычки – своим восковым, гнусным, обросшим слезавшимся седым срамным волосом чайным носиком в его, Фреддину священную, темнорусую, бархатистую, запретную, теплую...? От этой мысли у меня перехватило дыхание, и я подскочил в постели. Мы с Тигром лежали рядом, однако на отдельных односпальных раскладных кроватях. И все же Тигр, хотя уже и засыпал, заметил мое беспокойство.

– Что-то не так?

– Тигр?

– Да?

– Что с нами будет, Тигр?

– Ты сейчас все видишь в черном свете, зверюга. Завтра все будет по-другому.

– Правда?

– Ну конечно.

– Я больше не пишу. Я совершенно не могу больше писать. Я больше никогда не смогу писать.

– Какая чушь, Зверище. Ты и раньше этого боялся. А ведь между первой и второй книгой всегда должен пройти год-другой, когда ты ищешь, пробуешь, и думаешь, что никогда не найдешь. Но стоит лишь начать – и пошло-поехало, верно?

– Я уж не знаю как давно не писал.

– Ты добрых три года ничего не писал. Твоя книга очень хороша, потрясающая книга, и всего год назад вышла.

– Я пью все больше и больше. Может, придумаешь что-нибудь? Я имею в виду весь этот бардак, бутылки, все – опять под замок, ключ – у тебя?

– Да, тоже можно. Если бы ты только перестал пить в одиночку, когда меня нет, и не скрывал бы от меня. Нельзя тебе пить тайком.

– Я мог бы спросить у...

– А?

– Нет, ничего. Я имею в виду...

Из другой комнаты раздался негромкий, но вполне различимый удар.

– Чем они там занимаются, Тигр?

– Не знаю. – В голосе Тигра слышалась заметная усталость.

– Может, тешатся там друг с другом?

– Да, вполне возможно.

– Ты думаешь, Фредди допустит?.. чтобы этот старый паскудник своим гнусным, мерзким бабоебом – ему, в его крепенькую, сладкую... У Фредди ведь такая сладкая, крепенькая попочка, правда?

– Да, вполне.

– Тебе он не кажется таким уж потрясным, а?

– Ну почему же, я думаю, он действительно прелесть, знаешь, – сказал Тигр с заметным напряжением.

– Ты считаешь, что он чересчур изнеженный и очень уж на задок слаб. Ты, в сущности, считаешь, что он давалка.

– Да нет же, вовсе нет.

– Но ведь это же правда, Тигра-зверь? Ведь такого дурачка ничего не стоит приспособить под служаночку, верно? Ну, какой из него мужик? Разве позволил бы он тогда оседлать себя этому тугоухому компостеру? Какой мужик

дал бы этому золотушному старсобесу, этому членистому кактусу к себе в жопу влезть? Уж не ты ли?..

– Да нет, конечно.

– Можно к тебе в постель?

– Ну, давай, – с плохо скрываемой усталостью в голосе сказал Тигр.

– Да, час поздний, Тигр, ночь на дворе, я понимаю. – Не дожидаясь ответа, я вскочил с постели и забрался к нему под одеяло. – Ты не думаешь, что у него вполне для тебя задок, о изысканный, стройный, хищный мужезверь мой? Сначала ты его накажешь. Я хочу отдать его тебе, Тигр. Да, я мямлю, и стелюсь перед ним, и несу всякую хуйню, весь день напролет, и лишь вздыхаю о любви к нему, но только, только оттого, что он – твой, и должен быть твоим, и принадлежит тебе, Тигр. Ведь ты же мужик?

– Ну а как же.

– Я иногда так паршиво с тобой обхожусь, Тигр.

– Да брось ты, вовсе нет.

– Ты его побьешь для меня, или я его для тебя побью?

– Как ты хочешь.

– Нет, Тигр, это как ты хочешь. Ты же хочешь его отхлестать, по этой его прелестной бархатной блядской попке, кнутом?.. Хлыстом? – я принялся возбуждать себя.

– Да, хлыстом, зверюга. По попке.

– Хлыстом? Или ремнем? Или ротангом для мальчиков?

– Что твоей душе милее.

– Нет, что твоей, Тигр. Ивовым прутом, а? Ты же у нас природолюб. Не слишком длинным и не слишком коротким; гибким, таким, чтобы в воздухе свистел.

– Да, прутом, зверь, ивовым прутом.

– По тугим штанишкам, или сразу – по голой русской попке? Сначала через штаны, и только потом – по голеньким блядским ягодичкам? Сдерем с него штаны, или сам пускай их стягивает?

– Пускай сам свои штаны спускает, зверь.

– Я возьму у тебя прут, Тигр, когда ты устанешь. – Свободной рукой я ощущивал область его юношественности. – А ты не хочешь позволить чуду свершиться?

– Зверь, я очень устал.

– Ну, хорошо. Нравится тебе, что я отдаю тебе мальчиков? Ты не застесняешься, если я тебе мальчика приведу? Не будешь смущаться, если я обнажу его для тебя и стану укрощать его для тебя, и отдам его тебе? Ты будешь исполнять с ним свои желания, долго, сколь захочешь? Хочешь быть с ним наедине, или мне побыть с тобой, и держать его и мучить, пока он под тобой, зажатый меж твоих ног, наездник... наездник мой...

– Нет, я хочу, чтобы ты тоже.

– Это правда, Тигр? Ты в самом деле этого хочешь?

– Ну конечно, хочу. Я больше всего этого хочу, зверь: чтобы ты был рядом. – Тигр поцеловал меня.

– Господин и повелитель. Мужчина. Послушай, Тигр. Когда я встретил тебя в первый раз, помнишь?

– Да, помню. – Тигр смутился и забеспокоился.

– Тебя мне тогда предсказали и предопределили звезды. Ты пришел ко мне 15 декабря 1963 года. Я смотрел на тебя – как ты сидел, как стоял в той комнатке, на Эрсте Розендварсстраат, – какой там был номер у этой дыры?

– Не помню.

– Ты пришел, Тигр, и заговорил, заговорил... Я подумал – ведь вот пидор. Я подумал: как бы мне этого педрилу за дверь выставить?

– Ты так думал?

– Ага. Ты не знал, куда тебе руки-ноги девать. Но я все время глядел на твой рот, ты знаешь, Тигр? И на кисти рук. И туда, между ног. Я считал, что ты пидор, знаешь. И все же подумал: Боже праведный, почему я теряю от него голу? Вот что я подумал. И тогда, Тигр, я тебя поцеловал.

Ты считаешь, это мерзко, что я тебе рассказываю? Ты же не считаешь, что это мерзко? – В тот момент я забыл, что рассказывал ему об этом уже раз двадцать. Любовь всякий раз неповторима.

– Нет, вовсе нет, зверь.

– Я поцеловал тебя. Ты совсем не умел целоваться, Тигр. Ты отпрянул, чего-то там повалил. И тогда я подумал: «Пускай остается. Я не против», – быстро прибавил я. Мы некоторое время молчали, и я на время прекратил возбуждать себя. – На тебе были жуткие штаны, – задумчиво продолжил я. – Ты вообще был тогда одет во что-то жуткое.

– Да, я знаю, – сказал Тигр, торопливо отводя взгляд.

– Брюки в паху были широковаты, – кратко подытожил я. – Но когда я заключил тебя в объятия – это же хорошо, это так называется, ведь так говорят, нет?..

– Да, так хорошо.

– Тогда... я внезапно ощутил телом твою мощную турецкую саблю, Тигр, бесстыдный, звероподобный невинный Единорог мой. «Я думаю, что люблю тебя, Тигр» было уже готово сорваться с моих губ, но я не сказал этого. И я подумал, Тигр, – продолжал я, – я подумал: «Это – мужчина для меня, этот, с видом застенчивого Мальчика, скверно одетый, и я стану давать ему мальчишек и мужчин, чтобы он насаживал их на своей любострастный средизимний рог». Вот что я подумал, Тигр.

Я вновь ощущал таинство Тигра, теперь уже круто вздыбившееся.

– Сначала думаешь – ай, да что там, это же пехота, а тут, видишь ты, артиллерия. Может, брызнешь в меня, а я тебя потискаю и поласкаю?

– Это было бы потрясающе, но уж очень я устал.

– Завтра?

– Да, хорошо.

– Послушай, Тигр. Ты завтра пойдешь в Летний Дворец?

– Да, я собирался туда завтра к полудню. Там еще луковицы остались.

– Не мог бы ты захватить с собой Фредди? Ну там, помочь тебе, не знаю. В твое ателье? Рукава засучить... и там... дать ему заметить, что кое-кто тебе очень нравится, и что ты – мужчина... Ну, например, ты ему скажешь, что я тебя не понимаю, что я всегда так груб и равнодушен с тобой, и что ты, в сущности, считаешь, что я уже довольно стар, и что ты хотел бы поговорить с ним, только с ним, и что это так замечательно, что вы оба наконец вместе, оба униженные Златом, связанные жребием, вы вдвоем, как бы это сказать, что называется... А потом поцелуй его, для начала, очень возвышенно, как братишку... Начнешь нежно-нежно... Сделаешь это, завтра?

– Да, если получится... я хочу сказать... на мой взгляд, не такой уж он офигительный...

– Да ведь это же и не обязательно? Неужели же на мой взгляд он такой уж офигительный, этот глупенький раз-ади-ка-ло-нен-ный голубок, с этой его сладкой девчоночьей мордашкой и бархатными кукольными одежками? Но у него мальчишеский задок – ведь не для ржи и праха сотворил его Господь, верно? А ведь ты-то – мужик? Ты думаешь, зачем я его к нам затащил? Чтобы нажираться тут, что ли, или для того, чтобы тут все на стенку лезли от свербежа, и больше ничего? Ты видел его задницу, Тигр? Его седло – оно же просто для твоих членов сотворено, такое крутое, дерзкое, блядское, прямо само напрашивается... Послушай... Не говори, что ты на самом деле думаешь или чувствуешь, пизда ты моя Троянская... Нет, для начала подлижись к нему, подластись. Ну не дурак же ты, в самом деле? Знаешь, что ему хочется услышать. Он красив, красив, красив: и так хорош, и эдак пригож, бесконечно красив – вот с чего начни – и такой молоденький! Тебя это опьяняет,

и так далее. И совсем как мальчик, и в то же время такой мужественный – вот, я и забыл – ты видишь в нем настоящего мужчину, – это работает, знаешь ли, ну и всякое такое, поканючь чего-нибудь, в общем, разливайся соловьем. Сможешь запомнить? А заметишь, что клюет – притворись, что хочешь поиграть в девчонку, потрись у него между ног своим хорошеньким мужским задком; в крайнем случае, если заметишь, что ему хочется сыграть мужика, растянешься перед ним с подушкой под поясницей, но только ничего такого не позволяй, помни о...

– Ай, перестань. – Я схватил Тигра за руку и завернул ее ему за спину.

– Ты же никому никогда... а? в себя?

– Нет, никогда.

– Уверен?

– Да. Ай!

– Что «да»? Уверен?

– Что я никогда никого в себя не пускаю. Никого, никогда, зверь. Я твой.

Я выпустил руку Тигра, прильнул к нему и снова принялся орудовать своей Штуковиной.

– Вот как ты должен действовать, сластолюбивый мой Тигра-зверь. Входную дверь оставишь наполовину открытой – там, в Летнем Дворце. Ее нам отсюда будет видно. Если старик это заметит, ему ничего такого в голову не придет. Но дверь тебе надо будет загородить – ведрами, граблями, всяким таким, газонокосилку поставь, ведро с грязной водой – так, что если глухарь его опрокинет, сможешь от души его послать. И дверь в комнатушку тоже, в точности так же: оставь полуоткрытой, но так, чтобы особо было не пройти из-за хлама в дверях – или лучше сказать, за ними. Все открыто, но никто ничего не сможет рассмотреть, и войти никто не сможет – столько там всего навалено. А тем временем ты наверху, на маленьком

чердаке, в приятном тепле уютного батрацкого приюта лелеешь пыл жестокой, похотливой любви – любви солдата и мужчины. Если тебе не нравится его мордашка – просто закрой глаза, вцепись в него и дай ему потрогать твой Клинок, зверь. И думай о... о Сьорсе, я имею в виду Сьорса В., или о Сьюрде, Сьюрд Н., с этой его крупной, милой юношеской задницей, и о том немчике, блядовит он был малость, немчик этот, на старом черном Фольксвагене, в своих коротких черных бархатных походных штанишках, в машине, из Вупперталя вроде, в таких еще не то лыжных, не то горных высоких башмаках на волосатых ножницах – воображал, что он – настоящий мужик... Милый... милый... Ты меня любишь?

– Да, я люблю тебя, зверь.

– Очень? Как сильно?

– Ужасно сильно, зверь.

– Всегда?

– Да, всегда.

– Ты пойдешь завтра в Летний Дворец?

– Да, я пойду завтра в Летний Дворец.

– Помнишь, что ты должен сделать. Послушай... Помнишь, там во внутреннем дворике лежит метла.

– Метла...

– Ну, прутья же. Мы тогда обрезали ивы, но я тогда не все ветки сжег.

– Не все. Ах, да!

– Тогда у меня не все в порядке с головой было, помнишь, в то время, когда я все хотел делать своими руками. И вот тогда я смастерил эту метлу на длинном черенке, пышную, из ивовых прутьев. Она все еще там лежит. В углу. У первого розового куста. Возле деревянного фасада соседского сарайчика, на котором сетка для вьюнков. Деревянный фасад, из планок сбитый, на него еще проволочная сеть натянута, его прямо отсюда видать. Если ты будешь

там с ним, и он послужит тебе и разденется перед тобой, и ты сделаешь с ним то, что хочешь, солдат мой, то подними эту метлу, черенком вниз, закрепи ее за сетку фасада, так, чтобы мы здесь видели. Сделаешь? Потискай мне мешочек.

– Да, хорошо.

– Сделаешь? Обещаешь?

– Да, сделаю.

– Знаешь... что ты еще... еще можешь сделать, Тигр?

– Нет, а что?

– Если ты сделаешь с ним... это дело... если ты его... возьмешь... О боже, мужчина мой... попроси его тогда, чтобы он сразу не одевался. Он такой красивый, ты хочешь нарисовать его, изваять, хочешь увековечить его прекрасное мальчишеское тело в глине, ну, не знаю. Спроси его, не хочет ли он еще немного полежать голым. А сам быстро оденься, выйди во двор и просунь мою метлу в эту проволочную сетку. И, Тигр, вытяни из нее самый длинный прут. Они еще гибкие, эти ветки. Там желоб протекает, в углу, и пара прутьев опять пустила листья... Вытащи самый длинный, и вернись в комнату, и запишись на все замки, и подойди к этому красивому голому юному зверю, с прутом в руке... На тебе сапоги, безжалостный мой рекрут... и ты хлещешь его, и длинный гибкий ивовый прут свистит в воздухе, Тигр; и я вижу знак, я вижу стоящую у стены метлу, и я иду к тебе, и тоже вытягиваю из метлы прут, самый длинный, самый гибкий, уже покрытый мелкими зелеными листочками, и ты слышишь, как я подхожу к дому, а я слышу в доме дуэт его меццо-сопрано с ивовым прутом, и я называю у дверей пароль... и ты впускаешь меня, и я целую тебя, и трепещу, и ты вновь запираешь за мной двери, и гоняешь его хлыстом, голого, этого мелкого проблядка, и он пытается ускользнуть от тебя ко мне, а я, хлеща, отгоняю его назад к тебе... Он кричит... кричит...

Юношеская кровь струится по его ногам... Ты заставляешь его вопить еще громче, и хлещешь все сильнее, по его светлой попке, заставляешь его петь и плясать... этого маленького шлюхача... эту блядь... Тигр, Тигр... ты правда меня любишь?

Чудо вновь явилось мне, мои содрогания утихли, и вновь я уставился мимо Тигра, в пустоту.

– Да, зверь. Я в самом деле тебя люблю.

Я лежал неподвижно. Надо мной, в незашторенном чердачном оконце по освещенному узким лунным серпиком небу, полному бездонных пропастей и грозowych туч, проносилась моя безысходная жизнь.

– Спокойной ночи, Тигр.

– Спокойной ночи, зверь.

Еще в течение долгих часов я буду лежать без сна, уставясь вверх. Почему я не ответил ему тем же: «Я тоже люблю тебя, Тигр»? Этого я не знал, и никогда не узнаю.

Глава девятая

Милые мальчики

Я почти не спал. Где-то за полчаса до первых признаков рассвета я ненадолго провалился в полудрему, из которой, словно толчком, был вырван вновь, без видимой причины. День еще не наступил, но за чердачным окном уже начало светать. Мои ворочанья с боку на бок и бессонные вздохи могли бы разбудить Тигра; кроме того, я ощущал себя еще более распаленным, еще более снедаемым похотью, еще более влюбленным в Любовь, как никогда дотеле, и, насколько я знал, останься я лежать в постели, я неизбежно принялся бы щупать и тискать Тигра и досаждал бы ему бог весть какими еще оральными излияниями. Я встал, прихватив одежду и туфли, спустился вниз, в Малую Гостиную, и там оделся – чересчур легко для улицы, как я заметил потом, когда, небрежно утеревшись и не вполне обсохнув после умывания, вышел на прохладный утренний ветерок. Уже совсем рассвело, небо почти полностью посветлело, и солнце слева от деревни В. готовилось начать свое величественное восхождение над горизонтом, окрашивая небо светом совершенно неправдоподобной зари, казавшейся скорее заходом солнца с картины или репродукции некоей испещренной лужицами цветущей вересковой пустоши – нижние кромки облаков с удлиненными, относительно прямоугольными горизонтальными пятнами, тронутыми почти бесцветной сиреневизной, за которыми с изумительной соразмерностью веером распускалась рембрандтова корона лучей, точно наливающаяся сиянием декорация на сцене некоего евангелизационного зальчика. От этого было просто невозможно отвести глаз, какого бы циника ты из себя не строил. Наша деревушка Г. еще спала. На мостовой, у развилки дороги и маленькой аллеи, ведущей к нашему дому, я опустился на

колени, обратив лицо к увертюре неотвратимого нового дня, который вновь сделает нас свидетелями многих чудес и благостей Господних. Я дрожал, поскольку теперь уже основательно промерз, но отказался от мысли вернуться в дом и накинуть что-нибудь поверх моей тонкой хлопчатобумажной рубахи. В сущности, мне хотелось встать на оба колена, но я не мог себя заставить, так же как не осмеливался убеждать себя в том, что в деревне все еще спят и никто не успеет заметить меня до того, как как я поднимусь.

«Послушай – а что, если Ты просто дашь мне понять, чего именно Ты желаешь?» – пробормотал я. – «Я стою, коленопреклоненный, словно на триптихе Яна Ван Эйка или Мемлинка¹, или кого там из них еще. На недостаток культуры не жалуемся. Я хочу сказать, я не делаю ничего особенного. Моя ли в том вина? Я стою здесь, преклонив колени, в мертвой тишине, и ни единой души вокруг, и ни звука, ведь правда? Черт возьми, нельзя же сказать, что я самого себя продрых – или все-таки да? Вот что я имею в виду. Послушай, если Ты что-то имеешь сейчас, я хочу сказать, если Тебе сейчас от меня что-то нужно, или Ты, так сказать, хочешь поведать мне что-то, то я – весь внимание, и послушание, и повиновение, ведь это так называется?» Верхний край солнца, коснувшись наконец зонтика, поднялся над ним, и корону лучей сменил гладкий, лимонно-желтый, переходящий в светло-оранжевое холст. Я встал и зашагал в направлении деревни В., к Летнему Дворцу. В моей связке не оказалось ключа, который – как я теперь вспомнил – давно уже был отдан соседям на тот случай, если им понадобится что-то занести или забрать оттуда. В садик перед домом или позади него я, в сущности,

¹ Ян ван Эйк (1390 – 1441), Ханс Мемлинк (1430/40? – 1494) – нидерландские художники, т.н. фламандские примитивисты.

попасть мог – но не в сам домик, не говоря уже об окруженном стеной внутреннем дворике – в прошлом конюшне, с которой мы сняли крышу – в него можно было проникнуть только из самого домишки. По двум боковым веткам я забрался на росшую у канавы иву и заглянул через невысокую, едва ли в человеческий рост, стену. Во дворике стояло несколько не то ящиков, не то коробок с приготовленными для высадки клубнями или луковицами, и ветер гонял длинный кусок целлофана по небольшому пространству, которое, ввиду его неудачного расположения, невзирая на окружающие стены, было скорее отдано на волю ветра, нежели защищено от него, так что, в сущности, мы никогда, кроме как в моменты полного безветрия, не могли посидеть там в свое удовольствие. Через стену мне удалось разглядеть стоявший там в углу под протекающим желобом веник или метлу, которую я смастерил как-то в припадке хозяйственности, хотя ей, понятно, никто никогда не пользовался. Реквизиты для некоей весьма сложной – или, вполне возможно, как раз весьма примитивной – человеческой драмы были готовы – по крайней мере, что касалось меня. «Там, где все в твоих руках, можешь сам разобраться, не правда ли? – подумал я. – Остальное – уж как повезет». Совершенной ясности в том, что я хотел этим сказать, у меня не было. Солнце уже совсем взошло, но не давало пока ощутимого тепла; все еще сильный ночной ветер поддувал мне в спину на моем пути назад, к Дому «Трава» и, пробираясь под брюки к моему «бомбардону», доводил до окоченения мою Заветную Штучку. «Ах, хочешь Ты, не хочешь... – пробормотал я. – В сущности – давай уж будем до конца откровенны, – в сущности, мне это до лампочки. Не хочу показаться неучтивым, но никогда не получается так, как Ты хочешь, а всегда сводится к трепотне и бреду собачьему, правда ведь? Ну и что с того?»

Я вернулся в Дом «Трава» и уселся там перед лицом новоявленного, только что расцветшего дня, задолго до остальных, которых было нельзя будить. Я обрыскал весь нижний этаж в надежде на то, что Фредди, хотя бы частично раздевшись там, повесил или бросил что-нибудь из своих вещей, но мне не подалось ничего; лишь на вешалке я обнаружил дурацкую светло-коричневую кожаную кепку, сшитую из четырех секторов, с кнопочкой по середине, с коротким, легоньким козырьком. Купленная явно впопыхах, всего лишь несколько дней назад, прямо перед их отъездом к нам, после какой-нибудь ссоры или сцены ревности, в том или ином дорогом модном магазине, где на стеклянных подставках найдешь лишь две-три вещицы, – и чуть ли не со слезами на глазах оплаченная трясушимся старым похотливцем, усыпавшим пол карманной мелочью, она не хранила его запаха, даже после того, как я тщательно обогрел ее своим дыханием. Ее можно было бы аккуратнейшим образом разнять на лоскутки, эту кепку, на четыре кожаные треугольника, и, например, наиприличествующим образом обрядить в них Фредди, когда он, нагой, восстанет из своей блядской постельки: два треугольничка – для трусов: один на его срам, второй – назад, на русую продажную попку, два других – для позорнейшего бюстгальтера для мальчиков; а козырек кепки прикрепить к трусикам, спереди или сзади, без разницы, – так что приподнял его и видно, кто там дома. Шнурки же для трусиков и мальчикового лифчика должны быть тоненькими, почти незаметными, крепкими, как скрипичные струны, и пронзительно впииваться в его мальчишеские бедра и пах и подрумяненную солнцем мальчишескую спину. О да, а эти глупые толстенные железячки и обтянутая кожей кнопочка в центре кепки – их куда девать? Ах, да засунем куда-нибудь: кто ищет, тот найдет.

Стоя в коридоре под лестницей, ведущей в комнату и к постели Фредди и Альберта, я ткнулся в кепку своим восстановившим в результате всех этих фантазий мужерогом, но это ни к чему не привело и не вызвало у меня сколько-нибудь интересных ощущений, поскольку кепка не была ни носком, ни брюками, ни ботинком, ни рубашкой или свитерком с узким воротничком – словом, ничем охватным, что когда-либо обнимало часть его золотистого тела, но обладала всего лишь бестолковым отверстием, каким только и могла обладать такая бестолковая кепка.

Я долго сидел у окна и глядел на улицу, где длинные тени раннего утреннего солнца навевали мысли о вечере, и чувствовал уже такую усталость, что начал серьезно подумывать о возвращении в постель – но уснуть бы я все равно не смог. Я по-прежнему сидел и ждал – но чего? С неким ожесточением и стыдом я думал о греховной и унижительной сцене коленопреклонения на рассвете, и о том, как я – если мне удастся преодолеть позор и омерзение – вставлю эту сцену в книгу и смогу заработать на ней еще больше; и как всяческие недовольные типчики, ничего не ведая о моем стыде и отвращении, которое мне пришлось перебороть, в своих критических обзорах начнут протестовать против того, что такие, по их мнению, ханжеские, нечестивые измышления я обратил в совершенно ложную картину и сорвал на этом куш; и что уж лучше было бы мне при описании этой в высшей степени бесчестной религиозной сцены предвосхитить возражения всех этих шептунов, чтобы таким образом, так сказать, упредить их на шаг, пусть даже ничего с того не поймев, поскольку победишь ты или проиграешь в жизни, все в ней – печаль и потери, и смерть, как я уже не раз доказывал на бумаге. Что я, в сущности, хотел этим сказать? И в этом у меня полной ясности не было. Но самым постыдным я считал свой поход по утреннему холодку в Летний Дворец, и бессмысленным, хотя и

на полном серьезе – то, что я заглядывал, да еще с дерева, втащив на него свое больное, усталое тело, – через стену, в недостижимый для меня внутренний дворик, – на этот ве-ник, которым никто никогда ничего не подметал. Это была, что называется, жизнь как таковая: у тебя не было ключа, и внутрь было не попасть, и ты сидел под дверью, а потом свалился в сточную канаву, и, в конце концов, тебя смели, стоял ты на коленях посреди улицы или не стоял, и, кто знает, за те же деньги можно было бы с тем же ус-пехом остаться на ногах: Бога нет, он просто делает вид, что существует. Но вот уже настало время идти и готовить согревающий, крепкий и ароматный кофе, поскольку не-далек был тот час, когда пробудятся наши гости там, на втором этаже, и все пойдет своим чередом. Я принес Тиг-ру в постель исходящую паром кружку – приняв с благо-дарностью, Тигр, конечно же, оставит кофе остывать на полу в изголовье постели и снова заснет; потом я опять поднялся из кухни наверх, чтобы принести кофе нашим гостям – не из чистосердечного гостеприимства, но по причине презренного, недостойного любопытства. Они лежали в постели именно так, как я это себе представлял: «старик», разумеется, спереди, а маленький темнорусый сонный принц – у стены, и через облаченный в желтую с цветочками, смахивающую на фартук пижамную куртку беловатый торс «старика» до него было не дотянуться – если только от изножья, поскольку там еще оставалось пространство между кроватью и стеной.

Я поставил чашки с кофе куда-то на пол, подкрался к ногам кровати и, осторожно приподняв нижний край оде-яла, заголил Фредди. То, что я проделал, мне самому пред-ставлялось нечистым, непристойным, дурным и греш-ным – я всегда считал, что на такие вещи могут быть спо-собны только жопники, когда они напаивают мальчишку, чтобы воспользоваться его беспамятством, или вдвоем,

втроем подглядывают за ним, ничего не подозревающим, в потайную щелку в ванной, или тешат с ним, сонным, свою противоестественную похоть. Я делал грязное дело. Вытащив из-под матраца конец одеяла, я по возможности осторожно и незаметно отогнул его к середине постели. Фредди лежал на боку, повернувшись к стене, руки у лица – точь-в-точь белочка, оставившая свой орех и даже во сне прижимающая к мордочке поджатые лапки грызунишки. Он лежал, чуть подтянув колени, все еще погруженный в глубокий сон или полудрему – или весьма естественно притворялся спящим. Сверху на нем ничего не было, но чресла его прикрывали ярко-красные нейлоновые мальчишеские трусики, чуть не доходившие до начала его светлой юношеской расщелины, и мне – чтобы тут же на месте не лишиться рассудка – пришлось коснуться его в этом месте. Я знал, что и это было нечистым, по крайней мере, по отношению к спящему. Кончиками пальцев я дотронулся до русости этого выезда из его ложины, и по коже его спины пробежала легкая дрожь, точно от прикосновения мушинных лапок. Как же мне было скверно. Тут «старик» Альберт проснулся, спохватился, вновь живо набросил одеяло на моего скованного золотой цепью светлого принца, короля Грезу, и довольно резко объявил мне, что они «незамедлительно спускаются вниз». Он видел мое обнаженное сердце, мое унижение, «старик», и в сущности, должен был теперь умереть, но никаких сомнений: пусть глохнущий – и меня, и Тигра, и даже беззащитного соню Фредди, которому приходилось покорствовать его смрадной похоти, – он всех нас надолго переживет.

Они почти одновременно появились внизу – «старик» Альберт чуть раньше, чем его поруганный юный узник, но не настолько, чтобы для меня имело смысл вновь прокрадываться вверх в поисках моего принчика, поскольку где бы ни находился Фредди, где бы он ни был, «старик»

никогда не оставлял его одного дольше чем на несколько бесполезных минут. На «старике» Альберте был все тот же, что и вчера, довольно дорогой, молодежного покроя и посему выглядевший стариковатым клетчатый прогулочный костюм, однако Фредди полностью сменил гардероб – свежая и благоухающая, точно орхидея из дорогой стеклянной шкатулки, одежда естественно облекала его гибкое юношеское тело. Сегодня, разнообразия ради, на нем были каштанового цвета, не вельветовые, а бархатные брюки – надо признать, превосходно сидевшие на его попке – узкие в коленях, они расширялись к лодыжкам и заканчивались над дорогими замшевыми серыми туфлями с полуввысокими каблуками, что опережало моду, уже приобретавшую популярность, но все еще считавшуюся рискованной. Его тело пугливого фавна облекала белая шелковая рубашка шикарного рабочего покроя, воротник которой был с утонченной небрежностью распахнут чуть шире, чем надо; рукава же оканчивались выпуклыми, застегнутыми на красные стеклянные запонки манжетами.

И снова начались мои метания и похотливые домогательства. Я прочту Фредди какой-нибудь стишок, или покажу ему картинку или иллюстрацию из какой-нибудь красивой книжки и, скажем, завлеку его в Малую Гостиную, или буду канючить, как плаксивый младенец, чтобы он вышел из Большой Столовой – всего лишь для того, чтобы пощупать его между ног, точно какой-нибудь директор в припадке второй молодости свою короткоюбую секретуточку, – быстрым движением вверх из бархатного межножья до бархатных юношеских округлостей и теплых между ними бездонных глубин, все с быстротой молнии, пока вновь не нарастет, приближаясь, скрипучий звук дверей. «Чем ты занимался этой ночью, зверь? Что вы с ним делаете? Расскажи мне. Я никому не разболтаю». – «Нет, Герард, не скажу». И вновь голова у меня закружилась – отчего на сей

раз? – от вида ли уголков его губ, что улыбались, отвечая мне, от загадки ли его голоса, который, выговаривая слоги моего имени, дрожал и колебался в воздухе и все же оставался недвижим – сказать этого не мог бы никто.

– Можно мне, Фредди, издали, я даже не прикоснусь к тебе, мне бы только тебя видеть, я потормошу себя, боже праведный, Фредди, и слова-то с ходу верного не найдешь. Отыскать бы где-нибудь на улице местечко, я в уголку, в кладовке, за окошком, ну, не знаю, а ты еще где-нибудь, мне бы только тебя видеть... Я тебе... я тебе... хоть немного симпатичен?

– Да, конечно, ты мне очень даже симпатичен, Герард.

– Пойдем на улицу...

Стояло почти полное безветрие, когда мы вышли из дому, от солнца уже исходило очень приятное тепло, и все благоухало, как в погожее Пасхальное воскресенье. «Вот, смотри, я буду в сарае, а ты здесь вытягивай гвозди. У меня где-то здесь клещи и гвоздодер. Я тут ящики разбиваю». Я изложил ему задачу, которая его весьма позабавила, поскольку, определенно, это была совершенно иная манера поклонения и ухаживания по сравнению с сотнями ухищрений, к которым наверняка прибегали мальчики и мужчины, певшие ему дифирамбы и волочившиеся за ним. Такая в большинстве случаев многотрудная Любовь вдруг обернулась немудрящей: на земле, перед пристроенным к Дому «Трава» сараем с двустворчатой дверью, где прежние жильцы, скорее всего, держали кроличьи клетки, ему нужно было делать вид, что он разбивает на цельные доски нечто вроде дощатого настила, бывшего прежде стенкой объемистого ящика для упаковки витринных стекол, – то есть разными инструментами вытаскивать плоские гвозди, обстукивать и затем за головки вытягивать гвоздодером из древесины. Я бы спрятался за полуприкрытой створкой сарая и наблюдал бы за ним через маленькое

квадратное пыльное оконце. Он колотил и вытягивал гвозди с великим усердием, сидя на корточках в такой позе, что мне были ясно видны его попка и колени и, прежде всего, частью неприкрытая коротенькой роскошной рубашкой юная спина. Я возбуждал себя, сопя, облепленный паутиной, но уже слышал, как открывается входная дверь дома и «старик» шлепает наружу. Я вновь привел в порядок одежду и принялся шарить по полу за приоткрытой дверью сарая в поисках какого-то несуществующего орудия.

– Чем занимаетесь?

– Ну, Фредди мне немножко помогает разобрать перегородки.

Старик остался стоять, не уходил. «Попадись ты когда-нибудь в руки Божьи, парень, – подумал я. – Я тогда уж точно ни за что не поручусь». Меня опять осенила совершенно новая идея – ведь любовь изобретательна и просто так не сдается.

– Что-то холодно тут, малыш, – сказал я Фредди. – Там, на камнях, у дверей, мы могли бы работать на солнышке. Пойдем». Я отчетливо хлопнул дверью сарая и направился к дверям дома, прихватив инструменты и перегородки, которые требовалось разобрать. – Спроси-ка у Тигра, как там насчет кофейку, – елеинным тоном обратился я к «старикуну». Тот и в самом деле вернулся в дом, хотя и явно ненадолго. – Побудь тут, Фредди, – взмолился я. – Побудешь немного? Я из чердачного окошка погляжу. Держись как можно ближе к изгороди, тогда ты будешь у меня как на ладони. Нагнись хорошенечко, так, чтобы у меня слюнки закапали. Да, вот так. Хоть и солнце, а прохладно.

Я вихрем метнулся во входную дверь, схватил с вешалки кожаную кепку, любовно нахлобучил ее на его юношескую макушку, вернулся в дом, забрался наверх по лестнице и неслышно опустил люк в чердачном полу. На что бы

мне такое встать? На стуле будет слишком низко. Я подтащил к окну старый матросский сундук, с которым не раз ездил в Англию, поставил его на попа и неловко забрался на него. Сундук шатался и потрескивал у меня под ногами, но я распределил свой вес по двум противоположным углам, и мой трон любви перестал качаться. Приподняв щечколку чердачного окошка, я приоткрыл его на две дырочки, так что между нижней кромкой окна и пазом образовалась смотровая щель, не более чем средних размеров прицел, в котором, безусловно, мое лицо с улицы мог заметить только посвященный. Фредди уже прилежно принялся за свою мнимую работу. Из всех имевшихся у него под рукой инструментов он избрал самый бесполезный, а именно – старые тупые кусачки, пытаться которыми извлекать кончики глубоко ушедших в древесину рамочных гвоздей было гиблым делом; как дополнение к этой задуманной из добрых побуждений пантомиме, весьма смахивающей на разыгрываемый группой молодых рабочих спектакль под названием «построение социализма», он для разнообразия более-менее ритмично обстукивал всю строптивную конструкцию. Я расстегнул и спустил брюки, и теперь мне приходилось следить за своими скованными добровольными оковами любви лодыжками, чтобы не потерять равновесия, которое я вряд ли сумел бы вовремя восстановить. Я изо всех сил старался использовать драгоценные минуты. Впившись глазами в чуть оголившуюся спину Фредди, я переводил взгляд с его спины на члены, и затем вновь наверх, на шейку и отчетливо вырисовывавшиеся под шикарной рубахой юношественные лопатки. Где-то распахнулась дверь, и, конечно же, на улице вновь показался «старик». Он внимательно, даже очень внимательно огляделся. Что-то было не так, но он не мог сообщить, что именно. Где же я? Старик потащился к сараю, но меня не было видно ни внутри, ни поблизости. Он

бросил взгляд через плечо, на глухую стену соседского хлева. Даже на меня он посмотрел, и я – чердачное окно и все такое – оказался в поле его зрения, хотя он меня и не заметил. Он что-то спросил у Фредди. «Полагаю, что Герард ушел писать письма», – как мне послышалось, ответил тот. «Старик» опять – надолго ли? – ушаркал в дом, и, отсчитывая от моего старта в небесные кущи, оставалось мне недолго. Фредди колотил клещами по дереву бессмысленно, но весьма правдоподобно, совершенно более не пытаюсь делать вид, что в самом деле старается что-то от чего-то отделить. «Лупишь, как девка, – пробормотал я про себя. – Не знаешь, как мужик лупит? Это ты... очень скоро узнаешь, как мужик лупит... лупит тебя... по твоей маленькой... хорошенькой... бархатной... по твоей... твоей...» – земная тяжесть на мгновение отпустила меня в неизмеримо высокий, но безмерно краткий полет, после чего я вновь сделался простым смертным.

– Тысяча благодарностей, Фредди! – нахально крикнул я, упершись подбородком в раму, и, немного выставив голову из-под карниза крыши, свесился вниз из окна, но торпливо юркнул назад, поскольку «старик» уже в третий раз появился на улице и таскался кругом и вынюхивал, на этот раз еще основательнее, и я беззвучно прикрыл окошко до того как он, возобновляя слежку, уцепится взглядом теперь и за крышу.

Да, вот так это все и было, вспоминал я, все еще лежа в постели и всматриваясь в полуденное небо. На свои удачи долго потом оглядываешься.

После позднего, по моим понятиям, завтрака мы, все четверо, уселись посовещаться, чем бы нам заполнить этот день.

– Тебе, Тигр, еще нужно клубни и луковки посадить возле Летнего Дворца, в патио, правда же? – *Патио*, именно так мы называли этот сквознячный внутрениий

дворик. – Сейчас распогодилось, прогревает. При любом раскладе у тебя есть час-полтора, пока не ползет.

– Да, я вот прямо сейчас и отправлюсь, – поддакнул Тигр.

– Спроси Фредди, может, он пойдет, поможет тебе немного, – игриво предложил я. – Видишь ли, – продолжил я, обращаясь к «старика» Альберту, – я постепенно теряю голову от Фредди. Он не виноват, я должен держаться, но мне кажется, ничего страшного не случится, если он на пару часов удалится с поля.

– По мне, так отлично, – сказал Тигр. Помнит ли он еще о нашем ночном разговоре? Тигр отправился на чердак или на кухню в поисках каких-то садовых инструментов или кожаных садовых рукавиц.

– Знаешь, по крайней мере одно тут хорошо, – тут же решительно сообщил я «старому» Альберту С. – У этих двух малышей совершенно не стоит друг на друга, да, иначе не скажешь. Я этого, впрочем, понять не могу, – разливался я. – То есть, мне самому такого не понять, как можно смотреть на Фредди, находиться рядом с ним и не сбиваться с дыхания, и не заболеть от любви. Но Тигру от него ни жарко, ни холодно, ты понимаешь, как такое возможно? Для меня Фредди – ну да, все что хочешь, но Тигру он хоть бы хны, хоть бы хны! Тебя же не ранит, твою юношескую красоту и мужскую гордость не задевают такие слова? – засюсюкал я, как последний пидор.

– Да нет, что ты, – с широкой юношеской улыбкой ответил Фредди.

– Он мне сказал, – обратился я теперь к старику, заслышав, что Тигр вновь спускается по лестнице, и торопясь досказать, – он очень хорошенький мальчик и все такое, очень славный, не беспокойся, – сказал он мне, Тигр, стало быть, – но в этом смысле – нет, он мне не того, Фредди. – Ну, вот и славно, – подумал я тогда. – Довольно

любовных драм. Они там немного поработают, а мы тут спокойно побеседуем об искусстве, о чем-нибудь этаким. И что нас обоих касается – тут тоже комар носу не подточит, поскольку мы с тобой уже не в том возрасте, в котором можно говорить о телесных искушениях. – При этих последних словах я поежился, совсем как утром от холода, и понадеялся лишь на то, что «старик» этого не заметил.

Вот таким образом все и вышло. Как получилось, что «старик» с миром отпустил их в Летний Дворец – своего Фредди и моего Тигра, или моего Фредди и моего Тигра, или моего Тигра с его Фредди? Было ли то, что я ему наплел, столь прозрачно, что оттого вновь сделалось туманным? Навсегда, видимо, останется загадкой, почему он все это одобрил и не стал возражать против того, чтобы они отправились туда вместе, да еще и на машине – хотя до места была какая-то сотня метров – под предлогом того, что было «слишком холодно».

С их отбытия прошло полчаса, три четверти часа, час, и старина Альберт, как ни старался я, выбиваясь из сил, сократить для него время безумолчной болтовней, становился все беспокойнее.

– Что он там вообще собирался делать?

– Да просто Тигру помочь немножко.

– Чем помочь? – каркнул «старик».

– Ну, что он попросит, – почти пропел я с оправдывающейся, двусмысленной усмешкой. – Господи Иисусе, да ты мнителен! Ведь знаешь, что между мальчиками ничего нет, потому что они... ну да, потому что они просто не тот тип друг для друга, и тем не менее ты бесишься и злишься на всех и каждого, на весь божий свет злишься. Так ты ни одного мальчика не удержишь, Альберт, попомни мои слова. Есть у тебя дружок – ну, мальчику ведь тоже нужно как-то развиваться, у него же тоже должна быть

какая-то частная жизнь? А так ты и себя, и его до ручки доведешь. Таким образом, ни у кого из вас никакой жизни нет.

«Старик» и в самом деле уже вполне довел себя до ручки. Прошло уже полтора часа, и он в своих войлочных тапках вышаркал на улицу, потащился на западный конец нашей аллеики и усталился в направлении Летнего Дворца. Расстояние было слишком далеко, чтобы можно было невооруженным глазом рассмотреть какие-либо детали. Была видна стоявшая во дворе машина, но дальше фасад сливался в ровную, гладкую поверхность, окна и двери на нем казались смутно очерченными прямоугольниками. Я отправился вслед за Альбертом.

– Тебе вовсе не обязательно торчать на улице, парень. Из Малой Гостиной можно отлично разглядеть весь дом. У меня есть бинокль. – Мы вернулись в дом, в Малую Гостиную, и я извлек из ящика старый медный театральный бинокль, не столь сильный, как полевой, к тому же придававший контурам предметов некий фиолетовый ореол. Мы подошли к самому дальнему, Северному окну, и я настроил бинокль для Альберта. – Если у тебя глаза такие же хорошие или такие же плохие, как у меня, увидишь то же самое. – Я передал ему бинокль. – Видишь, входная дверь приоткрыта? Все твои подозрения на пустом месте. Если бы они нежились в любовном гнездышке, они бы входную дверь открытой не оставили? Как ты до такого дошел? Как вообще можно так себя распускать? – Старик продолжал тарашиться, вжимая медь в гусиную кожу глазных впадин. – Вы часто бываете неверны друг другу? – спросил я и торопливо продолжил: – Фредди часто тебе изменяет?

– А вы друг другу никогда не изменяете? – в свою очередь проскрипел «старик», пожираемый невероятной ненавистью. Он опустил бинокль и попытался, как идиот,

протереть мелкие линзы концом рукава, но, разумеется, вместо этого замазал их кожей запястья.

– Нет, ни в коем случае, – мирно сказал я, оттирая стекла уголком тюлевой гардины.

– Вот Виллем, например – часто он тебе изменяет? – весьма категорично осведомился «старый» явно недовольным тоном, поскольку не хотел бы доставить мне удовольствия думать, что Тигр может быть мне верен, а Тигру – что тот может быть мне неверен; уж что выросло, то выросло, но ничего хорошего, слава тебе Господи, никогда у него не росло.

– Я с тех пор, как встретил Тигра, ни разу ему не изменил, – сказал я, слегка шевельнувшись, точно склоняясь перед Тайнством. Обе захватанные линзы были теперь ясными, и я поднес их ближе к глазам.

– Нет, а Виллем, – повторил старый, теперь уже с каким-то злобным, жадным нажимом, – Виллем тебе никогда не изменяет?

Я взглянул в бинокль и вновь подстроил резкость. Летний Дворец виделся мне двумя округлыми, окруженными радужной полосой картинками. Внешняя дверь была все еще определенно открыта. Позади, во внутреннем двореке, именуемом нами *патио*, на фоне пропитанного карболкой дощатого зеленого фасада соседского сарая Летнего Дворца двигалась стройная, моложавая, слегка долговязая фигура со взлохмаченными ветром волосами. Облаченный в белую майку и мешковатые серые панталоны, человек пытался забраться на какой-то предмет. В руках у него была палка с насаженным на конце пучком веток. Теперь ему удалось удержаться на некоем не поддающемся точной идентификации предмете – надо думать, на каком-нибудь стуле, ящичке или бочке, – и он, крепко ухватив палку, доходящую ему до пояса, с силой заталкивал ее, ветками вверх, за обтягивающую дощатый фасад сетку.

– Тигр с момента нашей встречи мне ни разу не изменил, – сказал я. – Планида у него такая. – Я передал бинокль «старик» Альберту.

– У него – что? – Старик вновь приставил прибор к своим гипсовым векам.

– Планида, – повторил я. – От звезд. Он от Солнца происходит. Такие дела. Знаешь, – продолжал я с некоей неслыханно вульгарной гордостью за обладание таким несметным сокровищем, – ведь он – единственный мальчик в Западной Европе, которому требуются обе руки, чтобы орудовать своей заветной штуковиной? Бывает же такое, а?

– Это еще кто? – пронзительно проскрипел «старик». – Это не Виллем ли там?

– Чего ты там такое углядел? – спросил я и, отобрав у него бинокль, пригляделся внимательней. – Да, ты прав, – сказал я. – Это он. Тигр, точно. Какое совпадение.

– Что он там делает? – старик снова выхватил у меня бинокль. – Что это за штука у него в руках?

– Я бы сказал, что это метла, – поведал я несколько интимным, почти домашним тоном. – Думаю, что он где-то... э-э... подметал, и теперь хочет хорошенько просушить ее на ветру. – Мать честная, трудно сказать, что я мог бы выразиться яснее. Какими же замечательные вещи – банальность и простая, здоровая, честно рассчитанная жестокость и сила! А еще постоянно причитают – и прежде всего мои собратья по художественному цеху, – что «это общество потребителей», что бы они под этим не подразумевали, всеми грубыми и прежде всего утонченными способами притесняет их! «Если бы в самом деле любил, – думал я, – этим бы и ограничивался, и великие истины подвергал бы сомнению не более, чем это абсолютно необходимо, по достоинству чтил бы того, кто этого заслуживает, и далее жил бы с оглядкой – не

напиваться, блюсти чистоту тела и одежды и не предаваться азартным играм или другому распутству».

Какой же это был замечательный полдень, – думал я теперь, лежа в своей покойной, опустелой постели в задней комнатке с видом в сад, на верхнем этаже ***лаан в В.! «Старик» Альберт, продолжал вспоминать я, в конце концов совершенно потерял голову от беспокойства. Была, так сказать, одна выразительная деталь, которая повергала его в чистую панику: то, что на Тигре там, вдали, во внутреннем дворике, в радужном кольце поля зрения медного бинокля, как уже упоминалось раньше, не было ни рубашки, ни свитера, лишь прикрывавшая его торс белая маечка. Этот дурацкий факт взбесил «старика», и, разумеется, он прицепился ко мне, что да зачем. «Он ведь в одной майке», – тянул «старик», отчасти вопросительно, отчасти жалобно, отчасти испытывающе, отчасти с ненавистью. Если уж подходить к этому формально, с лингвистической точки зрения он был неправ, и я ему на это указал. – Он совершенно пристойно одет, если уж посмотреть, – заключил я к моему внутреннему зудящему, трепетному удовлетворению. – Я думаю, что он занимался чем-то таким, отчего ему стало жарко, и посему избавился от части верхней одежды. Он вообще ни с того ни с сего не раздевается.

(Я плел что попало, поскольку в голове у меня крутился последний куплет той вульгарной, нахальной «Песенки Трубочиста», от которой я всегда получал такое идиотское удовольствие:

*«К одной селяночке, друзья,
С метлой в трубу забрался я.
И шифока ж труба была!
Прости-прощай моя метла...»)*

Теперь Тигр пропал из поля зрения, но палка с охапкой ветвей на конце все еще стояла торчком, заткнутая за сетку фасада, – вверх ветвями, которые, казалось, слегка шевелились на ветру. Да, это были ветки – не те, тополявые за чердачным окном Дома «Трава», а те, о которых я говорил с Тигром прошлой ночью, те, что я разглядывал вблизи ранним утром через стену внутреннего дворика Летнего Дворца и на которые я тем же днем, в полдень, издали буду тарашиться в медный бинокль вместе со «старым» Альбертом С.: эти самые ветки и никакие другие, которые теперь – благодаря созерцанию березовых ветвей на заднем дворе этого дома, на улице в В. – вернулись в мои воспоминания.

Мы еще некоторое время стояли у окна в Малой Гостиной, и «старик» Альберт С. с недоверчивым видом пялился в бинокль, оказывающий такие великолепные услуги. Я тоже время от времени прикладывал его к глазам. Входную дверь Летнего Дворца вдруг затворили изнутри – мы не могли рассмотреть, кто именно. Из-за этого беспокойство «старика» Альберта С., уже принявшее характер почти что паники, перешло в безмерное, не поддающееся уговорам возбуждение. – Я... э-э... схожу-ка я туда, что ли... – прокаркал он. «В какой-то мере он чувствует себя взаперти, так что можешь себе представить его состояние, – мечтательно раздумывал я. – Но что ты можешь для него сделать?» Мной овладели чистые, возвышенные помыслы, чрезвычайно положительно настроенные в отношении столь превосходно установленного высшими силами существующего порядка. «Государыня, я совершил отвратительные поступки, на словах и на деле. У меня были всяческие скверные помыслы. У меня были чудовищные и нечистые помыслы в отношении Тебя. И это в то время, когда Ты была столь бесконечно добра ко мне. Я очень дурной». Эти мысли умилили меня несказанно – так, что на

глаза у меня навернулись слезы. Тем временем «старого» нужно было как можно дольше держать на привязи.

– Ты, конечно, можешь туда сходить, – поддакнул я, – но что тебе с того? Это ни к чему не приведет. Полагаю, они уже вполне управились. Вот если ты сейчас туда притащишься, это будет что-то вроде «я вам обоим не доверяю», и это, знаешь ли, кое-кому омрачит каникулы! – У них были каникулы – да, это я принял на слово. Есть люди, у которых всегда, и есть люди, у которых никогда, и есть люди, у которых только иногда бывают каникулы, и отчего именно так и как к этому относиться – я мог бы беспрепятственно пережевывать это целый час, но не стал. «Скоро опять за стол, – увещевал я «старого». Отвлечение на события естественного ритма жизни, шедшего своим путем, неподвластное влиянию насилия и раздора великих мира сего. – Хочешь чего-нибудь выпить перед едой? Возьми хересу. Мой тебе совет. – (Хорошо бы это и впрямь был чистый яд, – подумал я, – как пишут в брошюрах общества трезвости). – Я, если позволишь, воздержусь. Херес для меня чересчур хмелен и крепок, в такую-то рань. Полагаю, что они сейчас уже вернутся, мальчики».

И в самом деле, прошло совсем немного, и они вернулись, оба, – их молодые одежды дышали холодным ароматом уличного воздуха, – и возникли вдруг в Большой Гостиной, куда мы вновь подались со старым и где старый уже принялся за навязанный ему мною херес, хотя сам я ни к чему так и не прикоснулся – в некотором роде, стало быть, чудо, над которым я и сам все время сидел и раздумывал: покончил ли я с этим или совладал с собой – но на тот момент времени это выглядело именно так.

Они вошли, Тигр и Фредди, и поздоровались с нами в приподнятом, подчеркнуто дружелюбном тоне, который немедленно выдал все. Фредди уже с порога попал в такой

поток света у окна, где он встал, чуть отвернувшись от нас, что я вновь разволновался и залюбовался восхитительной игрой света и тени на его шее и плечах и на глубоко прогибе спины и его каштанового, посредине целомудренно и почти незаметно раздваивавшегося... седла, да, это же ведь было так, и именно седлом оно некоторое время назад славно послужило... или нет? может быть, нет?.. С учащенным, утяжелившимся дыханием я взглянул на Тигра, который уселся и неумело, вне логического или причинного порядка принялся суммировать, какие полезные дела они сегодня переделали. Его блуждающий взгляд встретился с моим, и он сперва выдержал его, затем все-таки опустил глаза. На лице его светился мягкий румянец, и он вновь осторожно принялся искать глазами мой взгляд. Я чувствовал, что он хотел улыбнуться мне, но по какой-то причине счел это неуместным и не раскрывал рта – которым он скоро, в приступе безумной, унаследованной от обоих его фризских родителей прямоты, «честно» признается во всем «старик» Альберту, после чего «старик» потащится заливать горе в деревенском кабаке, куда мы явимся его выуживать и заберем с собой и будем вправлять ему мозги вместо того, чтобы засунуть его в мешок и утопить, – но всего этого я тогда еще не знал. На лице Тигра были написаны одновременно и стыд и гордость: он был горд, и он стыдился, как был бы горд и стыдился бы Господь, так сказать, но это было так, и так оно и должно было быть. Я глядел в лицо Фредди, которое, казалось, сделалось еще более нежным и менее напряженным, чем до того, и на его прелестные, чуть взлохмаченные, прямые девические волосы и пытался не опускаться взглядом ниже его плеч, поскольку ненасытность, ком в груди и страсть, и прежде всего неизмеримое, безрассудное желание когда-нибудь тоже быть любимым вновь были тут как тут.

Я смотрел на рот Фредди, на движения его юношеских пухлых губ, утомленных и жадных до радостей жизни – лишь бы они не слишком дорого обходились, – и затем снова на доверчивый, незащитный рот Тигра.

«А ведь милые, в сущности, мальчишки, – сказал я себе. – Милые, милые мальчики».



Тигр и Герард Реве

Содержание

ЯЗЫК ЛЮБВИ

| | |
|---|-----|
| Глава первая. Здоровый образ жизни | 7 |
| Глава вторая. Язык любви | 23 |
| Глава третья. Безымянная любовь | 42 |
| Глава четвертая. Кто любит друга своего... .. | 72 |
| Глава пятая. ...готовит розгу для него | 107 |

МИЛЫЕ МАЛЬЧИКИ

| | |
|--|-----|
| Глава первая. Вся жизнь | 141 |
| Глава вторая. Собственно жизнь | 162 |
| Глава третья. Живи и дай жить другим | 188 |
| Глава четвертая. Все для имени | 211 |
| Глава пятая. Один в постели | 239 |
| Глава шестая. Великая удача | 266 |
| Глава седьмая. Тяжелее воздуха | 281 |
| Глава восьмая. Темная ночь | 298 |
| Глава девятая. Милые мальчики | 309 |

ИЗДАТЕЛЬСТВА KOLONNA PUBLICATIONS И
МИТИН ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Альфред Дёблин
ПОДРУГИ-ОТРАВИТЕЛЬНИЦЫ

В марте 1923 года в Берлинском областном суде слушалось сенсационное дело об убийстве молодого столяра Линка. Виновными были признаны жена убитого Элли Линк и ее любовница Грета Бенде. Присяжные выслушали 600 любовных писем, написанных подругами-отравительницами. Процесс Линк и Бенде породил дискуссию в печати о порочности однополрой любви и вызвал интерес психоаналитиков. Заинтересовал он и крупнейшего немецкого писателя Альфреда Дёблина, который восстановил в своей документальной книге драматическую историю Элли Линк, ее мужа и ее любовницы.

Антонен Арто
ГЕЛИОГАБАЛ

Арто сидел в кафе «Куполь», бормотал стихи, говорил о магии: «Я – Гелиогабал, безумный римский император», потому что он становился всем, о чем писал. В такси он откинул волосы с разъяренного лица, встал, вытянул руки, указывая на людные улицы: «Вскоре наступит революция. Все это будет уничтожено. Мир должен быть уничтожен...»

Гертруда Стайн
ТРИ ЖИЗНИ

Опубликованная в 1909 году и впервые выходящая в русском переводе знаменитая книга Гертруды Стайн ознаменовала начало эпохи смелых экспериментов с литературной формой и языком. Истории трех женщин из Бриджпойнта вдохновлены идеями художников-модернистов. В нелинейном повествовании о Добрай Анне читатель заметит влияние Сезанна, дружба Стайн с Пикассо вдохновила свободный синтаксис и открытую сексуальность повести о Меланкте, влияние Матисса ощутимо в «Тихой Лене». Книги Гертруды Стайн – это произведения не только литературы, но и живописи: слова, точно краски, ложатся на холст, все элементы которого равноправны.

ИЗДАТЕЛЬСТВА KOLONNA PUBLICATIONS И
МИТИН ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Кэти Акер
ЭВРИДИКА В ПОДЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ

Главными темами текстов, собранных в этой книге, – от исповеди «Политика» (1972), написанной, когда Кэти Акер работала в секс-шоу на 42-ой улице в Нью-Йорке, до драмы «Эвридика в подземном царстве» (1997), завершенной незадолго до смерти писательницы от неизлечимой болезни, – остаются чувственность, язык, насилие, принуждение, власть. Письмо, безумие, власть, насилие, тело. Чувственность, язык, тело, власть, безумие.

Уника Цюрн
ТЕМНАЯ ВЕСНА

19 октября 1970 года художница Уника Цюрн выбросилась из окна своей парижской квартиры. В эту книгу вошли ее путевые заметки из путешествия в безумие.

Уника Цюрн пишет так, что каждое предложение имеет одинаковый вес. Это литература, построенная без драматургии кульминаций. Это зеркальная драматургия, драматургия замкнутого круга.

Эльфрида Елинек

Рональд Фирбенк
ИСКУССТВЕННАЯ ПРИНЦЕССА

«Человек, которому не нравится Рональд Фирбенк, может обладать редкостными достоинствами, но общаться с ним я не желаю».

Уистен Хью Оден

Рональд Фирбенк (1886-1926) проводил свои дни в изысканной неге. Романы он сочинял на почтовых открытках в украшенных цветами номерах отелей. Его передвижения по миру были непредсказуемыми. «Завтра отправляюсь на Гаити. Говорят, президент там Настоящий Душка!» – сообщала телеграмма, которую получил от него приятель. На торжественном ужине, устроенном в его честь, патологически пугливый писатель решил проглотить лишь одну горошину. Он почитал слово «отдохновенный» и все книги, которые ему нравились, называл отдохновенными.

Герард Реве

МИЛЬЕ МАЛЬЧИКИ

Перевод с нидерландского Ольги Гришиной

Книги издательств «МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications»
можно купить

в московских магазинах:

«Проект ОГИ», Потаповский пер., дом 8/12, стр. 2 • «Пироги на Дмитровке»,
ул. Б.Дмитровка, дом 12, стр.1 • «Ад Маргинем», 1-й Новокузнецкий пер., 5/7
• «Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок д.12/27 •
«Книжная лавка при Литинституте им. А.М.Горького», Тверской бульвар, дом 25
• «У Кентавра», ул. Чайнова, дом 15 • «Молодая гвардия», ул. Б.Полянка, дом 28 •
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, дом 8 • «БУКБЕРИ»,
Сеть книжных супермаркетов • «Москва», ул.Тверская, дом 8
• «Индиго», ул. Петровка, дом 17, строение 2

в Интернет:

- «Ozon» – www.ozon.ru
- «Межкнига» – www.mkniga.ru
- «Лавка Я+Я» – www.shop.gay.ru/books/

По вопросу
оптовых продаж
книг издательств
«МИТИН ЖУРНАЛ»,
«KOLONNA publications»
обращаться в ООО «БЕРРОУНЗ»,
телефон 095-104-68-36

Для заказа книг по почте
наложенным платежом
редакция просит обращаться
по адресу:
170024, г.Тверь, а/я 2448
в интернет:
www.mitin.com

МИТИН ЖУРНАЛ: Россия, 170024 Тверь, а/я 24048
Формат 84X108/32, объем 21 п.л.,
подписано в печать 15.12.2005 г.
Гарнитура NewBaskerville. Тираж 1000 экз.
Заказ № 12121212 . Отпечатано с
готовых диапозитивов издательства
ОАО «Тверской полиграфический комбинат»,
г.Тверь, прт. Ленина, 5. Телефон (0822) 44-42-15.
Интернет/ Home page - www.tverpk.ru.
Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru. 

